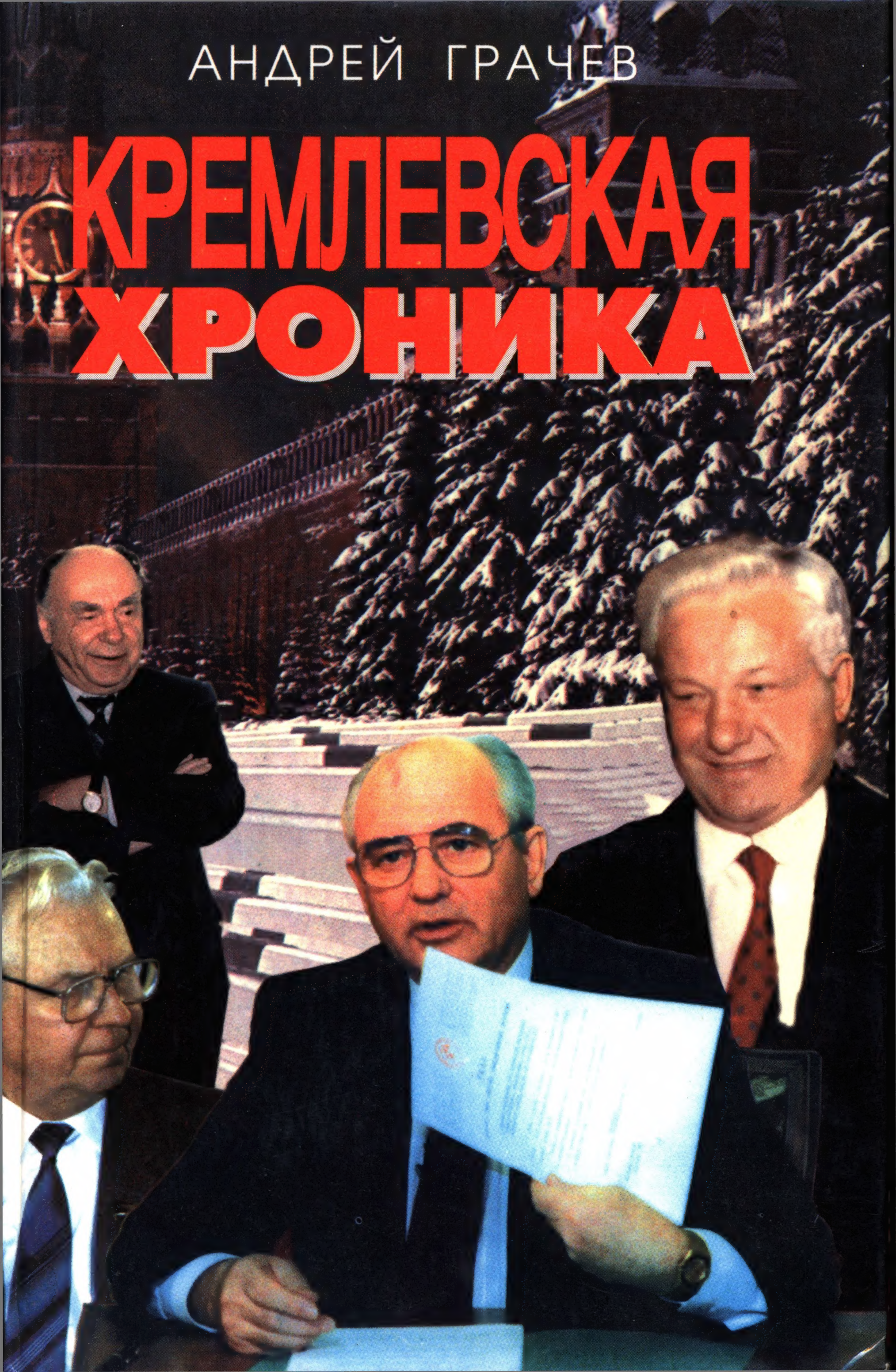
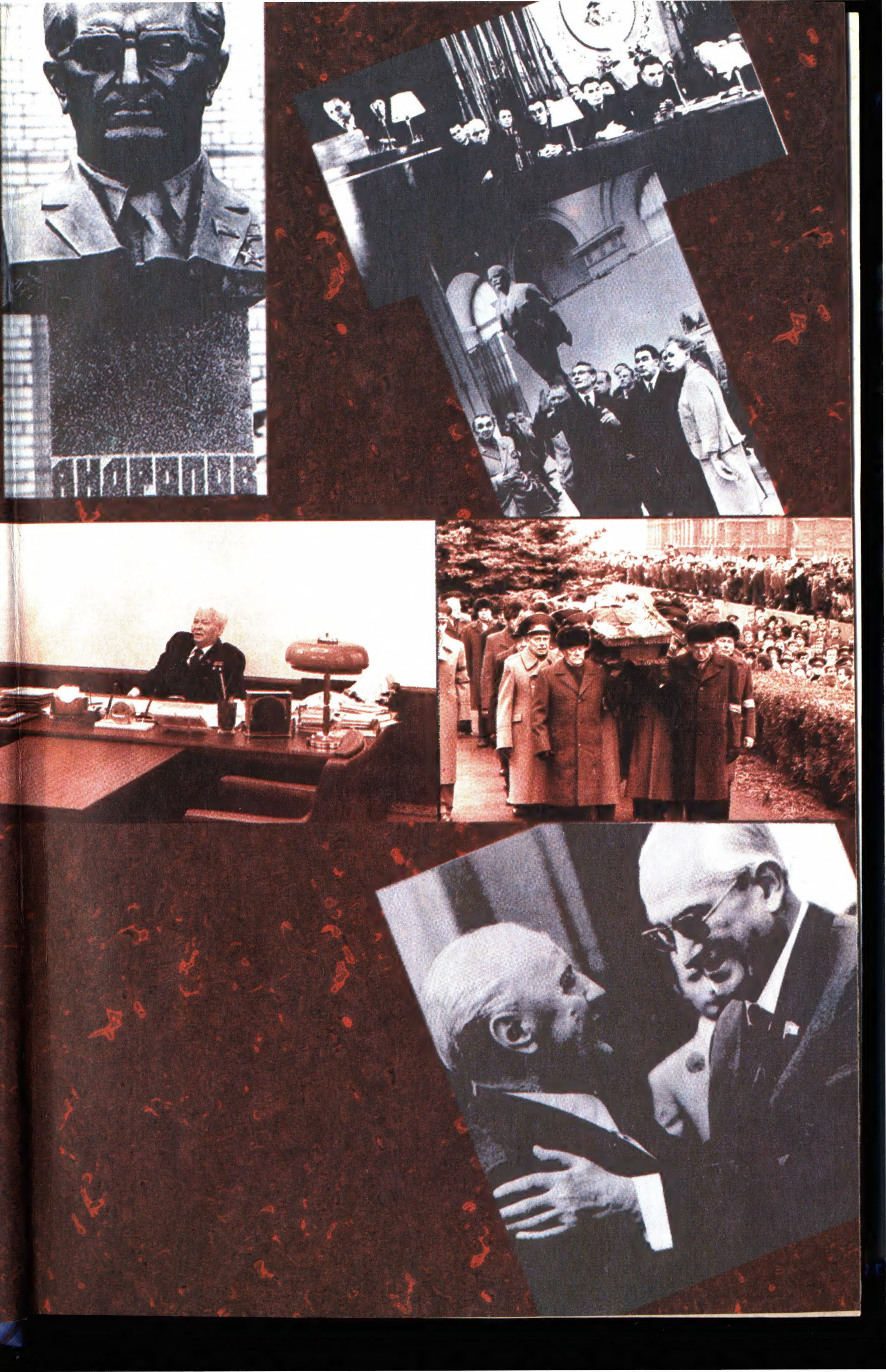

АНДРЕЙ ГРАЧЕВ
КРЕМЛЕВСКАЯ
ХРОНИКА


U.R.S.S.


АНДРОПОВ

АНДРЕЙ ГРАЧЕВ

КРЕМЛЕВСКАЯ ХРОНИКА

Москва

«ЭКСМО»
1994

ББК 84(2)7
Г 78

Грачев А. С.
Г 78 Кремлевская хроника: — М.: «ЭКСМО», 1994 г.— 416 с.

ISBN 5-85585-136-2

Действующими лицами книги Андрея Грачева «Кремлевская хроника» являются Брежнев, Андропов, Суслов, Черненко, Горбачев, Ельцин, лидеры стран «ближнего» зарубежья. Неожиданные детали, чуть уловимые нюансы, малоизвестные подробности при описании привычек и нравов кремлевских властителей и рассказе о последних днях супердержавы — Союза Советских Социалистических Республик, придают книге неповторимое лицо, тот «эффект присутствия», который заставляет читать ее не отрываясь.

Г $\frac{0503020000-132}{ЛР\ 061309-94}$ **ББК 84(2)7**

ISBN 5-85585-136-2

Не спрашивай их, откуда они идут,
Но спроси, куда...

(Евангелие)

...Флаг сопротивлялся. Он не давался в руки ловившим его людям, взмывая с каждым порывом ветра, как со всплеском надежды на то, что он еще вырвет несколько мгновений у истории и хоть еще раз взметнется над Кремлем, подобно красному буревестнику. Но прикованный к флагштоку, он не мог уйти от преследователей. Спустившись до середины, флаг внезапно поник, как бы обозначив траурной паузой трагичность происходившего. А затем, уже перестав сопротивляться, сдался на милость победителей и был даже не свернут, а безжалостно скомкан в бесформенный куль — покрасневший от напряжения и морозного декабрьского ветра рабочий сунул его себе за ватник.

Шелковое полотнище, больше 70 лет реявшее над кремлевским куполом, обозначая один из пиков мирового политического ландшафта, было без лишних церемоний сдернуто с флагштока почти там же, где 46 лет назад брошены к ногам победителей штандарты разгромленного нацистского фюрера. Лишь кучка потрясенных этим невиданным зрелищем москвичей да возбужденных съемками Истории «лайв» иностранных корреспондентов была свидетелем того, как на несколько невероятно долгих мгновений осталась обезглавленной одна из двух мировых сверхдержав. В двух шагах от зловещей государевой плахи — Лобного места — по странной прихоти царей украшающей главную площадь Москвы, как бы подтверждая ее принадлежность наряду с Гревской площадью Парижа и Флорентийской Синьорией к числу избранных погостов Истории.

Молчаливо, как «созвездия Магадана» у Заболоцкого, встали вокруг оголенного купола рубиновые звезды

на пяти башнях Кремля в предчувствии того, что придет и их черед быть сброшенными, хотя они почти так же органично дополнили языческую готику Руффо и Джиларди, как и конструктивистская Пирамида Щусева — усыпальница Великого вождя, прислонившаяся к толстым крепостным стенам. На какое-то время, пока на опустевшем флагштоке не был поднят новый трехцветный флаг, казалось, что наступила клиническая смерть великой державы и что в постоянном обиталище вождей — Кремле не осталось ни одного живого национального лидера (если не считать Вечно Живого обитателя Мавзолея).

Между тем их было ровно на одного больше, чем нужно для одной страны — сразу два президента: советский — Михаил Горбачев и российский — Борис Ельцин. Разделенные тремястами метров кремлевских переулков и коридоров, они переживали звездные мгновения своей политической биографии. Первый — в эти минуты еще не зная, что с купола над его головой уже сдернут государственный флаг, произносил слова публичного отречения. Другой, вдавив себя в кресло у телевизора в покоях Большого Кремлевского Дворца, с нетерпением ждал, когда закончится эта затянувшаяся мелодраматическая реприза и историческая сцена освободится для его державного выхода.

К этому времени их разделяло, разумеется, намного больше, чем расстояние между двумя кремлевскими зданиями. Подлинная стена личной вражды, предубежденности и отчуждения куда толще казематных кремлевских стен перегораживала путь, начатый ими когда-то почти вместе. И внутри «одной берлоги» эти два «медведя», как выразился однажды сам Горбачев, уже не могли больше сосуществовать, не превышая той критической массы взаимного отталкивания, которая грозила разнести вдребезги и сам Кремль, и пока еще подвластную ему мировую державу.

Историческая пауза закончилась. Часы на Спасской башне, казалось, тоже замершие на несколько мгновений, исполнили свой очередной перезвон, и на главный флагшток России медленно, путаясь в порывах ветра и лучах прожекторов, поползло новое государственное полотнище, возвещая стране и миру, что апоп-

лексический тромб, грозивший парализовать страну, миновал, и что «корона» кремлевских шпилей и стен водружена на чело нового «хозяина» России.

Красный же флаг СССР, который было велено непременно до окончания речи Горбачева унести в подвал, одним из своих огненных языков выбился из-под ватника снявшего его рабочего и привлек внимание столпившихся на лестничной клетке журналистов. Под их неудержимым напором флаг был, уже нелегально, развернут на несколько прощальных мгновений и запечатлен репортерами для постсоветской истории

Часть I

СУМЕРКИ «ЗРЕЛОГО» СОЦИАЛИЗМА

БЕЗ УКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА...

Расстояние от Красной до Старой площади, куда выходили подъезды Центрального Комитета, — чуть больше 1 км. Длинные черные лимузины вождей, «чайки» и «волги» прочей номенклатурной знати преодолевали его за 1—2 минуты. Когда из Спасских ворот Кремля на полной скорости, распугивая толпящихся у собора Василия Блаженного туристов, вылетал такой «членовоз», у ворот зданий ЦК раздавался звонок, и напрягшаяся охрана останавливала поток пешеходов, освобождая въезд во двор машине с вельможным седоком и следовавшей за ним охране. Брежнева привозила целая кавалькада из 4 машин — среди них в последние годы обязательно присутствовал передвижной реанимационный центр.

Между Красной и Старой площадями имелась и подземная связь: труба пневматической почты, по которой в считанные секунды из одного комплекса зданий в другой пересылались необходимые документы. За реализацию этого невидимого шедевра бюрократической мысли тогдашний заведующий Общим отделом ЦК КПСС Константин Черненко был награжден (разумеется, негласно, так как труба приравнивалась к стратегическим объектам) Государственной премией СССР.

В первые годы брежневского правления существовало и даже подчеркивалось формальное разграничение функций между «ветвями» власти, соединенными пневматической трубой. Оно возникло еще с 1964 г., когда на октябрьском Пленуме ЦК разъяренные хрущевскими импровизациями функционеры свергли своего патрона и разделили между собой отобранную у него абсолютную власть.

Брежневу, бывшему в ту пору декоративным главой государства — Председателем Президиума Верховного Совета СССР — выпала партийная карта, и он, удалившись, подобно Ивану Грозному из Кремля в «слободу», — автономный квартал, населенный цековскими «опричниками», — быстро превратил его в средоточие политической власти. Сделать это ему, в сущности, было не так уж трудно, поскольку государство, рожденное Октябрем, в отличие от произведенного на свет Французской революцией, представляло собой не государство-нацию, а государство-партию.

Именно партийные органы и структуры всех уровней — от «самостоятельных» республиканских партий до первичных ячеек на каждом предприятии и почти в каждом селе — составляли истинную систему управления страной, руководимую единой Инстанцией — комплексом зданий на Старой площади Москвы. Фактически, первое лицо в партии по определению, независимо от формальных полномочий, превращалось в самодержавного повелителя этого идеологического государства, чья власть не ограничивалась ничем, кроме его собственного темперамента, здравого смысла и, разумеется, отпущенного жизнью срока.

При подобном абсолютизме для того, чтобы не потерять корону на плахе или на партийном Пленуме, достаточно было владеть искусством дворцовых интриг, не посягать на интересы могущественных политических и военных кланов и отдавать предпочтение стабильности перед нововведениями. У прошедшего многолетнюю школу партийной карьеры Брежнева, — этих качеств было в достатке, плачевный же финал его предшественника— Хрущева — не мог не подтолкнуть его к еще большей осторожности.

В отличие от Старой площади после 1964 г. Кремлю была отведена декоративная роль фасада советского государственного здания. В нем заседал Верховный Совет, собираясь под присмотром гигантской ленинской статуи на 2—3 дня дважды в год, чтобы стоя поаплодировать партийному вождю и его соратникам. Здесь же в Кремле, в бывшем здании Сената с ленинских времен разместился верхний эшелон Советского правительства — большую часть брежневской эпохи его

возглавлял один из самых молодых министров сталинского кабинета Алексей Косыгин.

Лишенное какой-либо иной власти, кроме права распределять по огромной территории страны все более скудные материальные и финансовые ресурсы, правительство, как правило, получало проекты своих собственных постановлений из Политбюро ЦК КПСС. Точно так же, в виде приложений к Протоколам Политбюро, оформлялись и будущие решения Верховного Совета— проекты законов и даже постановления о награждении почетными званиями и орденами отличившихся граждан, трудовых коллективов фабрик, колхозов и шахт, а иногда и целых республик. Среди саркастических шуток, ходивших по Москве, была и «новость» о присвоении всему советскому народу звания Героя Социалистического Труда.

Само Политбюро собиралось еженедельно по четвергам за ядронепробиваемыми и звуконепроницаемыми стенами Кремля по традиции, унаследованной от сталинских времен. Кроме того, «не партийным» его членам, таким, как министр иностранных дел А. Громыко, шеф КГБ Ю. Андропов, министр обороны Д. Устинов и др., было удобнее встречаться со своими коллегами на нейтральной кремлевской территории, а не на «чужом» для них поле — в здании ЦК. Немаловажно было и то, что архив Политбюро, важнейшая и секретнейшая часть Государственного архива СССР, также находился в Кремле и, по правилам конспирации, установленным еще в большевистском подполье, документы из него не полагалось вывозить без чрезвычайной необходимости. Позднее, когда брежневское правление уже клонилось к закату, в одно из кремлевских зданий был встроен комплекс с конференц-залом для Пленумов ЦК КПСС, который и по сей день продолжает негласно носить это название.

И все же, несмотря на периодические сборы в Кремле высших органов политической и государственной власти, он оставался в те годы скорее величественной декорацией и внешним символом державного могущества, чем живым сердцем страны. Толстые стены Кремля все больше напоминали скорлупу пустого ореха. Царивший внутри дух запустения и упадка наверняка

должен был поразить любого человека, пропущенного на территорию через малозаметный вход у Спасской башни, охраняемый двумя гренадерского роста военными. Безлюдные, как на картинах Джорджо де Кирико, площади и проходы между дворцами и соборами время от времени оглашались звуками неизвестно куда марширующей охраны или почетного караула, готовящегося сменить стражу около Мавзолея.

Во внутренних помещениях исторических зданий пахло солдатскими сапогами и грубой армейской кухней. И неудивительно: со времен Сталина весь кремлевский комплекс был превращен в гигантскую казарму для его охраны, во внутреннее полицейское государство под управлением коменданта Московского Кремля. Призрак Сталина, казалось, настолько доминировал над этим советским Тауэром, что даже новые правители страны неуютно чувствовали себя внутри кремлевских стен и не отваживались обосноваться здесь окончательно.

Истинным же политическим и административным центром партийного государства был тогда еще всемогущий аппарат ЦК. Под неусыпным наблюдением и надзором этого бюрократического Левиафана находилась вся общественная, экономическая и даже частная жизнь миллионов граждан огромной страны. Здания ЦК занимали несколько городских кварталов между идущей от Спасских ворот Кремля улицей Куйбышева (бывшей Ильинкой) и церквями, окружающими гостиницу «Россия», и были соединены закрытыми переходами и подземными коридорами. Давно вылезшее из сколько-нибудь разумных объемов аппаратное тесто с годами расползлось по прилегающим к Старой площади переулкам, захватывая старые строения и воздвигая новые, пока не застыло, наконец, в причудливых порождениях административной архитектуры с башенками, вроде кремлевских шпилей, мраморными подъездами и холлами, символизирующими нетленность номенклатурной власти и стабильность олицетворяемого ею порядка.

Туловище этого динозавра венчала маленькая головка, расположенная на 5-м этаже самого серого из всех зданий ЦК, — так называемого 2-го подъезда, над ко-

торым развевалось красное знамя партии большевиков. Здесь, за двойным кордоном охраны из КГБ, находились кабинеты Генерального секретаря, а также нескольких наиболее влиятельных членов Политбюро. Вдохновлявшаяся византийской традицией схема размещения кабинетов высших цековских бонз имела в партийной иерархии «архиважное значение». Так, истинным № 2 в ленинской «партии нового типа» считался не обязательно тот, кто совмещал статус секретаря ЦК и члена Политбюро, — для этого надо было еще непременно иметь кабинет на 5-м, а не на другом этаже 2-го подъезда. Именно по этому признаку вернее, чем по каким-то другим, различала партийная челядь нюансы в статусе своих руководителей. Для нее никогда не существовало мучительного вопроса, над которым билась добрая половина западных советологов в эпоху Горбачева: кто из двух секретарей, отвечающих в Политбюро за идеологию, выше в партийной Табели о рангах — Лигачев или Яковлев? Аппарату было ясно. Лигачев. Ведь именно он унаследовал кабинет Суслова на пресловутом 5-м этаже.

Без специального штампа в пропуске не пускали на 5-й этаж (внутри, разумеется, охраняемого 2-го подъезда) даже работников ЦК. Для тех же, кто приглашался сюда партийным начальством на совещания или заседания Секретариата (они, как и заседания Политбюро, проходили еженедельно по вторникам), составлялись специальные списки. Для обитателей секретарских кабинетов был построен специальный лифт, спускавшийся в особый, изолированный от улицы подъезд, откуда народные вожди могли юркнуть в свои персональные бронированные авто, не опасаясь ни террористов, ни, что более вероятно, обращения к ним бесчисленных челобитчиков, по многовековой российской традиции стекавшихся к парадным московским подъездам в поисках правды или управы на обидчиков.

Каждого из партийных вельмож денно и нощно сопровождал, оберегал и, по существу, конвоировал, контролируя все его передвижения, так называемый «прикрепленный» из «девятки» (Девятого Главного управления КГБ, занимавшегося охраной партийных и государственных руководителей). Порядок этой охра-

ны вождей вел свое начало все из той же, разработанной Сталиным изощренной системы тотальной слежки за его собственным окружением. Она, видимо, настолько идеально устраивала каждого нового руководителя, что оставалась неприкосновенной, невзирая на все политические перипетии вплоть до ликвидации КГБ в октябре 1991г. (Что, разумеется, не означает, что она не была воссоздана и даже усилена в новых российских структурах под другим названием. По свидетельству одного из участников регулярных заседаний нового российского правительства, переехавшего в партийные хоромы на Старой площади, особый режим «допуска» на пресловутый 5-й этаж сохранен. По-видимому, стремительно взлетевшим к вершинам государственной власти новоиспеченным российским вождям трудно устоять перед соблазнами вельможного величия.

Культ таинственности и секретности вокруг верховных жрецов власти, разумеется, — не собственное изобретение «кремлевского горца». Он ведет свое происхождение от языческих времен и успешно применялся абсолютистскими, диктаторскими и тоталитарными режимами всех эпох. В советском же варианте он примечателен, пожалуй, лишь как образец ханжества, ибо был доведен до совершенства режимом, претендовавшим на олицетворение «народной демократии».

Примечательны не только драматические, но и курьезные проявления этого культа. Так, в 1954 г. уже после смерти Сталина, Главлит, бдительно следивший за возможными «утечками» государственных секретов в открытую печать, рекомендовал Н. Хрущеву в ответ на настойчивые просьбы советских аграриев «публиковать данные прогнозов погоды на период не более 5—7 суток, ограничив их к тому же информацией о заморозках, осадках и сильных ветрах, однако, без указания их направления».

Разумеется, за этой великолепной формулой крылась не только бюрократическая логика. Указывать направление политических ветров, дувших над советской империей, становилось чем дальше, тем менее благодарным и даже опасным занятием. Одной же из наиболее охраняемых тайн власти в последние годы брежневского режима было его прогрессирующее вырождение.

ОСЕНЬ ГЕНСЕКА

С годами дряхлеющий Генсек все больше тяготился повседневными обязанностями, которые возлагал на него статус «вождя». К этому времени он уже успел окончательно закрепить свое монопольное положение на вершине пирамиды власти. Его партнеры по «тройке», свергнувшей в 1964 г. Хрущева, перестали быть его соперниками. От одного — Николая Подгорного — Брежнев избавился еще в 1977 г., а освободившийся пост главы государства, Председателя Президиума Верховного Совета, попросту присоединил к своей партийной должности как еще одно из многочисленных почетных званий и наград, к коллекционированию которых он стал испытывать неодолимую слабость в старческие годы. Другого — суховатого и прагматичного премьера Алексея Косыгина — Леонид Ильич оттеснял на второй план постепенно, учитывая его высокую деловую и моральную репутацию в стране, и в конце концов вынудил уйти в отставку, заменив преданным ему еще со времен секретарской работы в Днепропетровске бесцветным Николаем Тихоновым.

Оставшись в одиночестве на партийном и государственном престоле, подтачиваемый болезнями Генсек-Председатель все больше терял интерес к событиям в стране и, разумеется, связь с реальным миром. Этому в немалой степени способствовало его окружение: коллеги по Политбюро, руководители союзных республик, помощники и прочие служители всемогущего партийного аппарата, который столь комфортно чувствовал себя в тени угасающего Генсека.

Правда, и в прежние молодые годы, когда бодрый и пышноволосый, а не только густобровый Брежнев с ямочками на щеках являл собой динамичного и перспективного партийного лидера[1], его связь с окружавшей действительностью, как у любого партийного функционера, носила весьма избирательный характер.

Партия, действительно превращенная Сталиным в «орден меченосцев», представляла собой замкнутый и

---

[1] Обративший на него внимание Сталин принял его почему-то за молдаванина и отправил секретарствовать в Кишинев. Хрущев доверил ему осуществление одного из своих крупнейших проектов: подъем целинных земель в Казахстане.

самодостаточный мир, укрепленный и защищенный от посторонних редут — своего рода обнесенный стенами Кремля, возвышавшийся над остальной страной, где могла идти своим чередом и даже бурлить и шуметь другая, «второразрядная» жизнь, роль которой по существу сводилась к обслуживанию главной: партийной. Даже те партийные послушники, которые рекрутировались из «передовых» рабочих и крестьян, а также «трудовой» интеллигенции, попав в круг посвященных, быстро и с облегчением, как от старой и бедной одежды, избавлялись от своих «пролетарских» корней, переходя в высшую касту — партийных патрициев.

Отныне их и без того скудный образовательный и культурный багаж подпитывался лишь отцеженной бюрократической информацией и доктринерскими курсами партийных школ и «академий», а основным источником сведений о повседневной жизни все чаще становились разговоры с водителями персональных машин (или охранниками для лидеров высшего эшелона). Это для их ушей многолетний председатель Гостелерадио Сергей Лапин передавал в эфир в те часы, когда партийное чиновничество направлялось в черных «волгах» к своим кабинетам, бодрую музыку и песни о «рабочем классе», призванные символизировать «трудовой энтузиазм» марширующих на работу миллионов людей. Между тем эти миллионы ни своим обликом, ни образом мыслей и жизни не соответствовали тем плакатным трафаретам, которые воздвигала вдоль маршрутов начальственных машин официальная партийная пропаганда.

Надо ли после этого удивляться тому, что на высших ступенях государственной лестницы в СССР оказывались люди, имевшие весьма приблизительное представление о реальностях собственной страны и уж тем более окружающего ее мира. Увы, отнюдь не выдуманным анекдотом был рассказ одного из сопровождавших Н. Подгорного в Австрию: восхитившись обилием продуктов на венском рынке, глава Советского государства знающе подмигнул своему окружению: «Смотрите, как подготовились к моему визиту». По представлению этого недавнего провинциального украинского функционера, товарное изобилие на западных рынках и в

супермаркетах могло быть «обеспечено» лишь чрезвычайными усилиями, т. е. примерно так же, как это делалось партийными комитетами в разных городах Советского Союза перед приездом именитых гостей.

Разумеется, это была беда самих этих людей и трагедия руководимой ими страны, ибо они уподоблялись приехавшим из пустыни кочевникам в известной притче, которые при виде Ниагарского водопада замирали в изумлении и стояли, ожидая, «пока это кончится». Они не в силах были представить, что за пределами выжженной пустыни существует иной мир, живущий по другим законам природы.

Если защитный скафандр догматических представлений о мире для многих выезжавших за рубеж партийных вождей был просто необходимым способом сохранения душевного равновесия — в конце концов, среди них не так уж много было откровенных циников, готовых признаться самим себе, что дело, которому они посвятили жизнь, покоится на Большой Лжи, — то, конечно ничем нельзя оправдать вопиющую невежественность их суждений о проблемах собственной страны.

Сам Брежнев, пройдя многолетний путь к вершине государственной власти и мировой политики, оставался, в сущности, весьма малообразованным партийным аппаратчиком. Проблема советской номенклатурной системы состояла не только в том, что в ней господствовали примитивные и малограмотные люди, — в конце концов, даже демократический избирательный процесс в западных странах, взять хотя бы США, нередко поднимает к вершинам власти достаточно случайных лидеров. Беда в том, что вертикальная структура подчинения и послушания превращала их уровень знаний и представлений о мире в отправную точку, от которой строилось вниз остальное политическое здание.

Особенность советского, как, впрочем и любого другого механизма обслуживания автократического ре жима, — в его полной ориентированности на лидера, воспринимаемого при этом скорее как воплощение и символ власти, чем как конкретная личность. Административный аппарат такой власти, не ограниченной ни

законом, ни общественным мнением, ни необходимостью хотя бы периодически обращаться за продлением своего мандата к подвластному населению, натренирован на единственную функцию — выполнение поручений и пожеланий вождя.

Разумеется, сильный вождь — истинный царь, сатрап, диктатор — вожделенная мечта аппаратных опричников. Он поощряет и покрывает их произвол, гарантирует безнаказанность, берет на себя их грехи, как это декларировал Гитлер. Однако такой лидер не в меньшей степени опасен не только для управляемой им страны, но и для его собственных подручных. Жертвами того же Гитлера, и еще больше Сталина, слишком часто становились их приближенные «выдвиженцы». Либо не в меру ретивые, «забегавшие поперед батьки» в своем карательном усердии, либо опасные как потенциальные конкуренты (подобно Кирову), либо попросту запрограммированные к периодическому жертвоприношению самой логикой тоталитарной системы, с такой же неумолимостью пускающей под нож гильотины, под скребок чисток или под расстрел «своих», как садовник периодически подстригает газон, чтобы выровнять растущую траву по одному ранжиру.

Поэтому аппарат предпочитает скорее вождей символических, условных, таких, кто своим величием, всемогуществом и авторитетом всецело обязан ему и потому от него и зависит. Чем меньше такой лидер вмешивается в реальные дела, тем вольготнее чувствуют себя и разнузданнее правят от его имени аппаратные чиновники.

Для создания «имиджа» сильного лидера аппарату как раз и нужны атрибуты авторитарного режима: секретность и таинственность, изолированность опекаемого им вождя от внешнего мира, его недоступность для окружающих. Именно из этого строительного материала ему легче всего сооружать облик всезнающего и всемогущего повелителя, всевидящего оруэлловского «Большого Брата», заполняя дымом собственных славословий любую пустую оболочку.

Слабый лидер, позволяющий челяди изображать себя сильным и отдающий ей поводья власти, — находка для любой административно-бюрократической

свиты, получающей благодаря этому возможность с ногами забраться на трон повелителя. Что из того, что от такого вождя уже не исходит ни путных распоряжений, ни осмысленных импульсов, которым призван повиноваться созданный для этого аппарат? В целях самосохранения, для оправдания собственного существования как необходимого рычага управления аппарат готов создать воображаемую, имитированную (virtual) реальность, сконструировать при этом не только искусственный, компьютерный мир, но и самого вождя, который будет им управлять или по крайней мере в это верить.

Так, свита в конечном счете не нуждается в истинном короле, чтобы его сыграть, — любой шут или паяц лучше подойдет для этой роли. Больше того, подлинный лидер, а не повторяющий слова за суфлером актер — помеха аппаратной драматургии и подлежит замене при первом же удобном случае. В этом — истинные причины устранения Брежневым и стоявшим за ним слоем партийной номенклатуры с советской политической сцены непредсказуемого Хрущева. Подобной логике следовали и прибывшие 18 августа 1991 г. в Форос с намерением предложить Горбачеву свой ультиматум разъяренные чины партийной военной и государственной элиты, слишком поздно осознавшие, что «их» Президент и Генсек, преступив писаные и неписаные каноны, не только освободился сам из-под аппаратного контроля, но и увел на волю, за «флажки», как пел Высоцкий, столь надежно опекавшуюся ими страну.

Очевидная оборотная сторона доблестного рвения аппарата — полное безразличие номенклатурной камарильи к проблемам ее собственного общества и выполнение своих номинальных обязанностей только в пределах, либо обеспечивающих ей служебное продвижение, либо позволяющих избежать наказания за халатность. Больше того, именно профессиональная выучка улавливать исключительно импульсы «сверху» делает его малопригодным для реагирования на неожиданные и «нештатные», т. е. реальные проблемы. Отсюда и незаинтересованность передавать «наверх» информацию об истинном положении дел или ставить перед начальством вопросы, отвечающие общественным по-

требностям, а не личному интересу самих партийных чиновников.

Поразительная во многих отношениях малоэффективность всесильного партийного аппарата объяснялась прежде всего тем, что он соединял основные грехи любой бюрократии, не обладая к тому же ее компетентностью, с доктринерской ограниченностью служителей архаичного идеологического культа. Он демонстрировал совершенную беспомощность в таких, например, неожиданных стихийных или политических катаклизмах, как уничтожение над Сахалином южнокорейского пассажирского «Боинга» или чернобыльская катастрофа. В каждой из этих чрезвычайных ситуаций административно-управленческие службы в отсутствие «указаний сверху» не знали, что доложить и как поступить, и тянули время, стараясь просто-напросто угадать, чего хотели бы от них вышестоящие инстанции.

Однако критические ситуации в эпоху «зрелого социализма» — так его догадались назвать придворные идеологи, чтобы хотя бы словами обозначить ход времени, — возникали нечасто. В обычные же времена аппарат, стремясь обезопасить себя от лишних хлопот, заботился лишь о том, чтобы понадежнее изолировать от внешних проблем своего работодателя — Генерального секретаря — и общими усилиями всех заинтересованных в этом звеньев номенклатуры подыскать для него любые занятия, кроме реального дела.

Нельзя сказать, что это происходило вопреки его воле. Напротив, сам Леонид Ильич, чем дальше, тем охотнее «поддавался» мягкому аппаратному нажиму и находил все большее удовлетворение в символической, декоративной стороне своей безграничной власти, в ее мишуре. С видимым удовольствием после производства из первого секретаря в Генерального, он принял предложение стать не только фактическим, но и номинальным главой государства. Предложение о совмещении партийного и государственного постов аргументировалось его окружением заботой о том, чтобы облегчить положение зарубежных коллег — лидеров других государств, которые-де испытывали протокольные затруднения во время официальных визитов Брежнева за рубеж, не зная, полагается ли встречать Генсека

ЦК КПСС тем же «салютом наций» и парадом почетного караула, что и рядовых президентов других стран.

Пост Председателя Президиума Верховного Совета вызвал необходимость обустроить соответствовавший этому сану кабинет в Кремле. Так, начав в 1964 г. бегством из Кремля в боевые порядки действующей, партийной армии, Генсек, все больше походивший на свое бронзовое изваяние, появлявшееся на городских площадях и монументах военной славы, вернулся в кремлевские палаты, в сущности, как вышедший на покой пенсионер.

К этому времени из рук своих коллег по Политбюро и военных он успел получить практически все высшие воинские звания (кроме генералиссимуса, что поставило бы его в один ряд со Сталиным, Франко, Чан Кайши и Трухильо) и награды, превзойдя по их количеству даже истинно великого полководца второй мировой войны Георгия Жукова. По утверждению его помощников, испытывая почти такое же удовольствие от церемоний по вручению орденов, как от их получения, Брежнев после просмотра популярного телесериала об отважном советском разведчике, работавшем в немецком тылу во время войны, выразил пожелание наградить Звездой Героя актера, исполнявшего эту роль, уже с трудом отличая его от реального персонажа.

В окружении вождя развернулось настоящее соревнование за «право» увенчать его грудь очередной и по возможности оригинальной наградой. Так, верноподданные руководители «творческих союзов» то объявляли его лауреатом различных премий, включая высшее творческое отличие советских писателей — Ленинскую премию в области литературы. (Этой чести, ставившей Генсека в один ряд с М. Шолоховым, Л. Леоновым, В. Распутиным, он был удостоен за мемуары, написанные за него группой «гоустрайтеров», сколоченных тогдашним генеральным директором ТАСС Леонидом Замятиным), то вручали «дорогому Леониду Ильичу» членский билет Союза писателей СССР номер 1, а затем более скромно: журналистский — № 2, учитывая что номер 1 был навечно закреплен за другим Ильичем — Владимиром Лениным.

Чтобы не отставать от своих изобретательных кол-

лег, руководивших советской культурой, партийные международники попробовали прозондировать за рубежом почву насчет присуждения Брежневу Нобелевской премии мира (о литературной Нобелевской премии разговора пока не заходило), однако, убедившись что надежды на это нет, ограничились решением о провозглашении его лауреатом Ленинской премии мира.

Постепенно регулярные съезды КПСС, по традиции обозначавшие главные этапы политической жизни страны, начали почти как в сталинские времена превращаться в ораторские конкурсы по прославлению партийного вождя. Наиболее активно в этих соревнованиях на число упоминаний имени Брежнева в ритуальном 15-минутном выступлении и на изощренность эпитетов, прилагаемых к его имени, участвовали партийные секретари южных — кавказских и среднеазиатских — республик. Они же, как правило, прикрываясь традициями «восточного гостеприимства», ставили рекорды по пышности приемов, организуемых при посещениях Генсеком этих республик, богатству преподносимых ему подарков и количеству людей, выводимых на улицы для демонстрации «народного ликования».

Так, Э. Шеварднадзе произвел фурор на одном из торжественных заседаний с участием вождя, когда, заверяя русский народ в вечной дружбе со стороны грузин, сообщил, что для Грузии «солнце восходит не на востоке, а на севере», и пообещал срыть Кавказские горы, если они будут мешать полному расцвету этой дружбы. Примечательно, что именно выступление Шеварднадзе на XXVII, т. е. первом «горбачевском» съезде КПСС, содержало такие же хвалебные тирады в адрес уже нового Генсека, что Горбачев счел нужным приструнить его со своего председательского места, а текст его речи, опубликованный на следующий день в газете был «цензурирован».

Разумеется, не одна только надежда понравиться руководителю и задобрить его откровенной и изощренной лестью объясняла эти протуберанцы славословий в его честь. Распинаясь в заверениях личной преданности Генсеку, республиканские лидеры могли, завоевав его расположение, рассчитывать на вполне материаль-

ную форму вознаграждения за свое усердие в виде дополнительных ассигнований из государственного бюджета, приоритетного одобрения программ, а если повезет, и благоприятного поворота собственной судьбы, например, перевода на работу в Москву или избрания на очередном Пленуме или съезде в члены Секретариата или Политбюро.

Главное же, на что надеялись, разъезжаясь по домам после выполнения ритуалов поклонения московскому вождю, республиканские партийные «бароны», была гарантия их «неприкасаемости» для юридических законов и для возможных расследований Комитета партийного контроля, часто портивших кровь наиболее разнузданным местным бонзам. Иначе говоря, мандат на безнаказанность, на суверенное правление вверенными им территориями, а для некоторых и на «кормление» на них (этим термином на Руси еще с феодальных времен обозначали легально подтверждаемое царем право местных князей или царских наместников заниматься поборами и узаконенным ограблением местного населения).

Впечатляющий пример такого толкования «суверенности» продемонстрировал Шараф Рашидов — фактический удельный хан Узбекистана и одновременно «крестный отец» местной мафии, присвоивший с помощью своих подручных, а также брежневского зятя Юрия Чурбанова миллиарды государственных средств, выплаченных его республике за хлопок, которого она не производила.

Принявшее форму бюрократического «перпетуум мобиле» сожительство (коабитация) немощного лидера и всевластной номенклатуры, казалось, могло продолжаться неограниченное время, если бы оно не происходило за счет истощения экономики страны и деградации общества. Гигантскую управленческую машину, обслуживавшую прежде всего саму себя, разумеется, вполне устраивал лидер, все реже появлявшийся в своем кабинете, приезжая на Старую площадь к 11—12 часам дня и уезжая вскоре после обеда, да и то не каждый день. Как правило, по четвергам после очередного заседания Политбюро Брежнев удалялся за город, на дальнюю дачу в Завидово, чтобы поохотиться или про-

сто отдохнуть. В последние годы эти заседания могли продолжаться всего 15—20 минут, достаточных для того, чтобы в дальнейшем всевластный заведующий Общим отделом К. Черненко имел полномочия рассылать по ведомствам подписанные (а чаще всего проштампованные подписью Генсека) бумаги, оформляя их как решения высшего партийного коллективного органа, немедленно принимавшие силу государственного закона.

Разветвленный аппарат помощников Генсека чем дальше, тем чаще бравший решение многих оперативных вопросов на себя, одновременно бдительно следил за тем, чтобы ограждать верховного руководителя от «незначительных» проблем, объем которых, разумеется, постоянно возрастал. По существу, основная функция окружения в этот период сводилась к тому, чтобы «предъявлять» Генсека партии и стране, подготавливая его все менее продолжительные выступления (их тексты печатались специальным укрупненным шрифтом, однако и это не гарантировало от того, что, запутавшись в абзацах, почти не воспринимающий смысла произносимых им слов, оратор не прочитает дважды один и тот же раздел или страницу).

К этому же, по существу, сводилась и превратившаяся в политическую роль главного врача Брежнева, начальника Четвертого управления Министерства здравоохранения СССР Евгения Чазова. Именно от его искусства и применявшихся им лекарств все чаще зависел график партийных и государственных совещаний, протокольных мероприятий и визитов зарубежных гостей. Те, как могли, подыгрывали этой комедии, периодически сообщая прессе, как это, в частности, делали В. Жискар д'Эстен и Г. Шмидт, о «глубоком впечатлении», произведенном на них очередной «содержательной» беседой с Генсеком, который все реже включал свой слуховой аппарат, не говоря уже о мыслительном, во время дипломатических переговоров.

Для того чтобы максимально разгрузить главу государства от физических нагрузок, был пересмотрен официальный протокол встреч и проводов иностранных гостей — в прежние времена Брежнев лично прибывал на аэродром и с явным удовольствием вместе с очеред-

ным визитером слушал государственные гимны и принимал парад почетного караула. Одному из оборонных заводов заказали даже передвижной эскалатор, избавляющий вождя от необходимости самому подниматься по трапу самолета. Работа по его изготовлению была приостановлена, поскольку опытный образец не прошел успешно испытаний в условиях московской зимы. В здании ЦК уже всерьез подумывали о переоборудовании персонального «секретарского» лифта с тем, чтобы в него могло въезжать инвалидное кресло.

Брежневскому окружению все труднее удавалось привлечь внимание угасающего вождя к требовавшим хотя бы его кивка неотложным делам страны. Подчас им приходилось пробуждать его интерес к очередной встрече обещанием присуждения ему нового почетного звания или награждения зарубежным орденом. Если бы можно было набальзамировать Брежнева еще при жизни и, остановив часы в государстве, прервать безжалостный ход времени, аппарат с восторгом бы законсервировал брежневскую эпоху в этом ее полуразложившемся состоянии.

К сожалению для многих, не одни потребности великой страны, отнюдь не собиравшейся следовать за своим прощавшимся с этим миром лидером — ими в конце концов номенклатура могла бы и пренебречь — но и интересы самосохранения самого аппарата требовали не только имитации государственной деятельности, но и решения множества неотложных вопросов по существу.

ИРРЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Каждое утро Михаил Андреевич Суслов подъезжал ко 2-му подъезду ЦК с пунктуальной точностью за 5—7 минут до 9 часов. Зная об этом, «топтуны» — сотрудники наружной охраны ЦК, одетые в гражданское, не дожидаясь сигнала из его машины, решительными манипуляциями приостанавливали поток пешеходов на то время, пока тощая фигура члена Политбюро в длиннополом пальто и серой шляпе пересекала тротуар и скрывалась за черной дверью с начищенной медной ручкой. Суслов упрямо отказывался въезжать, как все

высшие руководители партии, в безопасный внутренний дворик ЦК к укромному секретарскому подъезду. Похоже, что, делая несколько шагов по «общему» для всех тротуару, он демонстрировал окружающим, а на деле исключительно самому себе, непоколебимый «демократизм» и нежелание отрываться от обычных советских граждан.

Второй человек в партии, бессменный член Политбюро с 1955 г., Суслов во всем, начиная с собственного облика, стремился олицетворять верность партийной традиции, схоластической догме и заведенному раз и навсегда порядку вещей. Даже его неизменное габардиновое пальто покроя все того же 1955 г. и резиновые галоши, которые он, вероятно, последним из жителей Москвы продолжал надевать в слякоть, казалось, были символами вневременности и нетленности истин, хранителем которых он ощущал себя, отвечая в Политбюро за идеологию. На самом деле этот великий партийный инквизитор — Торквемада КПСС, подобно своим галошам, уже давно стал реликтом ушедшей эпохи, оставаясь тем не менее одним из самых могущественных персонажей в государстве.

Новый триумвират его подлинных руководителей, пришедший на смену «тройке» Брежнева, Косыгина и Подгорного, состоял из Михаила Суслова, Дмитрия Устинова и Андрея Громыко. Наиболее могущественная военная и экономическая сила была, разумеется, сосредоточена в руках Дмитрия Федоровича Устинова, ставшего в 1976 г. министром обороны СССР после того, как многие годы он отвечал за «оборонку»: советский военно-промышленный комплекс. Руководя огромной армией второй мировой супердержавы и гигантским промышленным потенциалом, составлявшим более половины национальной экономики, Устинов, несомненно, был истинным «сильным человеком» позднебрежневского правления. Подвластная ему невидимая империя уже в силу количества работавших на нее людей являла собой несущий каркас здания «развитого социализма». Перефразируя слова Г. В. Плеханова, сказанные им в начале века о Пруссии, можно было с полным основанием назвать и СССР конца 70-х годов не страной с армией, а «армией со страной».

Военно-промышленный монстр, с трудом вмещавшийся в гражданское верхнее платье родины социализма, стремившейся к тому же играть роль оплота мира, уже одним своим весом придавливал к земле, расплющивал не только стремительно терявшую жизненные силы экономику, но и государственную политику СССР. Чем дальше, тем в большей степени именно интересы армии и военной индустрии, обретя собственную инерцию и повинуясь своей специфической логике, диктовали распределение государственного бюджета, осуществление тех или иных социальных программ и определяли если не облик, то ориентацию и рамки советской внешней политики.

Прекрасно понимая это, мастодонт дипломатии Андрей Громыко без колебаний заключил стратегический союз с Устиновым и стоявшими за ним военными и промышленными генералами, поставив свой безусловный профессионализм на службу военной машине. Как любой прочный союз, он не мог быть бескорыстным. Громыко рационализировал и переливал в политические формулы и формы бессмысленно накапливаемую военную мощь советской сверхдержавы, получая за это возможность оставаться в кругу «грандов» мировой политики и исполнять вместе с очередным американским коллегой роль одного из «содирижеров» мирового концерта наций.

Общими усилиями Устинова и Громыко в конце 70-х были окончательно погублены ростки пережившей даже оккупацию Чехословакии европейской разрядки и перечеркнуты многообещающие перспективы хельсинкского процесса. Переговоры по разоружению, как советско-американские, так и венские — об обычных вооружениях в Европе — были переведены на холостые обороты, а под производственные планы и финансовые аппетиты военной индустрии — подведена новая концепция советской стратегии в Европе: евроракетного шантажа (по отношению к «третьему миру» политика Устинова и Громыко, опьяненных «стратегическим отступлением» США после поражений во Вьетнаме, в Никарагуа и Иране, состояла в том, чтобы склонить в свою пользу мировой баланс сил. Наиболее безрассуд-

ным шагом в этом направлении стал ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.).

Человеком, чье влияние было сравнимо с дуэтом Устинова и Громыко, хотя и державшимся от него в стороне, был всесильный правитель Лубянки, глава КГБ, Юрий Владимирович Андропов. Комитет — наследник мрачного сталинского ведомства, хотя и без бериевской империи ГУЛАГа, — продолжал оказывать на весь ход жизни в стране такое влияние, которое ни переоценить, ни просто оценить было невозможно. Во всяком случае, оно сопоставимо лишь с совокупным весом министерств обороны и иностранных дел.

Даже после шести с половиной лет горбачевской перестройки, в момент номинального роспуска после августовского путча осенью 1991 г. штатная численность сотрудников КГБ, по официальным данным последнего председателя Комитета Вадима Бакатина, составляла свыше полумиллиона человек. Реальные же размеры и тем более масштабы влияния этой подземной империи безопасности просто невозможно представить. По степени проникновения во все капилляры тогдашнего общества, наличию невидимой, но эффективной паутины внешних контактов и армии негласных помощников и осведомителей КГБ мог, пожалуй, соперничать только с самой партией. В то же время под жестким руководством Андропова, сдерживая политические амбиции, он послушно выполнял роль «вооруженной руки» партии, подчеркнуто ставя себя в подчинение ЦК. Что на деле означало: Суслову.

В этой унылой фигуре партийного начетчика «силовые» структуры чтили не сильную личность — главный идеолог явно не годился и даже не претендовал на эту роль — и даже не личность вообще, не индивидуальность характера или ума, отличающие человека в толпе ему подобных, а прямо противоположные качества: безликость и анономность человека в галошах, символизировавшего собой Систему. Ту самую Систему, которая позволяла бесконтрольно властвовать и Устинову, и Громыко, и Андропову, и самому Брежневу, а также их многочисленным подобиям на всех этажах гигантской лестницы власти.

Суслов был главным жрецом — хранителем матрич-

ного кода Системы, секретного эликсира, который, подобно составу, применявшемуся для сохранения нетленного облика Великого вождя, не давал разлагаться перезрелому плоду «реального социализма». Роль такого консерванта играла идеология. Вот почему именно пост партийного ключника — идеологического секретаря — считался по аппаратным меркам самым престижным и почетным после Генсека. Его обладатель, независимо от возраста, рассматривался как официальный наследник первого лица в партии. Прежде чем занять кресло Генсека, каждый из преемников Брежнева — Андропов, Черненко и Горбачев — должны были отслужить какое-то время на этой стратегической должности.

Главный идеолог, возглавлявший армию партийных капелланов, ставил перед ними, по существу, невыполнимую цель: поддерживать у населения огромной страны (а с помощью «братских» партий и все менее бескорыстных «друзей» Советского Союза и за его пределами) веру в существование на ее территории иллюзорного мира. Как известно из истории, такие задачи решаются либо с помощью религиозного или революционного гипноза, либо массового террора (или их сочетания). Ни на то, ни на другое фантазии и потенции у стремительно стареющих вождей государства уже не хватило.

Быть может, у кого-то из них еще теплилась надежда на изоляцию страны от окружающего мира с тем, чтобы избежать убийственного для 70-летнего социализма сопоставления с его, увы, более свежим и энергичным, хотя и более пожилым капиталистическим соперником. Но и этот, автаркический способ сохранения девственности коммунистической цивилизации в России путем превращения ее в закрытый Китай или Японию прошлых веков был нереален в эпоху глобальных коммуникационных связей.

Что же оставалось, если учесть провал затянувшегося исторического эксперимента по построению реального социализма в одной, отдельно взятой стране? Оставалось играть в социализм ирреальный, воображаемый. От каждого из участников игры требовалось строго соблюдать ее правила. От руководства страны —

изображать из себя прямых наследников первых «катакомбных» большевиков, убежденных и неподкупных коммунистов. От остального населения — имитировать дважды в год, в мае и ноябре, энтузиазм и радость от возможности жить при социализме, а в другое время — не опровергать этого отлыниванием от хотя бы символического труда, массовой эмиграцией и, разумеется, открытым диссидентством. За соблюдением правил игры бдительно следили рефери: сусловские идеологи и андроповские сексоты. Со смертью Суслова в январе 1982 г. и перемещением Андропова в ЦК эти функции оказались в одних руках.

Идеологическое ведомство ЦК во времена Суслова «охраняло» обширную сферу интеллектуальной и духовной жизни страны: средства массовой информации, науку, образование, культуру, внешнюю политику и даже спорт. На каждом из этих участков находился контрольно-пропускной пункт ЦК — чаще всего в виде отдела, осуществлявшего надзор. Ни одна из центральных и даже местных газет, ни один из издательских планов не могли избежать всевидящего ока Отдела пропаганды ЦК или местного партийного комитета. Ни одна из крупных научных конференций или встреч общественных организаций, ни один международный конгресс не созывались в СССР без доклада и «согласия» секретарей ЦК в Москве или как минимум ЦК партии союзной республики. То же относилось и к кадровым назначениям номенклатурного, т. е. мало-мальски руководящего уровня, присуждениям премий, почетных званий и наград, проведению творческих конкурсов и спортивных соревнований и, конечно же, поездкам советских представителей за рубеж.

Любой гражданин, собиравшийся в деловую поездку за границу, для получения заветной выездной визы должен был стать объектом «решения» или «согласия» ЦК (причем каждый раз заново, ибо вера режима в лояльность его подданных, в том числе и из номенклатуры, ограничивалась одноразовыми разрешениями на выезд за рубеж).

Для оформления всей этой немыслимой бумажной бюрократической процедуры существовал специальный отдел, занимавшийся выездами советских граждан

за рубеж. Его можно было бы приравнять к существующей во многих странах иммиграционной службе, если бы, согласно перевернутой логике реального социализма, он не занимался деятельностью прямо противоположной: «просвечиванием» не иностранцев, а собственных граждан и выявлением «нежелательных» элементов, но не с тем, чтобы не пускать их в страну, а чтобы оставить в ней навсегда. Все выезжавшие — в большинстве своем члены партии (это было одно из главных условий выезда за рубеж) обязаны были сдать в партийное хранилище членский билет и одновременно поклясться перед олицетворяющим партию чиновником, что не изменят ей ни с чужой идеологией, ни с чужой женой.

Те, кто удостаивался «доверия Родины» впервые, должны были прочитать и подписать многостраничную инструкцию: «Правила поведения советских граждан за границей». В них наряду со строгим наказом «не ронять достоинства» гражданина Советского Союза содержалось наставление поддерживать регулярную связь с посольскими или консульскими работниками, либо со специально снаряженными с этой целью в составе делегаций и групп «комиссарами» из КГБ. Иначе говоря, право (и привилегия) выезда из страны дарилось в обмен на обязательство стать добровольным информатором.

Этот порядок, заведенный еще в довоенные сталинские времена, когда каждый отправлявшийся за границу рассматривался властью как ее «лазутчик» во враждебном внешнем мире, давно утратил первоначальный смысл вместе с прежними возможностями самой власти контролирвать поведение и образ мыслей ее подданных. Тем не менее в виде бессмысленного ритуала он сохранялся и тщательно поддерживался. Игра велась всерьез. Наказание для уклоняющихся от соблюдения ее правил могло быть вполне реальным. Сколько людей, выделявшихся из общей серой шеренги, пострадали за самобытность и неконформизм, за то только, что были личностями, а не винтиками тоталитарной машины. Сколько их впоследствии, при первом дыхании оттепели перестройки воспользовались появившейся возможностью выехать из СССР, чтобы

покинуть его навсегда, унося с собой «на подошвах сапог» воспоминание о родине и знания, способности и таланты, которые могли бы ее обогатить, облагородить и цивилизовать.

Возможность «не пущать», сделать «невыездным», т. е. превратить в человека униженного слоя, как любой произвол, разумеется, доставляла наслаждение партийным чинушам, тешила самолюбие аппаратчиков разного калибра. Это был самый простой способ утверждения собственной значимости через власть над ближним. Одновременно отданное чиновникам право на произвол являлось и утверждением власти самой системы, ее напоминаним о себе, еще одной формулой подчинения и разрушения независимости личности.

Контроль за зарубежными поездками был лишь одной из форм тотального контроля за подданными Советского государства, к тому же затрагивавшей относительно немногочисленную категорию граждан. Для поддержания стабильности системы и ее эффективного функционирования необходим был идеологический допинг, сложная смесь из мифов, предрассудков и нереализованных надежд миллионов людей. Вот почему линия обороны разлагавшегося режима проходила через оруэлловское Министерство Правды — Отдел пропаганды.

АУТОДАФЕ ВО 2-М ПОДЪЕЗДЕ

Если партийный Кремль — здания ЦК КПСС — представить в виде средневековой крепости (чего он вполне заслуживал), то главной ритуальной площадью в нем по праву числился бы зал заседаний Секретариата ЦК. Именно там оглашались важнейшие рескрипты верховной партийной власти, объявлялись повышения и производства в новые чины и там же происходили политические казни и разжалования. В этом зале главный идеологический жрец — Михаил Суслов или по его поручению ревностный и усердный, как и положено младшему по званию, секретарь по вопросам пропаганды Михаил Зимянин периодически совершали обряд идеологического аутодафе.

Подобно любой религии, тем более в ее обюрокра-

ченном, канонизированном варианте, коммунистическая идеология не могла обходиться без искоренения ереси и сеансов экзорсизма. Защита догм, на которых покоилось советское государственное здание, от любых отклонений, проявлений несанкционированного вольнодумства и попросту чиновнего непослушания, обставлялась как священный ритуал — с помпой и многозначительностью. Как много потеряли суды Святой Инквизиции от того, что к местам их заседаний в свое время не съезжались десятки черных «волг», подвозивших к подъездам ЦК седоков в черно-белом облачении с красными значками депутатов различных советов на лацканах пиджаков.

Разумеется, времена ждановских «погромов», распинавших Ахматову, Зощенко, Шостаковича, и хрущевских разносов Пастернака, Неизвестного и Вознесенского миновали. Демонстрируя «респектабельность», которая должна была отличать брежневскую эпоху от периодов «культа» и «субъективизма», партийная власть не устраивала шумных процессов. Она лишь корректировала отклонения от заданного курса, иногда по-отечески журя, иногда для острастки наказывая провинившихся. Случаи острых идеологических заболеваний, перераставшие в политические проблемы, как это было, в частности, с Солженицыным и Сахаровым, идеологи передавали в компетентные руки КГБ.

Был даже разработан особый «мягкий» метод идеологических репрессий. Режим не казнил и не арестовывал (за некоторыми исключениями) авторов дерзких или неугодных произведений — зато арестовывались, ссылались, объявлялись невыездными или, наоборот, высылались за границу их труды. Например, ЦК мог принять решение опубликовать того или иного нонконформистского автора «в связи с его трудным материальным положением», но «ограниченным тиражом» или «только для научных библиотек». Это позволяло подкинуть гонорар нигде не печатавшемуся и зачастую голодавшему писателю и продемонстрировать внешнему миру либеральность власти без того, чтобы хоть одна из опубликованных книг попала к широкому читателю. Точно так же поступали со «спорными» фильмами, вроде «Андрея Рублева» Тарковского, который

«разрешали» закончить и показать... только зарубежному зрителю. За этой иезуитской политикой на самом деле скрывалась старческая немочь режима, обоснованно боявшегося реальности собственной страны и внешнего мира и в то же время уже не отваживавшегося делать ставку исключительно на принуждение и террор. Более цивилизованные идеологические путы заменили одиозные и ржавые кандалы.

Периодические сборы пропагандистов в зале Секретариата ЦК служили для «тонкой настройки» механизма идеологического управления духовным климатом в стране и жесткой фиксации границ дозволенного и недозволенного. «Жареные факты» для показательных идеологических экзекуций кропотливо собирал Отдел пропаганды, вычесывая «блох» из необъятной периодической печати, новых книжных публикаций и телевизионных программ. Затем все это подавалось «на блюде» секретарю, осуществлявшему очередную «порку». В список прегрешений против официальной Истины (в том виде, в каком она формулировалась в этот день) могло попасть что угодно: «пессимистический» очерк о деревенской жизни, попытка издать забытые произведения русских мистических философов, фривольная передача по телевидению или статья с намеком на нерусское происхождение матери Владимира Ильича.

За одно из таких нарушений «правил уличного движения» — публикацию в ежемесячнике «Журналист» художественной фотографии обнаженной женской натуры — был снят с работы, разжалован в корреспонденты и отправлен в Прагу его главный редактор Егор Яковлев (возвращенный в эпоху гласности Горбачевым и возглавивший газету «Московские новости»). В другой раз сурово наказали редактора очередного тома Большой Советской Энциклопедии, попытавшегося опубликовать, наряду с обязательной канонической критической статьей о троцкизме, и краткую биографию самого Троцкого — это уже сочли идеологической диверсией. Запрещено было упоминать всуе не только имена «врагов народа», репрессированных еще Сталиным, но и многих деятелей следующей эпохи, включая Н.Хрущева. С помощью хитроумной техники его изо-

бражение удалили даже из кадров документальной хроники о триумфальной встрече Юрия Гагарина на Красной площади жителями Москвы и, разумеется, самим Хрущевым, стоявшим рядом с космонавтом на Мавзолее. Случайно мелькнувший на экране телевизора «не разрешенный» к показу исторический персонаж мог вызвать гневную реакцию идеологических громовержцев режима: Суслова или Зимянина.

Иногда, чтобы обезопасить себя от карательных санкций, многоопытный Сергей Лапин прибегал к такому приему: в канун очередной «порки» на 5-м этаже он звонил в Отдел пропаганды и невинным голосом сообщал между делом, что вернувшийся с охоты Леонид Ильич не только поблагодарил его по телефону за понравившуюся передачу (это мог быть хоккейный матч с участием любимой команды Брежнева), но даже прислал охотничий трофей — оленью ногу. Поскольку проверить истинность такой информации аппарату было не под силу, телевидение на всякий случай исключалось из списка «мальчиков для битья».

Самым тяжелым обвинением, предъявлявшимся работникам идеологического фронта, вызванным в ЦК «на ковер» (поскольку практически все руководители средств массовой информации и «творческих союзов» состояли в партии, никто из них не мог уклониться от такого «приглашения»), было — «очернительство советской действительности». Если под эту «статью» идеологического уголовного кодекса попадала газетная или журнальная публикация, книга, фильм или спектакль, — автора, редактора или режиссера могли ждать серьезные неприятности. Месяцами и годами не появлялись перед зрителями такие фильмы, как «Проверки на дорогах» Германа, «Комиссар» Аскольдова, «Покаяние» Абуладзе. Такие спектакли любимовского Театра на Таганке, как «Живой», «Памяти Высоцкого» и даже пушкинский «Борис Годунов», из-за того, что натренированное ухо партийного цензора слышало в репликах или интонациях актеров намек на неприглядную действительность развитого социализма. Для того чтобы «пробить» показ составленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «Так победим», главному режиссеру МХАТа Олегу Ефремову приходилось многократно

апеллировать к неумолимому Суслову, готовому заподозрить в контрреволюционности самого Великого Вождя.

Длинные объяснительные записки в Отдел пропаганды ЦК вынужден был писать ставший на это время «невыездным» нынешний российский посол в Праге Александр Лебедев: в одной из своих статей он осмелился назвать эпопею социалистического строительства в СССР «экпериментом». Другой известный журналист Александр Пумпянский — ныне главный редактор журнала «Новое время» — был срочно отозван из США, где работал постоянным корреспондентом молодежной газеты. Он был обвинен в косвенном «очернительстве» советской действительности путем «обеления» действительности американской. Крамолу нашли в его утверждении, будто в США «миллионеры перестали быть редким явлением».

Праведный гнев Зимянина легко было понять: его отдел заботился не только о прославлении жизни в иллюзорном социалистическом «раю», но и о противодействии подрывной пропаганде «противника», даже если она сводилась всего-навсего к беспристрастной информации об окружающем мире. Для защиты от истины требовалось «всего лишь» истребить все, что составляло ее объективный критерий. «Истина не всегда революционна», — резюмировал позицию своей партии итальянский коммунист в фильме Франческо Рози «Сиятельные трупы». «Реальность может быть вредной для интересов трудящихся» — таково было кредо небожителей 5-го этажа ЦК, открывших независимо от Эйнштейна закон, а главное, метод искривления Вселенной и мечтавших соорудить вокруг своей страны подлинный непроницаемый «информационный занавес».

С особым пристрастием, буквально сквозь увеличительное стекло, разглядывали «следователи» Отдела пропаганды любые отклонения от «ленинской национальной политики». Учитывая деликатность этой темы для многонациональной страны и интернационалистской партии, счет нюансов здесь шел на миллиграммы. Тщательному расследованию, например, с выездом на место происшествия подвергся выпуск почти одновре-

менно в Баку и в Ереване «научных» трудов, доказывавших, что библейский Ной, оставивший следы своего пребывания во время Потопа на горе Арарат, был по национальности в одном случае армянином, в другом, разумеется, — азербайджанцем. Эта история привела к острой вспышке тогда еще только словесной войны между двумя республиками — примирять их пришлось специальной бригаде из Московского ЦК.

Самой известной жертвой конфликта личных взглядов с официальной партийной линией в сфере национальной политики стал в 1972 г. Александр Яковлев, сам в ту пору фактически руководивший Отделом пропаганды. Этот аппаратный ангел, восставший против заигрывания высшего партийного синклита с великодержавным шовинизмом и антисемитизмом, опубликовал в «Литературной газете» взволнованную статью на эту тему, поддержав «Новый мир» Александра Твардовского в его полемике с редактором «Октября» Всеволодом Кочетовым. Несмотря на то, что достаточно «интернационалистская» статья была предварительно согласована с Сусловым, из-за яростной реакции великорусских националистов партийные вожди сочли за благо отмежеваться от слишком «одностороннего» автора и принесли его в жертву. В результате в течение 24 часов Яковлев был низвергнут со своего стратегически важного поста и отправлен послом в десятилетнюю ссылку в Канаду.

С помощью интенсивных идеологических промываний мозгов руководители партийной машины добивались от всех ее звеньев — прессы, телевидения, кино, театра — одного: пропаганды. В постсталинском социализме, не имея возможности опереться на откровенное насилие, они возлагали надежду на социальную инженерию, стремясь возвести опору для рассыпающегося режима внутри каждого человека — заветная мечта любого тоталитарного строя.

Однако поскольку на «излете» реального социализма уже не приходилось рассчитывать на искренний энтузиазм его строителей, оставалось прибегать, как в работе секретных служб, к «вербовке»: втягивать человека в соучастие в деле, в успех и справедливость которого он не верит, с помощью подкупа, запугивания и при-

нуждения. Поощрением массового коллаборационизма с собственной властью, «повязыванием» людей путами аморальных компромиссов, двусмысленных и унизительных ритуалов, предательства принципов и отказа от собственной независимости. Ханна Арендт писала об этом в «Корнях тоталитаризма», рассказывая об опыте нацистского поглощения личности: «Единственным частным лицом в Германии был только спящий человек».

Для игры по такой партитуре нужны не творцы и солисты, а исполнители хоровых произведений, не сводящие глаз с капельмейстера, и аплодирующий зал. Вот почему так не любили на 5-м этаже нестандартных людей с незаурядными способностями. Недаром «серый кардинал» брежневской эпохи М.Суслов подавал другим пример собственной безликостью. Яркие личности — опасные конкуренты Системы, они могут затенить ее величие.

Однако чем дальше, тем отчетливее сознавали готовые поддаться самогипнозу идеологические вожди, что воспитание «интегрального» социалистического индивида продвигается туго. Главные усилия пропагандистской машины теперь сосредоточились на более скромной задаче: с одной стороны, поддерживать у начальства иллюзию, будто оно продолжает руководить страной и повелевать ее гражданами, с другой — обеспечивать хотя бы «соблюдение приличий» — минимальной лояльности со стороны населения, добиваясь послушания за счет инерции страха, оставшегося от сталинского террора, и безразличия людей, изверившихся в возможности перемен в своей жизни. Таков был негласный, никем не сформулированный новый Общественный Договор, придававший видимость стабильности позднебрежневскому режиму.

Верили ли сами верховные вожди, дважды в год поднимавшиеся на Мавзолей, в искренность тысяч людей, проходивших по Красной площади, в их энтузиазм, давно оставшийся только на фанерных транспарантах? Или они, уже давно не веря сами в божественное Откровение, просто исполняли привычный религиозный обряд, считая, что не вправе разочаровывать искренне верующих? Здесь трудно дать однозначный ответ. Как

невозможно, скажем, понять, с какого момента неизлечимо больной человек перестает воспринимать правду о своем состоянии и начинает жить в иллюзорном мире надежд на скорое выздоровление, предпочитая больше доверять знахарям и корыстным шарлатанам, чем безжалостным диагностам или даже собственным ощущениям.

Да и во что реально могли верить люди, которым досталась роль смотрителей в храме уже угасшей религии? В достижение идеала, давно переставшего быть земной целью для потомков революционных романтиков и не превратившегося ни в религиозный, ни в нравственный ориентир? В идеологию, азы которой они не без труда усвоили в молодости и вряд ли смогли бы сегодня сформулировать даже самим себе?

Скорее всего они давно перестали размышлять над столь сложными материями, сохранив веру лишь в незыблемость собственной власти и заведенного до них порядка вещей, который им ее обеспечивал. От граждан управляемой ими страны они требовали делить с ними веру в непоколебимость существующего строя, а не в его абстрактные ценности и идеалы.

В обществе государственного цинизма идеальные подданные — это не романтики и не фанатики-идеалисты, а конформисты и приспособленцы, для кого давно утратила смысл граница между правдой и ложью, фикцией и реальностью. Истинно же верующие, в том числе в изначальные коммунистические идеалы, выступали в роли еретиков и даже подрывных элементов — от них как от опасных раздражителей стремилась избавиться номенклатурная партия и обезопасить себя государство. Подобно тому как в «нормализованной» с помощью советских танков Чехословакии за бортом партии оказывались преданные коммунистической идее Александр Дубчек и Йозеф Смрковский, в Советском Союзе в эти же годы партийная инквизиция — Комитет партийного контроля КПСС «очищал» партию от Роя Медведева, Лена Карпинского и других «последних могикан», веривших в жизнеспособность марксизма в его ленинской «огранке».

Сами же руководители не мучились душевным разладом от того, что вели страну в заведомый тупик — им

не хватало даже цинизма, чтобы прагматично обеспечивать выживание существующего строя. Чувствуя себя комфортно в искусственном и иллюзорном мире, созданном партийным и репрессивным аппаратом, они с готовностью закрывали глаза на реальную жизнь, тем более что глаза эти все чаще закрывались сами собой. Номенклатурному режиму и его лидерам для того, чтобы в буквальном смысле стоять на ногах, требовались искусственные подпорки и костыли и, разумеется, самый надежный из них — Комитет государственной безопасности.

В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОРЯДКОМ

В конце Ильинки, берущей начало от Спасских ворот Кремля, маршрут членов Политбюро, разъезжавшихся с очередного заседания, раздваивался. Секретари ЦК сворачивали к своему серому зданию направо, а председатель КГБ — влево, к окрашенному в веселый яично-желтый цвет дому на Лубянке. Постовой милиционер (точнее говоря, офицер КГБ, одетый в милицейскую форму) останавливал движение на круглой площади, которая, пожалуй, напоминала бы площадь Шарля де Голля в Париже, если бы в центре ее вместо Триумфальной арки не возвышался «Лубянский обелиск» — памятник «рыцарю революции», основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Машина очередного «первого чекиста» страны, председателя КГБ останавливалась у парадного подъезда, выходящего на площадь, и тяжелая дверь, обычно плотно закрытая, пропускала его внутрь.

Остальные сотрудники комитета пользовались другим входом на противоположной стороне здания. Легальные чекисты после рабочего дня растворялись в толпе москвичей и приезжих, ценивших этот квартал Москвы за более важные, с их точки зрения, стратегические точки столицы: большой продовольственный магазин и главный детский супермаркет города, а может, и всего Советского Союза, название которого — «Детский мир» — иногда использовалось и для обозначения КГБ.

Внешне это зловещее ведомство, разумеется, выглядело весьма обычно, если не считать декоративных решеток и почти незаметных снаружи сеток на окнах нижних этажей. Утверждают, что сетки были вставлены после того, как в один жаркий день через раскрытое окно ветром выдуло на улицу какой-то документ. Хозяин кабинета, вскочив на подоконник, выхватил револьвер и, наведя его на толпившихся внизу прохожих, грозно потребовал не приближаться к лежавшему на тротуаре листку бумаги, пока его коллега не сбегал за ним вниз. Говорят, находчивого сотрудника «Детского мира» похвалили, хотя могли и репрессировать. Дом на Лубянке долгие годы держал под прицелом всю страну, став наряду с Кремлем и Старой площадью одной из трех точек опоры социалистического государства, причем той, на которую с годами все более перемещался его основной вес.

Однажды тяжелая дверь парадного подъезда за спиной Дзержинского открылась и для меня. Этой нечаянной чести я удостоился, когда работал консультантом Отдела международной информации ЦК и был снаряжен на «согласование» с руководством КГБ очередной политической записки перед тем, как представить ее Генсеку. В темном пустом холле, отделанном мрамором, у подножия внушительной лестницы, пользоваться которой полагалось лишь председателю и его замам, меня поджидал невзрачный человек, предложивший следовать за ним. Мою попытку предъявить часовому у входа удостоверение он мягко отклонил: «Не надо. Мы вас знаем». Должно быть, эту фразу он мог бы сказать и миллионам других советских граждан, чьи досье «на всякий случай» хранились в комитете.

Дверь подъезда беззвучно закрылась за моей спиной, и, несмотря на официальный статус и предназначенную для самого Генсека бумагу под мышкой, у меня возникла тревожная мысль: «А смогу ли я выйти отсюда?» Уверен, на моем месте то же самое подумал бы любой из моих сограждан, независимо от профессии и жизненного опыта — настолько глубоко в плоть и кровь каждого проник страх перед этим оруэлловским Министерством Любви, передаваемый, должно быть, уже по наследству.

По пустынным начальственным коридорам мой Вергилий провел меня в приемную и из нее сразу в кабинет Виктора Чебрикова, бывшего тогда первым замом Андропова. Из широкого окна, не забранного ни решеткой, ни сеткой (не знаю, почему в моем возбужденном воображении всплыло имя выбросившегося или «выпавшего» в 1948 г. из окна чехословацкого МИДа Яна Масарика), открывался непривычный (из-за плеча Дзержинского) вид на площадь и уходящую вдаль, к Кремлю, перспективу Никольской улицы, тогда еще называвшейся ул. 25 Октября. На стене соседнего здания было начертано: «Партия — бессмертие нашего дела! В. Маяковский».

Лозунг поместили здесь, видимо, потому что в доме напротив, где одно время жил Маяковский, находился его музей. А, может быть, настенного поэта приблизили к его каменному идеалу, памятуя о его собственном завете: «Делать жизнь с товарища Дзержинского». Новые здания КГБ — современная Бастилия, — возведенные на площади в унылом стиле бюрократического модерна, плотным конвоем окружили дом поэта революции — теперь у Лубянки была не только печально знаменитая «внутренняя тюрьма», но и внутренний литературный музей.

Бумага, с которой я явился к Чебрикову, касалась зарубежных контактов советских ученых и предлагала Генсеку поощрять их развитие, расширять круг выезжающих за рубеж научных авторитетов, включая и тех, кого до сих пор туда не пускали «по причине осведомленности о государственной тайне». В документе доказывалась архаичность такого запрета, наносившего ущерб и науке, и политическому «имиджу» страны. Представить эту бумагу на подпись Генсеку без «визы» КГБ Общий отдел ЦК категорически отказывался.

Прочитав записку и задав мне несколько уточняющих вопросов, Чебриков помедлил, потом, сняв трубку кремлевской «вертушки», соединился с «курировавшим» наш отдел секретарем по пропаганде Зимяниным: «Михаил Васильевич, бумага, безусловно, своевременная, и мы готовы ее поддержать. Давайте только добавим одну фразу. Там, где речь идет о расширении поездок за рубеж, допишем: «Решая эти вопросы каж-

дый раз индивидуально, в соответствии с существующим порядком». Телефонная трубка согласилась, и текст был согласован — спорить с КГБ даже секретарю ЦК не приходило в голову. Результат, похоже, удовле творял всех: аппарат предлагал руководству свежую и даже радикальную идею, начальство получало возможность полиберальничать на бумаге, а главное охранное ведомство — гарантию того, что установленный порядок вещей и решающее место КГБ в его обеспечении останутся незыблемыми.

К этому времени «без визы» комитета не только в политической, но и в культурной, и научной жизни страны ничего существенного не происходило. Начав свою историю при Ленине в качестве Чрезвычайной комиссии, использовавшей «революционный террор» в борьбе с организованной преступностью и «контрреволюционными элементами», это зловещее учреждение стало при Сталине новой опричниной, наводившей ужас на население, и одновременно важнейшим рычагом государственной машины управления.

Хрущевская эпоха ознаменовалась попытками ограничить произвол советской охранки и поставить ее под контроль, если не закона, то хотя бы политического руководства страны, то есть Политбюро. Однако по мере эрозии режима само выживание партии и поддержание относительной стабильности в обществе все больше зависели от КГБ, которому все чаще вверялись не только репрессивные, но и идеологические функции.

Брежнев и его соседи по 5-му этажу с видимым облегчением расписывались на многочисленных бумагах, посылаемых на Старую площадь с Лубянки, — ведомство Андропова информировало о тех или иных «антиобщественных проявлениях» и обнадеживающе заканчивало свои реляции фразой: «Комитетом принимаются меры для пресечения (недопущения, локализации, профилактики и т.д.) подобных явлений», что означало готовность КГБ все решительнее брать управление страной в свои руки. Эти «необходимые меры» уже давно вышли за рамки преследования диссидентов и надзора за потенциально неблагонадежными гражданами. Правда, по логике тоталитарных систем, уже одна эта задача представлялась безбрежной: для режи-

ма, пытающегося контролировать не только поведение, но и образ мыслей граждан, «все человеческие существа являются подозрительными по определению в силу их способности мыслить».

В эпоху «мягкого» (не в силу меньших амбиций, а ограниченных возможностей), стареющего тоталитаризма у его карающей десницы — репрессивного аппарата — появляются новые хлопоты и потребность модернизировать привычные методы работы. Созданная для борьбы с «врагами» Советской власти секретная служба осознавала, что во времена «зрелого социализма» основная угроза его безопасности, то есть заведенному порядку вещей, исходит не от «врагов народа», изобретенных Сталиным, не от реальных шпионов, террористов и угонщиков самолетов и даже не от зарубежных «коллег» КГБ, начиная с ЦРУ.

Главный враг тоталитарного режима — не снаружи, а внутри. И это даже не тот, кто пытается с ним активно бороться, снабжая власть поводом для репрессий, а тот, кто всего лишь «не участвует» и, стало быть, не соучаствует, кто стремится любым путем выскользнуть из-под тотального контроля и таким образом защититься от всепроникающей радиации государственной власти.

Вот почему среди объектов внимания КГБ все чаще встречались отнюдь не политические фигуры. Комитет, разумеется, не упускал возможности проведения шумных операций по обезвреживанию «вражеских агентов» и «нейтрализации» активных противников режима, вроде Владимира Буковского, или «нелегальных экстремистских групп» типа «армянских террористов», организовавших, по утверждению «органов», взрыв в Московском метро. И все же гораздо более опасными ему казались деятели «духовной оппозиции»: ученые, писатели, режиссеры. Их стремление к независимости, автономному жизненному укладу, отказ участвовать во вселенском спектакле даже в роли зрителей рассматривались не только как подозрительные, но и вызывающие поступки. Поскольку даже пассивная оборона от государства трактовалась как Сопротивление, их поведение превращалось в политическую акцию, а сами они — в оппозиционеров.

В системе, построенной на тотальной лжи и притворстве, творческие личности считались подозрительными уже в силу профессионального стремления к поиску истины, реальности, к самовыражению. Отказываясь петь в хоре (или молчать), они нарушали правила игры. Их противостояние с режимом могло иметь всего лишь моральный характер, следовать совету Вацлава Гавела: «Ты просто распрямляешь свой позвоночник», или призыву Александра Солженицына «жить не по лжи», но этого было достаточно, чтобы бросить вызов всемогущему партийному государству. Как ни парадоксально, Движение морального неприсоединения к Системе в конечном счете более эффективно разрушало тоталитарный монолит, чем радикальные формы протеста и любой политический мятеж, не имевший в ту пору шансов на широкую общественную поддержку.

Во многом благодаря ему в советском обществе начала зарождаться неведомая прежде контркультура, ставившая в эпицентр духовной жизни личность, с ее индивидуальностью, суверенностью и правами, поднимавшая человека до уровня оппонента государству и, стало быть, равного с ним партнера. Возрождалась, поднималась на ноги после десятилетий прислуживания истинная гуманитарная российская культура, представленная не только десятком морально безупречных героев-диссидентов, а целым поколением потенциальных реформаторов, ждавших, как Пришествия, появления какого-нибудь Горбачева.

Скорее почувствовав, чем разглядев угрозу в прорастающих сквозь идеологический бетон системы побегах моральной оппозиции, КГБ активно развернулся в их сторону. Андропов недовольно брюзжал в своем ближайшем окружении: «Почему КГБ, а не Министерство культуры и отдел ЦК должны работать с деятелями литературы и искусства? Почему они все взваливают на нас?» И отвечал, как Сталин, сам себе: «Потому, что у них ничего не получается», искренне убежденный, что у КГБ получится.

По ряду личных качеств Андропов и впрямь лучше подходил для «работы» с интеллигенцией, чем такие «профессиональные» идеологи, как Суслов, Зимянин

или заведовавшие Отделом культуры ЦК Петр Демичев и Василий Шауро — не имевшие авторитета в творческой среде люди, отслуживавшие свой должностной срок в кабинетах и президиумах торжественных собраний и игравшие, в сущности, роль идеологических надзирателей, «комиссаров», приставленных к несознательным деятелям искусства. Это был еще один парадокс номенклатурной эпохи, когда, в сущности, малограмотные последыши революционного казака Чапаева назначались духовными поводырями к советским Фурмановым.

Напротив, Андропов даже в роли хозяина зловещего КГБ внушал интеллигенции наряду со страхом и определенное уважение масштабностью личности, трезвостью и откровенностью суждений, а также репутацией аскетичного ригориста. В чем-то, по-видимому, Андропову даже помогала его малопочтенная должность: председателю КГБ не было нужды опускаться до примитивной демагогии, без чего не могли обойтись из-за служебных обязанностей идеологические руководители ЦК.

Он мог позволить себе вести себя прямее и честнее, хотя явно жестче и суровее своих собратьев по Старой площади. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и традиционную зачарованность сильными, тираническими личностями, угодливую готовность поддаться их гипнозу и раболепие, увы, столь распространенные среди российских интеллектуалов. В прошлом это проявлялось в обожании царя, затем — в пресмыкании перед Сталиным, ныне — в услужливой суете перед Ельциным. Даже мятежная, анархически-антиавторитарная часть этой интеллигенции при ближайшем рассмотрении оказывалась отнюдь не продемократической, ибо желала лишь замены авторитетов. Получив в результате новую униформу, она с восторгом в нее обряжалась.

Соответственно менялись и приоритеты в руководимом Андроповым КГБ. На первое место среди его заместителей выдвинулся возглавлявший идеологическое направление комитета Филипп Бобков. Он охотно шел на контакты с нестандартными и даже фрондирующими персонажами московской творческой элиты и играл

роль добровольного советчика, а подчас и «духовника» многих свободных художников, желавших угодить власти, задобрить ее или попросту заложить душу за престижную и «хлебную» должность или возможность беспрепятственных зарубежных выездов. По существу, именно тандем Андропова—Бобкова в последние годы брежневского правления выработал и предложил интеллигенции достаточно циничную форму сосуществования с посттоталитарным режимом. То есть таким, который сохраняет претензию на облик всевластного правителя страны, но не имеет ни решимости, ни реальной силы навязать себя обществу с помощью открытой диктатуры. Да и кандидатов в настоящие, а не чаплинские диктаторы в тогдашнем руководстве КПСС не находилось. В то время как истинные тираны требуют всенародной любви, Брежнев готов был удовлетвориться откровенной лестью, поцелуями и наградами.

Место принуждения и страха при таком режиме занимают конформизм и цинизм — на этой основе власть и заключает сделку со своими подданными: в обмен на отказ от террора она требует хотя бы видимости послушания. «Все при этом притворяются, — писал В. Гавел, — одни — что никого не преследуют, другие — что никого не боятся, и все вместе притворяются, что не притворяются».

Формы демонстрации и одновременно проверки лояльности граждан по отношению к режиму многообразны: начиная от вымученных пустопорожних партийных и профсоюзных собраний и митингов для выражения трудящимися чувств «одобрения» или «возмущения», «единых идеологических дней» (так назывались изобретенные Отделом пропаганды ЦК и почти в точности воспроизводившие орвелловские «минуты ненависти» обязательные коллективные читки газет или воспитательные беседы начальников с «трудовыми коллективами») и поголовного «социалистического соревнования», — до выборов с заранее известными результатами, которые «еще теснее сплачивали нерушимый блок коммунистов и беспартийных».

Разумеется, свои новые бархатные перчатки андроповский КГБ надевал на прежние стальные кулаки. Его

каратели продолжали крушить политическую оппозицию, загонять в психиатрические лечебницы тех, кого нельзя было заставить замолчать иначе, глумились над Сахаровым, удерживали в качестве политических заложников тысячи стремившихся выехать за рубеж еврейских, немецких, армянских и русских семей.

Особенно жестокие репрессии обрушивал комитет на «националистов» — активистов не только политических, но и культурных, религиозных и других автономистских движений в республиках СССР. Он, видимо, предчувствовал, что национализм порабощенных в свое время Россией и раздавленных сталинским террором народов, вырвавшись из подвалов КГБ, способен охватить пожаром внешне прочное здание советской империи. Именно национализм, как подтвердили последующие события, и как тотальная идеологическая система, и как мощный мобилизующий фактор бросил вызов коммунистическому тоталитаризму, будучи одновременно его антиподом и кровным собратом.

Вот почему в камерах КГБ, в политических психушках, в пермских, мордовских и прочих лагерях львиную долю заключенных составляли «националы»: крымские татары, украинские и литовские «буржуазные националисты», армянские «экстремисты» и, конечно же, «сионисты». На них, лицемерно прикрываясь лозунгом «пролетарского интернационализма», вымещали карательный пыл тосковавшие по временам сталинского беспредела гебистские «органы». На них отводили душу, давая волю великодержавному хамскому шовинизму и антисемитизму, не только сотни конвоиров, надзирателей и следователей, но и высокопоставленные стражи «социалистической законности и порядка», пытавшиеся облечь в статьи Уголовного кодекса свои инстинкты российских держиморд.

Видимо, сам испытывая смущение от гонений КГБ в отношении сионистского активиста Анатолия Щаранского, арестованного по обвинению в шпионаже, Андропов предлагал Суслову не выносить по его делу слишком жестокого приговора. На что тот назидательно заметил, что не намерен оказывать давления на «независимый» суд.

Главной пружиной, приводившей в движение необъятную машину слежки, надзора и репрессий, сменившую за свою семидесятилетнюю историю несколько названий — ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ — было осознание руководителями КГБ, что они, быть может, — последний рубеж защиты слабеющего режима. Формальное подчинение комитета Политбюро, как и в целом стратегический альянс «органов» с партией, имело смысл и ценность до тех пор, пока их цели совпадали. Иначе говоря, пока и сама партия, выполняя на свой лад ту же охранную роль, обслуживала потребности КГБ и защищаемого им мощного пласта советской номенклатуры — джиласовского «нового класса» — подлинного хозяина и нанимателя и партийных, и гебистских функционеров.

Вот почему, как только во времена горбачевской перестройки Старая площадь начала «подводить» своего партнера с Лубянки, а ее Генсек «изменил» общему делу, КГБ, сбросив «плащ», вышел на сцену. Именно его профессионалы, лучше партийных лидеров знавшие уязвимые точки режима, с разных углов подожгли легкое здание перестройки, использовав в качестве запалов тот самый национализм и тех «экстремистов», которых они то ли преследовали, то ли пестовали в предыдущие годы. Именно они устроили Горбачеву кровавые «проверки на дорогах» Сумгаита (спровоцировав там армянскую резню), Тбилиси, Вильнюса и Риги, с расчетом либо «повязать» крамольного лидера пролитой кровью, либо напомнить ему, в чьих руках находится истинная власть в стране. Недаром в апреле 1991 г., сменивший Чебрикова на посту председателя комитета Владимир Крючков откровенно дал понять посетившему Москву Ричарду Никсону, что ему приходится «слишком часто» спорить с Горбачевым и, по-видимому, одному из них придется уйти. Когда же выяснилось, что его предостережения не возымели действия, крючковский КГБ, оборвав символическую упряжь, в которой его якобы держала партия, интернировал в августе 1991 г. ее Генсека и Президента страны в отчаянной, хотя и запоздалой попытке восстановить пресловутый и уже «не существующий порядок».

ДВУГЛАВАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Был у брежневского Кремля, кроме внутреннего, еще и внешний рубеж обороны, и проходил он далеко за каменными стенами, которыми обнесли Кремль князья-основатели. В наследство от Сталина советским вождям досталась не только гигантская по территории держава, с предвоенными приобретениями, согласованными с Гитлером в 1939 г., но и обширная сфера монопольного влияния в Восточной Европе, границы которой были «утверждены» в Ялте.

Новые рубежи Московской империи, по мнению обитателей Кремля, представляли собой оплаченный 20-ти миллионами жизней советских людей законный военный трофей Советского Союза, чья принадлежность СССР не подлежала обсуждению. Судя по всему, такую позицию разделял и Запад, добросовестно соблюдавший границы, проведенные «большой тройкой» в 1945 г. Это подтверждала его полубезразличная реакция на драматические события на территории советской «зоны» в 1953 г. в Берлине, в 1956 г. — в Венгрии и Польше или на «дорожное происшествие» в 1968 г. в Чехословакии.

Набросанные Черчиллем на листке бумаги в октябре 1944 г. в Москве и подправленные синим сталинским карандашом в Ялте, послевоенные границы между Востоком и Западом требовали тем не менее юридического оформления, что и было сделано во время хельсинкского «саммита» в 1975 г. Правда, тогда же вместе с официально заверенными границами своего владычества кремлевские вожди получили от западных данайцев «третью корзину», наполненную отравленными дарами: гуманитарными проблемами, вызвавшими впоследствии роковое несварение у коммунистических режимов на Востоке Европы. Однако советские лидеры осознали это слишком поздно. В середине же 70-х годов они всерьез полагали, что уже выиграли «холодную войну» и имеют все основания подумывать о новом мировом переделе.

Как любой авторитарный строй, постсталинский режим в Москве стремился компенсировать усиливающуюся внутреннюю слабость за счет внешних успехов. Надежда получить благословение от бога или исто-

рии — извечный искус любых диктаторов, в том числе и тех, кто выполняет эту нелегкую миссию от имени пролетариата. Поскольку московские вожди-атеисты не могли уповать на божье «помазание», им оставалось добиваться мандата Истории.

Почти вся советская общественная наука служила доказательству «неодолимости» исторического процесса, его почти полной тождественности государственной политике СССР и неотвратимому движению мира к окончательному торжеству социализма. Правда, в отличие от первых революционных десятилетий и периода мрачных сталинских угроз «испепелить» мировой империализм в огне новой войны, со времен Хрущева реализация этой окончательной цели истории отдавалась в ее собственные руки. Даже хрущевское «мы вас закопаем», бестактно брошенное американским хозяевам в ходе визита в США, выражало скорее его убеждение в неотвратимости мирового торжества коммунистического идеала, чем желание самому взяться за лопату. Однако и «научно» обоснованное пророчество нуждается время от времени в подтверждающих фактах и доказательствах. Их добыванием и изготовлением занимался Международный отдел ЦК КПСС.

Уже давно внешний, «экспортный» имидж Советского государства представлял собой, почти как византийский герб России, «диалектически» раздвоенный облик. Две головы коммунистического орла — МИД и Международный отдел — смотрели в разные, если не в противоположные стороны, обращались к разным аудиториям и изъяснялись к тому же на разных языках. Если МИД олицетворял собой государственный фасад советской политики, консервативно-чопорный и надменный образ мировой сверхдержавы, сознающей свою мощь, но и не уклоняющейся от ответственности за поддержание мирового порядка, то Международный отдел возбужденным клекотом напоминал о революционном происхождении «государства рабочих и крестьян» и о сопровождавших его появление исторических сдвигах. Он изображал СССР как динамичный фактор постоянного «революционного» преобразования мира, иначе говоря его дестабилизации.

Разумеется, обе головы были насажены на одно пар-

тийное туловище и отвечали, каждая на свой лад, за то, чтобы по-разному артикулировать одну и ту же политику, имевшую просто-напросто разные адреса и принципы. То есть достаточно беспринципную. МИД общался с правительствами и официальными кругами, выступая от имени респектабельного государства-основателя ООН, постоянного члена Совета Безопасности и клуба ядерных держав. Партнерами и «клиентами» Международного отдела были оппозиционные парламентские и внепарламентские силы, национально-освободительные движения, легальные и нелегальные представители революционных, радикальных и даже экстремистских организаций.

Через Международный отдел, избегая государственные каналы и не давая поводов для дипломатических скандалов, они получали доступ к «политическому уровню» советского руководства, т. е. к инстанциям, принимающим стратегические решения о политической, финансовой, а в каких-то случаях и военной поддержке зарубежных «друзей». Несмотря на то, что эта «революционная» сторона деятельности КПСС преподносилась как сугубо политическая и неофициальная, очевидно, что Международный отдел, как и другие партийные структуры, играл роль еще одного государственного органа, обеспечивая через свои каналы защиту не столько коммунистических идеалов, сколько национальных интересов СССР так, как их понимали его тогдашние руководители.

Для воплощения двух разнонаправленных ликов советского внешнеполитического Януса трудно было подобрать более разных людей, чем Андрей Громыко, бессменный министр иностранных дел СССР с 1957 года, и Борис Пономарев, тоже бессменный с 1955 г. заведующий Международным отделом и впоследствии секретарь ЦК КПСС. Один — советский вельможа, едва ли не самый молодой посол «сталинского призыва», сопровождавший вождя в Тегеран, Ялту и Потсдам, соавтор Устава ООН, ставший за прошедшие годы одним из «грандов» послевоенной мировой политики и одновременно ее реликвией. Другой — невзрачный аппаратчик, шагнувший к своему посту из помощников Георгия Димитрова, который возглавлял

Международный отдел ЦК после того, как он перестал называться Коминтерном. Пономарев выделялся не речами и статьями, хотя и был произведен в академики, а небольшими чаплинскими усиками и неизменной, иногда соломенной шляпой, позволявшей находить его в ряду нотаблей советского режима на трибуне Мавзолея или при встречах и проводах Генсека на аэродроме.

Кроме руководства Международным отделом, на Пономарева было возложено не менее ответственное поручение — редактирование, т.е. периодическое переписывание в зависимости от политической конъюнктуры советской Библии — Истории КПСС. Учитывая, что его предшественником по этому каноническому труду был небезызвестный автор Краткого курса истории ВКП(б) Иосиф Сталин, следовало признать за Борисом Пономаревым право не только на академическое звание, но и на пожизненное место в Секретариате, а с 1972 г. и в Политбюро, правда, всего лишь в качестве перманентного кандидата в полные члены.

Отношения между этими двумя людьми были непростыми. Как партнеры в туре вальса, они попеременно менялись местами в советской иерархии. Когда Пономарева назначили секретарем ЦК, а Громыко был всего лишь «простым» министром, первенство принадлежало Международному отделу. 3-й подъезд ЦК, где он размещался, считался «политической инстанцией», тогда как небоскребу МИДа на Смоленской площади отводилась роль чуть ли не технического исполнителя политики, формулируемой на Старой площади.

На деле это означало, что Международный отдел был своего рода опекуном, «куратором» МИДа, просматривал подготавливаемые там бумаги и комментировал их в докладе высшему партийному руководству. Такое положение отражало первоначальный «партийный» этап борьбы Брежнева за укрепление своей власти. Только став бесспорным главой государства, он счел за благо опереться на политические, то есть «силовые» структуры, введя в 1973 г. в Политбюро и, тем самым выведя из-под контроля, премьер-министра Косыгина, министров обороны, иностранных дел и председателя КГБ.

Став полным членом Политбюро, Громыко сразу на «корпус» опередил Пономарева, что немедленно сказалось на взаимоотношениях их ведомств. Теперь уже Смоленская площадь свысока поглядывала на Старую, по крайней мере на то купеческое здание, когда-то принадлежавшее страховой компании, где помещался Международный отдел.

Разумеется, не одно только должностное положение объясняло политическое «вознесение» Громыко и получение им дворянского титула в партии. Его карьера в советской номенклатуре, прочертившая почти прямую восходящую линию, отражала помимо его профессиональных качеств дипломата, быть может, в еще большей степени талант царедворца, позволивший ему при нескольких, столь разных лидерах в Кремле не только сохранять, но и с каждой их сменой усиливать свои позиции.

Девизом, который Андрей Андреевич мог бы начертать на своем щите, если бы такой полагался члену Политбюро, наряду с бронированной машиной, охраной и дачей, было одно слово: лояльность. Лояльность по отношению к каждому новому хозяину Кремля. Именно это качество Громыко, видимо, до такой степени восхищало и поражало Хрущева, что он однажды, «подгуляв», в достаточно широком кругу похвастался своим преданным министрам: «Вот скажи я ему: Громыко, сядь задом на лед, так ведь и сядет. Верно, Громыко?» Министр не посмел оспорить столь сомнительный комплимент.

Точно так же, по фамилии предпочитал называть его и следующий начальник — Брежнев. Помню, во время одного зарубежного визита, оказавшись на приеме в толпе иностранцев и почувствовав себя беспомощным без подсказок протокола, Генсек громко, на весь зал, как это делают плохо слышащие люди, воззвал к своему министру: «Громыко, чего они от меня хотят, поговори с ними, ты ведь знаешь английский».

Громыко терпел и служил. Возможно, даже его дипломатическое высокомерие, неуступчивость, надменность, так неприятно поражавшие зарубежных коллег и придававшие и без того неповоротливой советской дипломатии одиозные имперские черты, были своеоб-

разной компенсацией для этого очередного, после Молотова, Мистера «Нет» за личное унижение, которое ему приходилось терпеть на его пути на вершину кремлевской лестницы от вождей, почти во всем ему уступавших. А, может быть, он и впрямь — последний из живых свидетелей и участников постройки здания послевоенного мира — считал себя ответственным за его стабильность и потому сопротивлялся любым неосторожным попыткам разморозить фундамент «холодной войны», на котором оно покоилось.

Во всяком случае, этим можно объяснить его непримиримость даже к символическим «подвижкам» в германском вопросе и изменению противоестественного статуса Западного Берлина, его ледяную реакцию на стремление японцев обсудить проблему Курильских островов («У Советского Союза лишней земли нет», — слышали они в ответ от шефа московской дипломатии) и глубокое недоверие к искренним, хотя, быть может, наивным попыткам президента Картера вывести из тупика схоластических подсчетов советско-американские переговоры по ядерному разоружению. В пространном выступлении по телевидению Громыко «отчитал» Джорджа Шульца, осмелившегося предложить во время визита в Москву симметричные шаги СССР и США по сокращению стратегического ядерного оружия. Кстати, значительно более скромные и выгодные для Советского Союза, чем те, на которые впоследствии пришлось согласиться Горбачеву.

Став при дряхлеющем Брежневе членом Политбюро, Громыко достиг предела возможного для непартийного политического деятеля в СССР. Вершина власти — пост Генерального секретаря — ему в любом случае была недоступна. Даже «подаренный» Громыко впоследствии Горбачевым на короткое время титул Председателя Президиума Верховного Совета — формального главы государства — оказался всего лишь деликатным способом удаления от дел: его стратегический пост был нужен Горбачеву для его ближайшего сподвижника Э. Шеварднадзе, с которым он готовился открыть новый, дипломатический фронт перестройки.

В последние же годы брежневского режима, особен-

но после смерти Суслова, при безнадежно больном Андропове и полуживом Черненко, Громыко бесспорно был самой авторитетной политической фигурой в Кремле. Никому не приходило в голову оспорить по какому бы то ни было вопросу позицию возглавляемого им МИДа. Бумаги, подписанные Громыко, автоматически становились решениями Политбюро и указами Верховного Совета. Сам же министр сверял свои политические часы в этот период только с военными.

И без того замкнутый кастовый мир МИДа полностью сосредоточился на угадывании мыслей Громыко, подлаживании под его настроение и привычки. Послы вместо истинной информации изобретали для Смоленской площади в своих телеграммах хвалебные отклики на советскую внешнюю политику, разбавляя их славословиями в адрес Брежнева, давая возможность министру лишний раз ублажить чувствительного к лести Генсека.

В результате в государстве политического монополизма сложилась еще одна внутренняя монопольная структура — внешнеполитическая. Копируя единственную партию, МИД резервировал за собой право проводить от имени СССР его политику на международной арене, оставаясь при этом вне контроля не только общественного мнения, прессы и парламента, но и руководства партии, номинально ответственного за государственную политику страны.

Следствием этой, как и любой другой монополии, была непомерная цена, которую общество платило за внешнюю политику, формулируемую без учета его истинных интересов и возможностей, строившуюся на основе личных пристрастий, амбиций и иллюзий шефа МИДа и узкой группы его приближенных. Все дальше расходясь с реальностью внешнего мира, такой курс приближал страну к внутреннему кризису и к внешнеполитической катастрофе. Ею стала афганская авантюра брежневского руководства.

В этой бесславной эпопее неожиданным образом сошлись оба ведомства — МИД и Международный отдел, чьи руководители в равной мере разделили за нее ответственность.

БРАТЬЯ-«ДРУЗЬЯ»

По сравнению с эпохой Коминтерна, функции и клиентура Международного отдела, разумеется, радикально изменились. Времена, когда Москва разрабатывала программы, отдавала директивы и осуществляла кадровые перестановки в «братских» партиях, ушли в прошлое. Сам Коминтерн, как в свое время II Интернационал, пал жертвой очередной мировой войны, а его бледная копия — Коминформ — войны «холодной». Перестав быть столицей III Интернационала, Москва, после «измены» Тито и «развода» с Мао, уже не могла всерьез рассчитывать на беспрекословное послушание «младших» братьев.

Искоренение с помощью танков в Праге восточного варианта «еврокоммунизма» лишь поощрило развитие западного, и после 1968 г. международное коммунистическое движение окончательно перестало существовать. Несмотря на то, что партии Востока и Запада еще некоторое время собирались на совещания и конференции, они скорее напоминали встречи давно чужих друг другу родственников на поминках по усопшему прародителю, чем собрания членов одной семьи.

Восточноевропейские партии после августа 1968 г. утратили последние шансы на обзаведение в своих странах иной опоры, чем репрессивный аппарат и размещенные на их территориях советские войска. Западные «товарищи», оставшись без партии-гида, поводыря, двинулись по разным дорогам. Те из них, кто надеялся устоять на собственных ногах и интегрироваться в национальную политику, отважно, хотя, как потом выяснилось, опрометчиво (во всех случаях, кроме итальянского), демонстративно порвали пуповину безусловной политической солидарности с Москвой, а вместе с ней и финансовой поддержки старшего брата. Другие, либо находясь в трудных условиях, нередко нелегального или полулегального существования, либо просто отвыкнув обходиться собственными ресурсами (многие так никогда и не жили самостоятельно), склонились перед нуждой и окончательно перешли на «социальное пособие» из Москвы, оплачивая его проявлениями показной лояльности к КПСС. При этом лидеры стремились, как правило, держать

основную массу партийных членов в неведении об истинных источниках поступлений в их казну. Эта деликатная сторона взаимоотношений с КПСС строжайше конспирировалась, превращая в секрет для собственных членов то, что наверняка было хорошо известно властям. Средства, полученные таким подпольным образом и неподконтрольные никаким партийным органам, нередко оседали в карманах коммунистических лидеров, шли на оплату их «отдыха и лечения» или вкладывались в бизнес через коммерческие структуры и фирмы, поддерживавшие привилегированные отношения с партнерами из социалистических стран.

Была и третья категория «друзей» КПСС, пытавшихся совместить политические добродетели первого пути, то есть демонстративного дистанцирования от Москвы, с материальными привилегиями, на которые могли претендовать ее лояльные союзники. КПСС принимала эту игру на публику, считая, что длинный поводок реже рвется.

Международный отдел дирижировал всей этой разношерстной политической семьей, имитируя и в этой сфере сохранение «руководящей и направляющей» роли КПСС. Разумеется, надежды на реальный контроль и тем более «направление» деятельности зарубежных партий или политических процессов в других странах были давно утрачены. Требовалось лишь поддерживать иллюзии, которыми предпочитали жить патриархи Политбюро, и убеждать советское общественное мнение в том, что силы «социального прогресса» во всем мире, постепенно одолевая реакцию, приближают всеобщее торжество идей социализма.

За культивирование мифа о существовании международного коммунистического Движения во главе с КПСС, Советскому государству приходилось выкладывать миллионы (старикам любовь обходится дорого). Хотя официально считалось, что на непосредственную помощь зарубежным партиям КПСС расходовала средства из собственного бюджета, на деле это было очередной фикцией: партийные казначеи «выкупали» у Госбанка СССР на эти цели миллионы долларов за рубли, поступавшие в виде членских взносов, по символическому курсу.

Ежегодно Международный отдел составлял заявку на оказание помощи братским партиям и национально-освободительным движениям и в «особой папке» направлял в Политбюро. Машинисткам, печатавшим документ, не были известны конкретные суммы выделяемых средств — их от руки проставляли руководители отдела. Операцию по передаче «помощи», как правило, осуществляли сотрудники КГБ, работавшие «под крышей» советских посольств.

Так было заведено еще во времена Коминтерна, когда его курьеры с деньгами, уполномоченные с директивами, а нередко и новые, назначенные Москвой руководители отправлялись в очередную «горячую точку» капиталистического мира для ускорения мировой революции. За прошедшие годы вместе с выдохшимся коммунистическим мифом выдохлась и превратилась в фарс продолжавшаяся игра в руководство зарубежными революционерами. Тем не менее однажды заведенные правила сохранялись.

Международный отдел по-прежнему вел картотеку с детальными данными о руководящих кадрах зарубежных партий, вплоть до территориальных секретарей, хотя давно не оказывал никакого влияния на их назначение. Сохранялась, правда, скорее как реликт прошлой эпохи, в 3-м подъезде и специальная «секретная» комната, куда запрещался вход даже сотрудникам отдела. Там находились фотолаборатория и оборудование для изготовления поддельных штампов виз и проездных отметок в паспортах, а также самих «запасных» паспортов для нелегалов, которым грозил арест на родине после посещения СССР.

Многие годы управлял всей этой «теневой» стороной деятельности отдела один из помощников Пономарева. Он же в специальной тетради вел учет финансовой помощи зарубежным «друзьям». Оказавшийся на этой должности в 1991 г., прагматичный молодой секретарь из Ленинградского обкома партии в период августовских событий в Москве быстро сообразил, какое богатство в виде заветной тетрадки досталось ему по наследству. Позаимствовав ее из сейфа, он начал приторговывать содержащимися в ней сведениями и цифрами, провоцируя один за другим скандалы в семьях

западных коммунистов, ибо в большинстве случаев не только основная масса партийных членов, но и близкое окружение не ведало о «двойной бухгалтерии» доходов, которую вели с Москвой их лидеры.

Валентин Фалин, сменив Анатолия Добрынина, бывшего посла в США, на посту заведующего Международным отделом в горбачевские времена, потребовал прекратить всю эту буффонаду «плаща и кинжала». В ответ на аргументы тех, кто ссылался на издавна заведенный порядок и то, что «американцы занимаются тем же самым», Фалин резонно замечал, что сомнительная с точки зрения закона деятельность такого рода во всех странах является привилегией спецслужб, а не политических партий. Он также настаивал на прекращении негласных субсидий «друзьям» за рубежом, однако «постепеновец» Горбачев, хотя и резко сократил объем финансовой помощи, уклонялся от принятия окончательного решения.

И все же, даже во времена Пономарева, деятельность Международного отдела не ограничивалась «подкормкой» зарубежных коммунистов. Лишившись после избрания Громыко в Политбюро возможности влиять на текущую внешнюю политику, отдел стремился утвердить себя как мыслительный центр по выработке альтернативного внешнеполитического курса на стратегическую перспективу. И нередко за помпезным фасадом 3-го подъезда и высокими дверьми кабинетов, напоминавших, как писал Твардовский, «вертикальные гробы», бушевали бурные политические страсти и сталкивались противоположные и даже взаимоисключающие взгляды.

Одной из тем жарких дискуссий был пресловутый мировой революционный процесс. Содержание этого понятия со времен ленинских упований на скорую всемирную революцию радикально переменилось, так же как и круг привилегированных партнеров Международного отдела. К традиционным «клиентам» добавились прежде всего национально-освободительные движения стран «третьего мира». По мере обретения ими независимости элиты, пришедшие к власти, начали в целях ее сохранения создавать бюрократические партии «по образу и подобию» КПСС и объявлять себя

убежденными «строителями социализма». «Мы истинные ученики Ленина», — объяснял в телефонном разговоре с А.Косыгиным лидер «социалистической революции» в Афганистане Нур Мухаммед Тараки, попутно напоминая о последних просьбах афганских революционеров: 12 вертолетов МИ-24 с пилотами для подавления «контрреволюции» и 300 тысяч тонн зерна, для спасения населения от голодной смерти.

В таком же тоне, хорошо изучив слабости «кремлевских мечтателей», говорили с Москвой и другие «новые социалисты» — лидеры Эфиопии и Анголы, Ливии и Дагомеи, Йемена и Мозамбика. Они знали, что Кремль скорее откажет в зерне собственному населению, чем своим новым союзникам, и умело манипулировали как антиамериканским и антикитайским комплексами советских вождей, так и их тщеславием.

Международный отдел в этой ситуации был главным распорядителем кредитов и стремился превратить «третий мир» в «третий фронт» борьбы за мировой социализм. Именно сюда по заявкам местных царьков, быстро переименовывавшихся в генсеков социалистических, трудовых, народных и даже пролетарских партий, хлынул валютный дождь из Москвы. Поскольку речь шла о внушительных экономических программах и военных заказах, у клиентов из «третьего мира» появились в Международном отделе свои люди, лоббировавшие в пользу тех или иных туземных лидеров, приглашавшие их с семьями на лечение в СССР и устраивавшие их детей на бесплатную учебу. Здесь же разрабатывались и новые теоретические концепции, позволявшие завернуть в марксистскую терминологию конъюнктурные рассуждения о социалистической «ориентации» и социалистическом «выборе» нового отряда мировых революционных сил.

ВЫЙТИ ИЗ ЯЛТЫ — ЧЕРЕЗ КАКУЮ ДВЕРЬ?

По мнению прагматичных руководителей Международного отдела, разработка «золотой жилы» тьермондизма имела двойную ценность. Во-первых, речь шла об обширном и неспокойном регионе, «мягком под-

брюшье» западного мира — поле, на котором без особого риска спровоцировав конфронтацию с США, можно было тем не менее серьезно ущемить их интересы и позиции. Во-вторых (и тут вступала в игру уже не мировая, а аппаратная стратегия), раздувая роль «третьего мира», 3-й подъезд мог взять реванш над Смоленской площадью. Подстраиваясь под своего министра, полагавшего, что мировая политика определяется исключительно отношениями двух сверхдержав, МИД считал контакты с развивающимися странами второстепенным направлением, унылой повинностью, не приносящей ни политических лавров, ни карьерных успехов. Да и работники там по тем же причинам оказывались не самые сильные. Напротив, специалисты Международного отдела, долгие годы опекавшие, еще на этапе вооруженной и подпольной борьбы, национально-освободительные движения и их лидеров, чувствовали себя здесь так же уверенно, как и их коллеги из КГБ.

Борис Пономарев не мог упустить шанса приподнять в глазах Политбюро свой участок работы, который открывала перед ним «третья колонна» мирового пролетариата. Он имел все основания рассчитывать на поощрение верховных жрецов Политбюро, включая Брежнева, Суслова и Устинова. Перед их взорами уже разворачивался мираж изменившегося политического ландшафта, где Советский Союз при поддержке его новых сторонников без риска мировой войны раздвигал бы рамки своей сферы влияния, оговоренные Сталиным в Ялте.

Эти эйфорические настроения поддерживались бравурными сводками с европейского фронта: американцы явно отступали и здесь. Под нажимом антиядерного движения президент Картер отказался от «нейтронной бомбы», а размах демонстраций протеста против размещения «першингов» и крылатых ракет позволял прогнозировать еще одно фиаско США и НАТО (успех этих движений Международный отдел также приписывал себе).

Перед Брежневым открывалась таким образом перспектива взять политический реванш за отступление Москвы во время кубинского кризиса 1962 г., когда

президент Кеннеди вынудил Хрущева убрать с Кубы советские ракеты. Фидель, не забывший своего унижения со стороны обеих сверхдержав, заключивших сделку о Кубе через его голову, теперь активно подталкивал Брежнева под руку. Почти двадцать лет спустя преемник Хрущева мог бы, в случае успеха этой политики, превзойдя своих предшественников, вырасти из заурядного партийного аппаратчика в фигуру мирового и исторического масштаба. Воистину, было отчего закружиться головам на партийном Олимпе — как азартные карточные игроки, его обитатели готовы были заложить собственную страну за иллюзорную надежду сорвать весь банк.

Этой авантюрной политике, подогреваемой столпившимися вокруг Брежнева подпевалами, пыталось противостоять «социал-демократическое» крыло Международного отдела: заместители Пономарева — Анатолий Черняев и Вадим Загладин, консультанты, а также вышедшие из той же среды директора исследовательских институтов: Арбатов, Примаков, Богомолов и Журкин. В отличие от руководителей, которых они обслуживали, эти партийные интеллектуалы, с немалым международным опытом, разумеется, не питали никаких иллюзий относительно шансов на соперничество переживавшего «терминальный кризис» режима с развитыми индустриальными демократиями Запада. Многие из них провели несколько лет в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», испытав в 60-е годы двойное воздействие: идей пражской весны и вируса «еврокоммунизма» — двух романтических попыток примирить коммунизм с демократией и с современностью.

Пражский журнал, родившийся в свое время как орган Коминформа, и в немалой степени сам Международный отдел, через опекаемые им общественные организации, служили в эти годы каналами внешней связи КПСС с некоммунистическими левыми и, прежде всего, с западными социал-демократами. Неортодоксальные «побочные связи» с теми, кого Иосиф Сталин клеймил как социал-предателей, объяснялись необходимостью распространения советского влияния за рубежом. С помощью социал-демократического «ка-

нала» — connection — международные эксперты, собравшиеся под сенью 3-го подъезда, надеялись открыть окно перемен в советской политической системе. Михаил Горбачев скажет о глубоко скрытых упованиях реформистов 60—70-х гг. на похоронах Вилли Брандта: «Восточная политика» западноевропейских социал-демократов способствовала углублению в нашем обществе размышлений о соотношениях свободы и развития, демократии и будущего страны. Она стимулировала критически мыслящие силы, понимавшие необходимость перемен и после XX съезда не раз пытавшиеся их осуществить».

В разные годы через группу консультантов, возглавлявшуюся А. Черняевым, и пражскую редакцию прошли такие разные люди, как Г. Шахназаров, А. Бовин, Е. Амбарцумов, Е.Яковлев, Н. Шишлин, В. Лукин и другие, составившие начальный интеллектуальный капитал первых лет перестройки, первый горбачевский «десант» в глубоком номенклатурном тылу под командованием Александра Яковлева (кстати, прошедшего войну в частях морских пехотинцев-десантников). Они пришли в партийный аппарат по разным причинам и нередко им решительно отторгались. Уверен, ибо знаю это по многолетнему общению с ними и собственному опыту работы консультантом, а потом заместителем заведующего Международным отделом, что большинство этих, безусловно одаренных людей, тяготилось конформизмом партийного болота и унизительной для любого интеллектуала службой не только аморальному, но и, что еще хуже, бесперспективному делу, соучастием во лжи и низостях обслуживаемой ими системы.

Самые порядочные из них мучились угрызениями совести, восхищались героическим поведением Андрея Сахарова и как могли помогали согражданам, попадавшим в шестерни режима или под прицел КГБ: добивались восстановления несправедливо уволенных людей, «пробивали» публикации неортодоксальных авторов, снятия запретов на выезд за рубеж.

Однако этого было недостаточно для того, чтобы сохранять самоуважение. Для оправдания перед собственной совестью у них было два аргумента. Первый: они, как правило, могли говорить и писать в служеб-

ных записках почти все, что думали и считали важным, обрамляя это, разумеется, стилистикой, щадящей идеологическое целомудрие вождей. Наиболее крамольные идеи иногда приходилось выдавать за цитаты из высказываний противников или советы посторонних друзей, однако условный характер этой игры был понятен как писавшим, так и читавшим бумаги.

Парадокс эпохи всеобщего притворства состоял в том, что честно и прямо высказываться на людях, публично, с риском нарушить приличия было невозможно. Зато в «своем кругу» это поощрялось. То, что безжалостно вымарывалось цензорами из открытой печати, в более откровенной форме циркулировало во внутренних документах ЦК. Воистину, надо было работать под прикрытием его стен, чтобы пользоваться определенной степенью интеллектуальной свободы, т.е. диссидентствовать, не подвергаясь за это гонениям (поскольку именно ЦК и был их главным организатором). Кроме того, ЦК был единственным в стране учреждением, которое пользовалось иммунитетом от опеки КГБ. Работников верховного партийного аппарата не разрешалось вербовать, вовлекать в негласные операции и прочие гебистские «игры», а также шантажировать и подслушивать (по крайней мере, без официальной санкции начальства), как прочих советских граждан.

Второй аргумент, неразрывно связанный с первым, придавал ему рациональный и моральный смысл. Писания, отправляемые «наверх», как считали их авторы, были едва ли не единственным способом реального воздействия на власть, позволявшим не только «минимизировать зло» и ограничивать произвол, но и разрыхлять спрессованный монолит системы, вносить в политический организм бактерии перемен. Чтобы бороться с системой, надо было проникнуть в ее сердцевину. Иначе говоря, это была возможность не только влиять на политику, но и самим «делать» ее, особенно, если под политикой понимать «искусство возможного».

Все это вполне могло бы выглядеть как малодушное самооправдание конформистов и остаться на деле таковым, подтвердив лишний раз, что одни благие наме-

рения никогда не приводят в рай, если бы... не Перестройка, то есть выход в «невозможное». Явившись вместе с Горбачевым как долгожданный качественный революционный сдвиг — итог долголетних количественных накоплений — она задним числом оправдала «ползучий» реформизм и даже оппортунизм аппаратных диссидентов. Вот почему с такой надеждой и благодарностью они, как дождавшиеся наконец Мессию верующие, ухватились за шанс Горбачева. Ибо для большинства он стал последним шансом в их уже практически прожитой жизни.

Однако ни в 60-е, ни в 70-е годы еще ничто не предвещало грядущего схода лавины с кремлевских ледников. («Никакие принципиальные политические перемены в советской системе невозможно представить себе в обозримом будущем», — писал Вацлав Гавел в 1978 г. В этом году Горбачев, переехав из Ставрополя в Москву, стал секретарем ЦК КПСС). Пока же терпеливо точившие систему изнутри, как жуки-древоточцы, и такие же невидимые снаружи негласные оппозиционеры, казалось, были обречены уйти безвестными, как удобрение в почву, подготовив ее для будущих реформаторов. Они и сами не верили, что при жизни увидят результаты своих усилий, ибо в долголетнем противостоянии с режимом раз за разом терпели поражения.

Они проиграли в 1968 г., не успев выстроить в Советском Союзе внутренний фронт поддержки «пражской весны». Они были смяты военными с их ракетами СС-20 и отброшены назад в строительстве единой Европы, несмотря на то, что после настойчивых усилий уломали-таки советское руководство подписать и (неслыханное дело!) опубликовать миллионами экземпляров «Заключительный акт Хельсинкского совещания». Им не удалось выполнить то, что они долгие годы неофициально обсуждали со своими западными социал-демократическими собратьями и что обещали в первую очередь самим себе: в ответ на «Ост-Политик» В. Брандта выработать свою «западную политику» — восточный вариант демократического и одновременно реального социализма. Наконец, именно они даже в большей степени, чем режим Тараки — Амина в Кабу-

ле, стали жертвой безрассудной и бесплодной авантюры в Афганистане — предсмертной судороги брежневского режима.

...Рано утром 27 декабря 1979 г., услышав по радио сообщение о вступлении в Кабул «по просьбе» афганского руководства «ограниченного контингента» советских войск, я приехал во 2-й подъезд ЦК и поднялся в кабинет к Валентину Фалину (бывшему советскому послу в ФРГ, личному другу В.Брандта и одному из соавторов «Московского договора» 1970 г. После возвращения из Бонна он стал первым заместителем заведующего Отделом международной информации ЦК, куда я перешел консультантом из Международного отдела). Сказать нам друг другу было нечего. Всего два дня назад мы вместе с Фалиным готовили для печати материал, опровергающий утверждения Пентагона о подозрительной концентрации советских транспортных самолетов на военно-воздушной базе Баграм неподалеку от Кабула. Опровержение делалось на основе клятвенных заверений одного из генералов Генштаба.

Теперь выяснилось, что еще за две недели до Рождества — 12 декабря на специальном закрытом заседании Политбюро в неполном составе (Алексей Косыгин не присутствовал из-за болезни, отсутствовали также «немосковские» члены) было принято решение о смещении тогдашнего афганского лидера Амина. (Убив Тараки, — «ученик Ленина» был задушен подушкой — Амин занял его место в сентябре 1979 г.) Его предполагалось заменить более гибким и лояльным по отношению к Советскому Союзу Бабраком Кармалем, лидером конкурирующей с аминовской фракции Народно-демократической партии Афганистана. Для того чтобы Кармаль «возглавил» выступление «здоровых сил» афганских революционеров, его доставили из Праги, где он находился в эмиграции под опекой Международного отдела ЦК, в Кабул, в обозе советского «ограниченного контингента». Благодаря важной роли его протеже в этой операции сам Пономарев смог наконец встать вровень с остальными ее авторами: полными членами Политбюро — Устиновым, Громыко и Андроповым.

Фалин прочитал мне выдержки из решения Полит-

бюро, принятого на основании «записки», подписанной этими фамилиями. Кроме рассуждений об угрозе завоеваниям апрельской революции и социализму в Афганистане из-за предательства агента империализма Амина, там была резанувшая мой слух фраза об «интернациональном долге» советских воинов перед братским афганским народом. «Опять интернациональный долг? — переспросил я Фалина. — Как в 1968 г. в Чехословакии? Но там была хотя бы территория Варшавского Договора, советская сфера влияния, установленная в Ялте. Поэтому Запад смирился. Но сейчас. Ни они, ни наши соотечественники этого не примут. Куда еще нас заведет этот интернациональный долг?» Фалин только вздохнул: «Бог знает».

Кармаль клялся, что группа «Альфа», штурмовавшая дворец Амина, и две другие советские части, общей численностью около 1000 человек, останутся в Кабуле не более двух недель для стабилизации обстановки в стране, готовой с энтузиазмом встретить избавление от тиранического режима Амина. Однако уже 2 января 1980 г. Политбюро раздвинуло рамки «ограниченного контингента» до 50 тысяч человек. В дальнейшем он удвоился, а его пребывание в Афганистане растянулось на долгих девять лет, до 1988 г., когда Горбачеву удалось наконец заставить армию уйти домой, заплатив за последнюю попытку Кремля начать мировую революцию 15 тысячами погибших и 35 тысячами раненых советских солдат и сотнями тысяч убитых и искалеченных афганцев.

Злосчастный афганский поход кремлевских старцев вышел далеко за рамки неудачной военной экспедиции. Его последствия часто сравнивают с шоком, полученным США во Вьетнаме. Я бы поставил афганскую авантюру в один ряд с унизительным поражением царской России в войне с Японией в начале века. Тогда результатом проигранной войны стала стремительная радикализация социального и политического положения в стране, приведшая в течение 12 лет к трем революциям, краху царского режима и крушению исторического Российского государства.

Нечто подобное произошло и после Афганистана. Рождественская «ограниченная война» Брежнева обер-

нулась воистину худшим из преступлений — ошибкой. Анемичный, едва державшийся на ногах режим, просто не мог ее себе позволить и... надорвался.

Войну, растянувшуюся на годы, не в состоянии было вести государство с истощенной экономикой и заржавевшим бюрократическим аппаратом. Ее оказалась неспособной выиграть Красная Армия, утратившая в Афганистане ореол непобедимой и грозной силы, завоеванный дорогой ценой во II мировой войне Афганская эпопея стала и унизительным фиаско советской внешней политики, в течение суток превратив СССР в парию мирового сообщества, изолировав его в ООН и отвратив от Москвы последних ее союзников в «третьем мире» и левых на Западе, продолжавших еще испытывать слабость к СССР. Явив миру омерзительный облик советского империализма, Политбюро отпустило американцам не только вьетнамский, но и все их прочие послевоенные грехи и предопределило избрание новым президентом США Рональда Рейгана — с его программой борьбы против «империи зла».

Что не менее важно, афганскую войну отторгло и советское общество. И не только из-за тысяч запаянных цинковых гробов — трагических посылок, все чаще поступавших по ночам в разные уголки державы. Это была откровенно завоевательная война, и ее не могло понять и принять население, верившее в своей массе, что живет в миролюбивом государстве. В свое время Кремлю удалось «продать» своим гражданам усмирительные операции Советской Армии в Венгрии и Чехословакии (на демонстрацию протеста против посылки советских танков в Прагу в 1968 г. вышло семь человек) как акции «законной самообороны» от империалистических посягательств на законное «жизненное пространство» социализма. В отличие от них высадка десанта в Кабуле воспринималась не как защита «своего», а как завоевание чужого.

Наконец, не был готов поддержать руководство в этом колониальном походе и советский политический класс (за вычетом изголодавшихся по новым чинам и боевым наградам генералов да кучки партийных функционеров, с жадностью ринувшихся, как маркитантки, через афганскую границу в обозе армии и осевших при

лидерах Кабула, в качестве советников по внедрению социалистического образа жизни). Яснее, чем подслеповатые и готовившиеся уходить на покой вожди, этот класс видел авантюрность афганской операции, осознавал серьезные внутренние проблемы, связанные с ней, и готовился при удобном случае дистанцироваться от «секретной войны», которую навязало своей стране умирающее партийное руководство.

СКРЫТАЯ ДУША НОМЕНКЛАТУРЫ

На надгробиях империй и политических режимов не часто встретишь точные даты их рождения и смерти (годовщины революций и государственных переворотов, дни принятия конституций, избрания и отречения национальных лидеров дают неточную картину). Даже авторитарные режимы, само существование которых, казалось бы, совпадает с земным сроком очередного вождя и связано с его именем, иногда умирают еще при живом лидере. Случается и наоборот: сменив фуражку, цвета национального флага и портреты на стенах чиновничьих кабинетов, прежний режим как ни в чем не бывало располагается в тех же креслах.

Еще труднее восстановить картину смерти целой политической системы — ведь ее агония растягивается на годы. Какой момент, например, считать началом «терминального кризиса» советской власти? Смерть Сталина в 1953 г.? XX съезд КПСС и прогремевшую на весь мир, но оставшуюся неизвестной в самом Союзе «секретную речь» Хрущева? Замену в 1964 г. режима личной власти на коллективное правление номенклатуры и ее бесцветного регента Брежнева? Или его смерть в ноябре 1982 г.?

Каждое из этих событий, по-видимому, следует рассматривать как очередной этап необратимого распада, умирания строя, пришедшего с народной революцией, втиснутого в прокрустово ложе тоталитарного режима и закончившего свой исторический путь полуразложившейся структурой, «свинцовым союзом автократии с бюрократией», выражаясь словами известного немецкого социолога Ральфа Дарендорфа. Такой союз, отмечает он, устойчив до тех пор, пока сочетает тяжелую

руку централизованного бюрократического управления с минимумом экономического прогресса или хотя бы с отсутствием спада. С этой точки зрения, концом эпохи стабильности или стагнации брежневского правления надо считать падение мировых цен на нефть: они держали на плаву советскую экономику, банкротство которой стало неминуемым после того, как были пущены на ветер миллиарды советских нефтедолларов.

Закономерный исторический финал в первой половине 80-х годов «эксперимента», начатого в 17-м, — безусловно, следствие всех политических, экономических и социальных процессов в советском обществе в послесталинскую эпоху. Лишив жестко централизованную административную систему, эффективно функционировавшую лишь в условиях принуждения (поэтому наивысшую рентабельность она демонстрировала в периоды войн), ее внутреннего стержня — террора, воплощенного в общесоюзном ГУЛАГе, Хрущев выбил первый камень из ее основания.

Сцементированная страхом пирамида власти опиралась на массу маргинализированных, всецело зависимых от нее и подавляемых ею граждан. Ее верхним этажом был мощный пласт управленческой номенклатуры — партийной, хозяйственной, военной, а идеальной вершиной — вождь. Чтобы надежно скрепить всю конструкцию, страх репрессий должен был пронизывать все ее уровни, включая и высший — номенклатурный.

Все этажи периодически «вычищались» и тем самым обновлялись, обеспечивая в такой извращенной форме достаточно высокую вертикальную мобильность всей политической системе. Этот своеобразный сталинский демократизм состоял в том, что при «строгом, но справедливом» вожде любой целеустремленный и честолюбивый член общества, независимо от его социального происхождения (правда, желательно не еврей), мог, получив добротное образование (всеобщий доступ к нему стал действительным завоеванием социализма), рассчитывать на успешное продвижение по социальной лестнице по мере того, как очередная чистка, кампания по обезвреживанию вредителей или разоблачению

«космополитов» освобождала места на ее верхних ступенях.

Освободив номенклатуру от страха перед репрессиями, Хрущев не тронул самой пирамиды власти, и она продолжала держаться, как и египетская, за счет совершенства формы и тяжести составляющих ее камней. Даже когда управленческий класс, уже не боявшийся вождя, решил сместить его и занять его место, пирамида все еще надежно придавливала к земле распластанное в ее основании общество.

Брежнев, став, подобно Михаилу Романову, «боярским царем», мог бы, как и тот, положить начало новой постсталинской династии, если бы не пренебрег внутренней системой кровообращения общества, которое было все-таки не каменным монументом, а живым организмом. При нем номенклатурная знать, оказавшаяся у власти и связанных с нею материальных благ, первым делом занялась самоувековечиванием, то есть закреплением монополии на властные и имущественные привилегии. Вертикальный кровоток в системе почти прекратился. Чтобы пробиться наверх в любой области, будь то политика или наука, подраставшая и сама уже стареющая смена должна была ждать смерти своих руководителей. Политическая жизнь слилась с биологическим циклом верховных вождей, а увеличение продолжительности их жизни благодаря достижениям медицины и вовсе ее почти остановило. Власть начала стремительно стареть и болеть присущими дряхлости недугами: склерозом, неподвижностью, слабоумием

Те, кто раньше мог надеяться на профессиональный успех, — а их число по мере роста образованности общества увеличивалось — теперь не находили применения своим способностям и энергии. Поскольку в со циалистической системе такие важные каналы саморе ализации, как предпринимательство и независимая политическая активность, были закрыты, им остава лась «теневая» экономика и нелегальная политика. диссидентство и эмиграция.

Схожая ситуация наблюдалась и в союзных республиках. Если прежде перспектива перевода в Москву служила мощным магнитом для местной номенклатуры

и подчинения ее центральной власти, то, когда московский вариант карьеры фактически отпал, национальные кадры немедленно переключились на нелегальное предпринимательство и создание мафиозных структур либо клановую борьбу за передел власти, формируя националистические течения. Так, при закупоренных политических протоках по всему организму начала разливаться отравляющая его желчь, а у однопартийного режима стала истончаться его политическая опора.

Кремлевские вожди в это время были заняты дальнейшим укреплением собственной власти, словно рассчитывали превратить ее в наследственную. Главной добродетелью и принципом своего правления Брежнев с самого начала сделал девиз: «Не раскачивать лодку» — и, следуя ему, старательно избегал любых конфликтных ситуаций, которые могли бы нарушить баланс интересов, установившийся в правящем слое. При появлении каких-либо трудностей или проблем он предпочитал, пряча голову, как страус, в песок, жертвовать ими, а стало быть, и их решениями. Стремление «никому не осложнять жизнь» приводило к тому, что всякий раз, когда надо было делать выбор — в политике, экономике, военной области или социальной сфере — руководство страны уклонялось от него, откладывая обременительные решения «на потом»: авось рассосется. Итогом становилось параллельное и часто разнонаправленное развитие государственной политики, когда каждый член Политбюро, ответственный за определенный ее участок, сколько хватало энергии (и государственных ресурсов), тянул на себя общее одеяло, разрывая его еще больше на лоскуты.

Если Сталин желал остаться в истории в образе сурового, но любимого «отца народов», то Брежнев вполне бы сошел за добренького «дедушку», с одной оговоркой: его забота и доброта распространялись главным образом на собственных внуков. Клановость уже начального периода его правления переросла в откровенную семейственность. Брежнев предпочитал назначать на важнейшие посты членов своего кишиневского или днепропетровского окружения, которым доверял или к кому попросту привык, например, Тихо-

нова, Черненко и Щелокова — всевластного министра внутренних дел.

На престижные государственные посты, никого не стесняясь, начали все увереннее рассаживаться дети, зятья, а вслед за ними и внуки Брежнева и охотно подражавших ему остальных членов советской элиты. Сын Брежнева — Юрий работал заместителем министра внешней торговли, его зять, Юрий Чурбанов, был произведен в генерал-лейтенанты и стал первым заместителем министра внутренних дел, муж внучки назначен заместителем председателя Комитета молодежных организаций СССР и т.д.

Их похождения, кутежи и беспардонное растранжиривание государственных средств давно перестали быть секретом или хотя бы охраняемой тайной Московского Двора. Уже не только кремлевские начальники и их семьи, но и семьи их детей лечились в элитных поликлиниках, пользовались закрепленными за ними государственными машинами, спецмагазинами и услугами сотрудников безмерно разросшейся «девятки» КГБ в качестве личных денщиков. Это возмущало не только обывателей (прессе, разумеется, было строжайше запрещено касаться этой темы), но и немалую часть партийного аппарата — кто-то искренне считал это позором для партии, кто-то завидовал вседозволенности крупных вельмож, большая же часть усматривала в семейственном подборе кадров на руководящие посты дальнейшее сужение карьерных возможностей для «честных» аппаратчиков. Правда, и им с барского стола власти кое-что перепадало.

Тема номенклатурных привилегий неотвязно, как тень, преследовала советский режим на всех этапах его существования, вплоть до его крушения, когда партийный диссидент Борис Ельцин, отлученный от статуса члена Политбюро, провозгласил борьбу против всех привилегий знаменем своей «реконкисты». Большевики, в известном смысле, сами вызвали огонь на себя, объявив своей основной программой обеспечение всеобщего равенства. Однако в борьбе за него профессиональные неподкупные революционеры быстро трансформировались в профессиональных бюрократов. Только в одном они были прилежными последователя-

ми Карла Маркса: как и ему, им «ничто человеческое было не чуждо».

Уравнительная по целям идеология, превратившись в иерархическую государственную структуру, угодила в ловушку, которую ей предрекал Бертран Рассел: «Коммунистическая вера подвергнется разрушению изнутри. Она налагает слишком жесткую узду на человеческую природу. Она требует отказа от элементарных благ, заключающихся в чувстве безопасности и некотором досуге. Все это она относит на будущее, которое, подобно радуге, удаляется от усталого путника по мере того, как он к ней приближается. Рано или поздно... любовь к достатку и удовольствиям поглотит энергию уже заметно подуставших коммунистов. Коррупция их подточит. Гаремы покажутся более привлекательными, чем забота о заводском производстве» («Новое время» № 316, 93, с.59). Пророчества Рассела подтвердились. К предсказанному им разложению государственных коммунистов, как любой армии, расположившейся после боя на бессрочный привал, добавились и специфические черты, характерные для России и сталинского режима.

С давних времен в награду за услуги российскому трону царь жаловал приближенных бояр, дворян или отличившихся воинов угодьями: землями и имениями с сотнями холопских душ в придачу. Как любой подарок, они становились фактической собственностью того, кому были пожалованы. Отменившие частную собственность, советские вожди пошли дальше царей: подарки давали в «кредит».

Отчужденная у общества собственность стала основой государственного могущества, а право распоряжаться ею, присвоенное большевистскими правителями, — источником их власти над остальным населением. Правда, отменив собственность, они тем самым и себя лишали возможности ее официально присвоить. Интенсивный процесс номенклатурной приватизации государственной собственности, развернувшийся ныне в России, позволяет бывшим функционерам, не связанным прежними ограничениями, рассовать по собственным карманам и юридически «узаконить» владение тем, чем раньше они только уп-

равляли от имени пролетарского государства. Делегированием этого права, его «дарением» и конфискацией, как рычагом управления государством, установленный Сталиным режим научился пользоваться так же эффективно, как государственным террором.

Только в социалистическом, то есть до нитки обирающем своих граждан, государстве, могла возникнуть продуманная и разветвленная система поощрения, карьерного продвижения и наказания с помощью «карточек» на дифференцированное пользование материальными благами, то есть привилегиями.

Преимущество такой системы перед царским дарением «шубы с плеча» состояло в том, что советскую «шубу» в любой момент можно было забрать обратно: она оставалась формально общей, государственной и многократно передаривалась партийным царем очередному понравившемуся или угодившему ему холопу.

Сами же «одаренные» благами должны были постоянно их отрабатывать, демонстрировать свою лояльность и преданность «дарителю», вечно страшась того, что полученное вчера заберут обратно завтра. Даже самые высокопоставленные чины пролетарского государства в глубине души действительно оставались пролетариями, ибо не имели, да и не значили ничего, невзирая на свои способности и заслуги, вне официально подтвержденной очередным руководителем суммы привилегий и благ, отпускаемых им из коллективной кормушки. (Когда Даниэль Миттеран предложила Раисе Горбачевой, похвалившей за завтраком в Лаче поданный на стол мед, подарить несколько ульев для ее загородного дома, та, всплеснув руками, с укором сказала Горбачеву: «Сколько раз я тебя просила, Михаил Сергеевич, отказаться от государственных дач и взять хоть крошечный участок земли! Ведь у нас до сих пор ничего своего нет — улья негде поставить!» Разумеется, и подушки, взятые Раисой с собой в дорогу, были государственными.) За долгую и преданную службу можно было заработать не состояние и даже не гарантию обеспеченной старости, а лишь расположение начальства, которое и становилось постоянно обновляемым пропуском в элитный клуб «избранных».

Сами же «блага» номенклатуры, с точки зрения обывателя среднего достатка, живущего в современном обществе потребления, выглядели жалко и убого. «Специальные» буфеты, снабжаемые со «специальных» баз, «закрытые» столовые и несколько продовольственных магазинов для элиты не имели в своем ассортименте и тысячной доли того, что продается в любом провинциальном западном супермаркете. (Разумеется, добрую половину «дефицита» по законам плановой экономики разворовывала и перепродавала обслуга.)

Обнесенные высокими заборами и охраняемые дачные поселки скрывали от взоров прохожих и местных жителей домики, построенные еще в сталинскую эпоху без особого комфорта и удобств, где нередко несколько семей теснилось в одном деревянном здании с общей кухней. Заповедная «6-я секция» ГУМа — главного универмага Москвы, с фасадом, выходящим на Красную площадь, прямо напротив Мавзолея — обслуживающая высоких номенклатурных чинов, а также зарубежных «гостей» ЦК КПСС, выглядела как привокзальная лавка в среднем европейском городе.

Разумеется, «небожители» Системы — члены Политбюро, министры и генералы, а также провинциальные «князья» в республиках и областях имели отдельные особняки с прислугой, охраной, кинозалом, биллиардной и даже сауной — таким со сталинских времен было представление властей о вершинах казенного комфорта, к которым устремлялись упования всей пирамиды партийного и государственного чиновничества. Но и это достаточно скромное существование советской знати, далеко не дотягивавшее до материального благополучия западного среднего класса, могло считаться роскошью лишь в обществе тотальной нищеты. В «привилегию» оно превращалось в условиях лишения большинства самого необходимого.

Ограбление разоренной, отсталой страны оказывалось, таким образом, не просто результатом плачевного функционирования централизованной экономики, но и по-своему необходимой предпосылкой существования привилегированной касты ее руководителей, которая подобным способом подчиняла себе остальное общество. Формулой «развитого социализма» можно

было, перефразировав Ленина, возлагавшего надежды на электрификацию, считать «советскую власть плюс пауперизацию всей страны». Одно закономерно вытекало из другого, и в этом бесконечном вальсе причины то и дело менялись со следствиями.

Поскольку ассортимент привилегий, обеспечиваемых отсталой социалистической экономикой, был достаточно скудным, требовались чудеса бюрократического воображения, чтобы распределить их в точном соответствии с номенклатурной пирамидой. Именно материальные привилегии, а не различия в заработной плате, как это принято во всем мире, были одновременно и способом поощрения работников, и критерием их социального статуса. В результате рождались истинные административные шедевры — инструкции, детально регламентирующие, кому, начиная с какой должности и с какой частотой положено пользоваться льготными путевками в санаторий (с женой или без, в разгар курортной поры или в «мертвый сезон»), в каком поселке иметь дачу и какой площадью, вызывать ли из гаража анонимную машину или иметь персонального водителя и даже... как часто заказывать в закрытом ателье шубу жене и покупать себе по льготной цене шапку из ондатры. (Из-за обилия таких шапок на головах жителей «улучшенных» домов ЦК, район города, где они были построены, соседние жители прозвали «ондатровым заповедником».)

О том, насколько глубоко философия «привилегий» въелась в менталитет российских политиков, выросших из сталинской «шинели», свидетельствует негодование Ельцина во время одного из последних заседаний Госсовета в ноябре 1991 г.

Обвинив Горбачева в «неуважении» суверенитета России, «борец с привилегиями» Ельцин в качестве примера сослался на то, что его сотрудников ущемляют при распределении путевок в санатории и прикреплении к поликлинике 4-го Управления Минздрава. Неудивительно, что едва ли не первым решением аппарата Президента России после сентябрьского указа Ельцина о роспуске парламента было «взятие под охрану» жилых домов, дачных поселков и домов отдыха, принадлежавших Верховному Совету.

По мере того как истощались ресурсы государственных закромов и разрасталась бюрократия, — в полном соответствии с бессмертной формулой Василия Ключевского, сказанной им о России XVII века: «государство пухло, а народ хирел» — обеспечивать прежний уровень привилегий правящего класса системе было уже не по силам. Да и разрыв в уровне жизни чиновничества и других слоев населения, который раньше автоматически превращал любого функционера в беззаветно преданного Системе крепостного, теперь был не столь разителен. Последнюю попытку спасти идеально задуманную Сталиным стратегию «кнута и пряника», как способа управления классом управляющих в Советском Союзе, предпринял Константин Черненко. Еще в бытность заведующим Общим отделом ЦК, то есть Главным Распределяющим всей номенклатурной системы, он решил вдохнуть новую жизнь в политику «привилегий», сформулировав замечательный по глубине мысли девиз: «Контингент сократить, «блага» увеличить!»

В этой великолепной формуле он, сам того не подозревая, точнее, чем профессиональные идеологи системы, выразил ее глубинную сущность. Пришедшая к власти в России партия профессиональных революционеров очень быстро трансформировалась в класс политических рантье, вознамерившихся бесконтрольно и бесконечно стричь купоны со своего господствующего положения в обществе. Питаясь его жизненными соками, разбухая и разрастаясь, партийная номенклатура, как любой паразит, истощала и убивала кормивший ее организм. Когда же выяснилось, что проценты на ее счет перестали поступать из-за того, что основной капитал растрачен, правящая верхушка не придумала ничего лучшего, как ограничить доступ к кормушке, чтобы самой опустошить ее до конца.

Увы! Гениальный замысел Черненко не удался. Попробовав влезть в сталинские сапоги, он не учел разницы в размерах ноги (и в эпохах). Сталинского кнута в руке ни у него, ни у его патрона Брежнева уже не было, а «пряников сладких», как пел в эти годы Булат Окуджава, «никак не хватило б на всех».

СМЕРТЬ ДИНОЗАВРА

Развязка приближалась. Первый удар похоронного колокола по пережившему свое время режиму прозвучал в январе 1982 г., когда умер «серый кардинал» Политбюро Михаил Суслов. Его смерть, неожиданная, несмотря на возраст (почти за 30 лет пребывания в Политбюро он превратился в нетленный символ ЦК), выглядела как роковое предзнаменование. Она не только напомнила о том, что «бессмертные» члены этого ареопага тоже смертны, но и угрожающим подземным толчком отозвалась в сокровенных недрах всей однопартийной системы.

Суслов не просто олицетворял ее незыблемость и стабильность, но и ревностно следил за тем, чтобы партийный корабль не дал течи и не кренился ни вправо, ни влево. Именно Суслов сопротивлялся любым попыткам аппаратных «пуристов» и руководства КГБ даже коснуться вопроса о коррупции и моральном разложении в партийных верхах. Понимая, что под дальний прицел таких обвинений берется не кто иной, как сам Генсек и его окружение, Суслов считал, что даже простое упоминание об этих фактах (широко известных к тому времени уже всей стране), означающее их признание, нанесет непоправимый урон безупречному облику Партии. В этом проявлялась и плохо скрываемая неприязнь Суслова к Андропову, вызванная неизбежным соперничеством этих двух, столь разных по характеру и, безусловно, наиболее влиятельных фигур, в брежневском окружении. В свое время, в 1967 г., именно Суслов настоял на перемещении Андропова из Секретариата ЦК, где тот отвечал за работу с социалистическими странами, на менее «политический» пост председателя КГБ.

После «ухода» Суслова главный рубеж защиты Брежнева пал, и Андропов пустил изголодавшихся по реальному делу гебистских следователей по следу, ведущему в высшие эшелоны власти. КГБ в это время, как отмечал академик Сахаров, в силу своего привилегированного положения среди государственных органов, менее других зараженный коррупцией, мог действительно эффективно заняться очищением режима от

«накипи» позднебрежневской эпохи, которое намеревался предпринять Андропов.

Почти разрушенный возрастом и болезнями (по свидетельству Евгения Чазова, Брежнев страдал быстро прогрессировавшим атеросклерозом), Генсек в последние месяцы полностью устранился от дел и практически не появлялся на Старой площади. В те редкие дни, когда, почувствовав себя бодрее, он все же приезжал в ЦК, к нему выстраивалась очередь «вхожих» номенклатурных чинов, спешивших решить, прежде всего, свои личные проблемы. Брежнев до такой степени с этим свыкся, что, когда один из директоров научных институтов явился к нему с разговором о деле и ничего не попросил для себя лично, тот несказанно удивился и, пропустив мимо ушей существо беседы, сам поинтересовался, не надо ли помочь с квартирой самому ученому или его детям.

В стенах ЦК в это время развернулось негласное соперничество между двумя кандидатами на престолонаследие: Юрием Андроповым, занявшим после смерти Суслова его пост (и кабинет), и Константином Черненко, совершившим в последние годы стремительное восхождение от заведующего Общим отделом (то есть фактического личного секретаря Брежнева) до члена Политбюро. В этом негласном поединке у каждого из дуэлянтов было свое оружие.

Андропов, как главный идеолог, занимал стратегически более выгодную позицию полуофициального «дофина» и мог опереться на все еще подвластный ему аппарат всемогущего и всезнающего КГБ. Черненко пытался извлечь максимальную выгоду из своего положения «первого лица» при еще живом «самом первом» руководителе, обладая монопольным правом доступа к нему и распоряжения его подписью. Он мог рассчитывать на поддержку таких же, как он, геронтократов, состарившихся вместе с Брежневым, обросших кланами родственников и протеже и, разумеется, опасавшихся нескромных расспросов андроповских следователей. Все они цеплялись за власть, как за жизнь, ибо то и другое для них уже давно стало синонимами.

Защищая свои властные позиции от любой, внутренней или внешней угрозы, эти немощные старики

становились агрессивными и опасными, ибо в их руках оставался свирепый репрессивный аппарат и вторая по мощи в мире армия. И хотя в начале 80-х гг. на фоне очевидного фиаско афганской экспедиции у них уже не хватало «пороха» и духа с помощью танков распять крамольную Польшу с ее Солидарностью, как Чехословакию в 1968 г., они вполне серьезно обсуждали на Политбюро необходимость усиления «военного давления» на поляков и сошлись на том, чтобы для начала «подвигать войска» вдоль советско-польской границы. Образцом брежневской «дипломатии» того времени останется его фраза, сказанная предшественнику Ярузельского — Станиславу Кане 5 декабря 1980 г.: «Мы не войдем, но если возникнут сложности, то войдем».

Аппаратная прислуга, окружавшая еще не освободившийся престол, торопилась в этот период остановленного государственного времени утрясти свои личные проблемы, прикидывая, к кому из будущих руководителей целесообразнее примкнуть. Общий отдел ЦК, демонстрируя безграничность фантазии, разразился инструкцией, предписывавшей в служебных бумагах выделять фамилию Генсека, предваряя ее полным словом «товарищ» — а не буквой *т.* или сокращенно *тов.*, — именем и отчеством, а также полным партийным и государственным титулом (к счастью, по написанию он был все-таки короче царского). По мысли авторов инструкции, это дополнительно возвышало вождя над остальными смертными.

Отдел пропаганды ответил на это составлением обязательного для всей прессы перечня должностных лиц и строгого порядка очередности их упоминания при отчетах об официальных мероприятиях и в особенности встречах и проводах Генсека. Инспектора Комитета партийного контроля — партийной «полиции нравов»,— в чьи функции входило «очищение» партии от функционеров и рядовых членов, запятнавших ее аморальным поведением или преступлением (ни один из членов КПСС не мог быть привлечен к суду до того, как Партия не освободится от него, чтобы среди уголовников не было ни одного коммуниста), доставали из сейфов досье, заведенные практически на каждого партийного

чиновника, пытаясь угадать, от кого из них захочет первым делом избавиться новый начальник.

Гигантская армия номенклатурной обслуги: хозяйственники, строители, директора типографий, столовых, домов отдыха и загородных поселков, водители машин — все пытались, как могли, коммерциализировать находившуюся в их распоряжении «партийную» собственность, приторговывая дефицитными товарами, продуктами, путевками. Даже цековская охрана не могла устоять в этой обстановке всеобщего «растащительства». В святая святых партии — строго охраняемых зданиях ЦК — у сотрудников и у начальства стали пропадать вещи из кабинетов, деньги из сейфов и даже ондатровые шапки из общих гардеробов. Увлекшись этим промыслом, кто-то из охранников неосмотрительно «позаимствовал» шапку самого Черненко, что вызвало вселенский скандал.

Прикованная, помимо собственной воли, к постели безнадежно больного режима, страна покорно ждала его биологической кончины. Разумеется, общество ощущало нелепость и унизительность этой противоестественной ситуации и реагировало на нее целой серией невеселых шуток о престарелых вождях. Одна из них звучала так — на открытии очередного съезда КПСС: «Просьба к собравшимся делегатам — встать! Политбюро внести!» Другая: «ТАСС сообщает о заседании ЦК после смерти Суслова, на котором решено: поддержать почин товарища Суслова».

Сардонические анекдоты лишь частично отражали фантасмагорию реальности. Однако «почин» Суслова был поддержан: 7 ноября 1982 г. Леонид Ильич Брежнев в последний раз поднялся на трибуну Мавзолея на Красной площади и с этого могильника прощально помахал рукой участникам праздничной демонстрации. 10 ноября он скончался и был похоронен под звуки артиллерийского салюта за Мавзолеем у Кремлевской стены.

Вместе с ним ушла в прошлое целая эпоха послевоенной советской истории. Собравшиеся в тот день на площади участники траурной церемонии еще не знали, что наблюдают начало ее конца. Ибо ни последующие попытки Андропова вернуть социализм к его «чистым

ленинским истокам», ни черненковские потуги реанимировать брежневизм без Брежнева, ни даже предпринятая Горбачевым попытка спасти не только советское, но и социалистическое государство путем пересадки ему демократического сердца, — не смогли вернуть к жизни систему, скончавшуюся значительно раньше Генсека, правившего Советским Союзом немногим меньше, чем Иосиф Сталин, и больше, чем Ленин и Хрущев вместе взятые...

Пробыв на высшем партийном и государственном посту всего 14 месяцев (из которых он лишь половину времени мог эффективно работать из-за тяжелой болезни — с февраля 1983 г. он был на диализе), Юрий Владимирович Андропов оставил после себя легенду. Миф об убежденном, хотя и осторожном реформаторе, который, проживи он дольше, смог бы не только стать Спасителем Советского государства, но и успешно завершить строительство административного социализма в «одной отдельно взятой стране».

Избрание Андропова Генсеком КПСС после смерти Брежнева в ноябре 1982 г. и его первые шаги в этом качестве вызвали прилив ожиданий и надежд в разных слоях советского общества и даже за рубежом. Прежде всего из-за разительного контраста Андропова со своим предшественником: если отвлечься от возраста — «молодому» Генеральному секретарю было уже 68 лет, — во всем остальном он выглядел человеком другого поколения. Более образованным, даже интеллигентным (как выяснилось, любил театр и поэзию, даже сам писал стихи). Безусловно, на порядок более умным и проницательным (это подтверждала его эффективная, с точки зрения режима, работа на посту председателя КГБ) и, наконец, конечно же, лично более порядочным и скромным, чем «поздний» Брежнев.

Разные люди связывали с воцарением Андропова в ЦК и в Кремле разные и противоречивые надежды (и это, быть может, еще одно подтверждение его незаурядных качеств истинно государственного деятеля). Одни, «тосковавшие по хозяину», ждали быстрого наведения порядка в виде, прежде всего, жестких мер органов безопасности против разгулявшейся преступности и мафии, искоренения коррупции и даже усиления

расшатавшейся трудовой дисциплины. Андропов дал основания считать это своей приоритетной целью после того, как «посадил» нескольких проворовавшихся директоров овощных баз и продовольственных магазинов и приказал патрулировать улицы Москвы и других крупных городов с целью выявления праздношатающихся граждан, посещавших в рабочее время бани, рестораны и кинотеатры.

Другие — в большинстве своем рядовые советские «работяги», приветствовали появление в продаже с приходом новой власти дешевой водки, тут же получившей название «андроповка». Третьи — к их числу относилась верноподданная интеллигенция и либерально или реформистски настроенная часть управленческого и партийного аппарата — связывали с Андроповым надежды на... демократические реформы. Во-первых, в условиях разложения и дискредитации партии именно КГБ и его бывший шеф выглядели относительно «здоровой» государственной структурой. Во-вторых, поскольку Андропов еще со времен своего возвращения из Будапешта оставил о себе в ЦК репутацию нестандартно мыслящего, современного и не чуждого либеральным идеям политика. Это, кстати, подтверждали и неортодоксальные советники — от Георгия Арбатова до Александра Бовина, которых он охотно выслушивал, будучи хозяином КГБ. В-третьих, потому, что все равно надеяться больше было не на кого.

Запад тоже связывал с Андроповым определенные, хотя и туманные ожидания, поскольку тот считался более современным, чем его предшественник, политическим деятелем, подозреваемым даже в прозападных симпатиях: говорили, что он любил виски, джаз и живопись Пикассо, знал английский язык и обожал романы Жаклин Сюзанн. Более серьезным штрихом, позволявшим считать, что Андропова заботила не только консолидация «разболтавшейся» системы, но и ее модернизация, были его тесные, даже дружеские отношения с Яношем Кадаром. Эти два убежденных коммуниста, прослужив в разное время во главе ведомств безопасности своих стран и пройдя вместе через кошмар 1956 г. в Будапеште — Андропов был в это время

послом в Венгрии и, как утверждают, «открыл» Кадара как спасительную альтернативу, и М. Ракоши и И. Надю — похоже, пришли к одному выводу: чтобы выжить в меняющемся мире, социализм должен меняться вместе с ним. Не исключено, что для обоих осторожный реформизм был не только рациональным итогом пережитого, но и формой покаяния, способом замолить прошлые грехи и успокоить совесть — верный признак ее наличия.

Так или иначе, предположения о намерениях и истинных побудительных мотивах Андропова так и остались неподтвержденными гипотезами, а обещанные перемены нереализованными. Вынужденный проводить все больше времени в больнице, Генсек просто не мог, даже если бы и хотел, твердой рукой повернуть в сторону реформ курс гигантского корабля, набравшего к тому же огромную инерцию. Да и хотел ли он этого в действительности? Ответ на этот вопрос он унес с собой, что дает возможность каждому изобретать «своего» Андропова. (Нечто похожее происходит в последние годы с посмертным имиджем одного из его наиболее зловещих предшественников в органах безопасности — Лаврентием Берия. Среди российских историков и публицистов появились люди, считающие, что именно Берия сразу после смерти Сталина — кое-кто утверждает, что он же ее и ускорил — намеревался более радикально, чем Хрущев, искоренять последствия «культа личности», начать либерализацию общественной жизни, поощрять независимость республик и даже имел проект объединения Германии путем «продажи» ГДР Западу. Поспешный расстрел Берии в 1953 г. трактуется, таким образом, как устранение Хрущевым опасного конкурента.)

Оставим гипотезы и нереализованные благие намерения исторических персонажей мемуаристам и биографам и вернемся из сослагательного наклонения в подлинную историю. Да, в разговорах с близкими ему сподвижниками в Кремле Андропов называл своей целью: «Позволить советскому обществу то, что позволяет себе Запад: большую свободу мнений, информированности, разнообразия в обществе и искусстве».

Однако он относил все это на пятнадцать-двадцать

лет в будущее, «когда удастся поднять жизненный уровень населения» (подобно Хрущеву, рассчитывавшему примерно в те же сроки «в основном» построить коммунизм в Советском Союзе). В этих рассуждениях проявлялась поразительная для реалистичного политика, каким себя явно считал Андропов, наивная и искренняя и потому опасная, вера в то, что такую страну, как СССР, можно «накормить», модернизировать, развить исключительно путем «правильной» политики партийного руководства. Такая позиция (и психология) делала Андропова воистину последним и, к счастью, не реализовавшим себя полностью политиком большевистского происхождения. Впрочем, умный и достаточно осведомленный о состоянии своего здоровья, Андропов вряд ли рассчитывал сам дожить до воплощения своей долгосрочной программы.

В отсутствие иных критериев Андропова-политика, а не прожектера и не мифологическую фигуру, остается судить по конкретным результатам его трудов. Он действительно начал было решительную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. (Правда, сегодня на фоне «рыночной» политики в бывшем Советском Союзе его борьба выглядит сражением Дон Кихота с ветряными мельницами.) Андропов заводил разговор и об экономической реформе и даже поручил тогдашнему председателю Госплана СССР Николаю Байбакову продумать параметры такого «эксперимента». Из стадии «продумывания» эксперимент так и не вышел. Возможно, он предполагал осовременить советскую внешнюю политику и несколько ограничить роль военно-промышленного комплекса.

Не успев предпринять ничего конкретного, Андропов ушел, приняв на себя ответственность за сбитый южнокорейский «Боинг» с 269 пассажирами и членами экипажа. После постыдных попыток скрыть правду, советскому руководству и самому Андропову пришлось тогда публично признать факты. Однако, упоминая о происшедшей трагедии, хмурый Генсек КПСС не счел нужным ни высказать сожаления о случившемся, ни выразить соболезнований семьям погибших. Он был жесток и нетерпим и в отношении «диссидентов» из собственного окружения и, не колеблясь, изгнал из ЦК

Валентина Фалина только за то, что тот осмелился предложить ему признать правду о Катыни и покаяться за это сталинское преступление перед поляками и остальным миром.

Андропов умер в феврале 1984 г., оставив своим преемником в Кремле человека, способного, как он сам знал, лишь перечеркнуть все его начинания — Константина Черненко. И все же с учетом короткого времени, отпущенного ему судьбой, Андропов, быть может, успел сделать самое важное: привел на руководящие посты в Москву и Политбюро — единственное место, откуда могли начаться реальные перемены в монолитной системе, — когорту новых людей, обеспечив их доступ к рычагам управления государством. Это были разные по опыту и взглядам люди: Николай Рыжков, Егор Лигачев и Александр Яковлев, но, по крайней мере в то время, они были едины в своем неприятии брежневизма и попыток его эксгумации, предпринятых Черненко. Активно поддерживая Горбачева, переместившегося в Политбюро с сельскохозяйственного участка на политический — идеологию, они оказались более эффективным противовесом прошлой эпохе, чем мог и хотел быть сам Андропов.

Уже перед смертью он сделал последнюю попытку продвинуть в свои «наследники» Горбачева, поручив ему вести заседания Секретариата и Политбюро и даже назвав его имя в политическом завещании, продиктованном в больнице своему помощнику Аркадию Вольскому. Но проследить за выполнением этого, быть может, своего важнейшего поручения уже не смог...

Февральский день 1984 г., когда на Красной площади хоронили Андропова, выдался морозным и солнечным. Уже привычная церемония: артиллерийский лафет, траурная процессия от Дома Союзов, почетный воинский эскорт, в очередной раз приехавший на похороны Джордж Буш и митинг у Мавзолея (каждый райком Москвы поставлял по разнарядке определенное количество «скорбящих» трудящихся). На трибуне — редеющее с каждой такой церемонией Политбюро во главе с председателем похоронной комиссии (по традиции назначение на этот пост предвещало последующее избрание в Генсеки) Константином Черненко — дав-

ним брежневским адъютантом-портфеленосцем. По мере того как в последние годы слова и мысли вождя становились все менее вразумительными, Черненко все чаще брал на себя роль их толкователя и, по-видимому, нередко заменял своими. Суфлер, вылезший из будки, чтобы доиграть роль за упавшего на сцене актера.

Прерывающимся от астмы голосом, не зная, что микрофоны на площади включены и «работают все радиостанции Советского Союза», Черненко, вглядевшись в лицо лежащего в гробу перед Мавзолеем Андропова, по-старчески сокрушенно вздохнул на всю страну: «Как изменился, просто не узнать». Потом, повернувшись к стоящему рядом премьер-министру Н.Тихонову, озабоченно спросил: «Шапки снимать будем? Морозно!» Тот отсоветовал.

Старики, стоявшие на Мавзолее — Тихонову было 78, Устинову — 75, Громыко — 74, Черненко — 72 — хоронили самого молодого из своего поколения: Андропову не исполнилось и 70. Понимал ли задыхавшийся от астмы аппаратчик, примеряя на себя тяжелую мономахову шапку, что она не только в считанные месяцы вгонит в землю его самого, но и то, что оставалось от когда-то всевластного партийного самодержавия? Или, как не стесняясь трактовали его сокровенные мысли поднявшиеся с ним на высший этаж власти его же помощники, «просто хотел лечь у Кремлевской стены»?

Почти, как похоронный ритуал, повторилась и вся процедура политической и аппаратной интронизации новой власти. Новые помощники разобрали себе освободившиеся кабинеты, персональные машины и комфортабельные дачи. Общий, то есть бумажный отдел, из недр которого поднялся на Мавзолей новый Генсек, окончательно превратился в Имперскую канцелярию. Реальная и драматическая жизнь необъятной страны, и без того причудливо преломлявшаяся в догматических построениях бюрократизированного марксизма, свелась к игре теней на канцелярской бумаге, набору слов на «деревянном языке» номенклатуры.

Как и положено, очередной национальный лидер должен был вслед за своими предшественниками сказать для начала новое слово в теории. Если учесть, что

даже такому «корифею науки», как Иосиф Сталин, с трудом удавалось выйти за рамки «вопросов ленинизма» и комментариев к текстам основоположников марксизма, легко понять затруднения пятого по счету партийного вождя, точнее говоря, его помощников «по теоретическим вопросам». Главный из них — философ Вадим Печенев, обслуживавший до этого ЦК комсомола, ухитрился тем не менее открыть для своего шефа новый бином «реального социализма», который гласил: «Чем больше дистанция между социалистическим идеалом и повседневной социалистической реальностью, тем сильнее потенциал общественных преобразований».

Сформулированный почти как закон Ома, этот постулат должен был объяснить населению неизбежность (и даже необходимость) зазора между обещаниями социалистического строя и неприглядной действительностью, на которую он их обрекал. Иначе-де при осуществленной коммунистической мечте развитие мира попросту прекратилось бы. Сформулированное классиками марксизма и записанное Хрущевым в предыдущей Программе КПСС, обещание земного рая с помощью этого нехитрого софизма объявлялось таким образом ничтожным и никогда не существовавшим.

Еще один вклад, внесенный Черненко в копилку общественной мысли, — брошюра о марксистском взгляде на права человека, написанная другим его помощником Виктором Прибытковым. Тема эта, видимо, увлекла автора, когда он едва ли не впервые в жизни на седьмом десятке выехал из СССР в Финляндию, сопровождая Брежнева на Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Многих тогда удивило решение Генсека взять Черненко с собой. Как утверждали злые языки, видимо, Брежнев полагал, что именно заведующий его Общим отделом должен будет дать ему «на подпись» Хельсинкский Заключительный акт.

Представление Черненко о правах человека точнее отражала не подписанная его именем брошюра (она была безупречна), а его особая, почти сладострастная склонность к подслушиванию разговоров соратников по ЦК с помощью размещенной в его кабинете аппара-

туры. Об этом болезненном пристрастии им, кстати, было известно, поэтому, как вспоминает Егор Лигачев, даже, находясь в кабинете у «второго человека» в партии — Горбачева, они предпочитали общаться молча, обмениваясь записками.

Если слабость верховного руководителя к подслушиванию, доносам, собиранию слухов и сплетен, которыми его услужливо снабжали аппаратные царедворцы, можно отнести к больным свойствам натуры заурядного человека, по прихоти судьбы оказавшегося на не подобающем ему посту, то задуманный им целый комплекс жестких полицейских мер: от повальной слежки до массовых репрессий, подготовка которых была поручена тогдашнему министру внутренних дел Виталию Федорчуку, отражал уже аппетиты не личности, а Системы. В сущности, Черненко и был идеальным, то есть почти безымянным, анонимным ее воплощением, следовавшим ее логике и выполнявшим заложенную в него программу.

Ее реализация оборвалась вместе с его жизнью. Срок его пребывания в Кремле оказался еще короче, чем отведенный Андропову — казалось, гигантская воронка истории начала все стремительнее затягивать остатки гибнущего режима. Уже с весны Черненко, чьи болезни усугублялись свалившейся на него ответственностью, перестал регулярно появляться в своем кабинете. Запланированное на май совещание руководителей соцстран с его участием было отложено на неопределенный срок. Даже с коллегами по Политбюро Генсек начал переписываться из больницы «политическими записками», которые для него (и за него) готовил тяготившийся вынужденным бездельем аппарат. Одно из таких обращений «к товарищам по Политбюро» дружно составляли в Отделе международной информации помощники тех членов Политбюро, которым оно через несколько дней, побывав в больничной палате Черненко, поступило как его доверительное «личное письмо».

Среди немногих политических поступков, отметивших его недолгое правление, — неожиданное восстановление в партии Вячеслава Молотова, чье имя долгие годы стояло рядом с именем Сталина как его

вернейшего сподвижника, который предпочел скорее сохранить расположение вождя, чем арестованную им собственную жену. Исключенный из партии Хрущевым в 1962 г. как нераскаявшийся член «антипартийной группы», Молотов после устранения Хрущева регулярно, с железной настойчивостью, апеллировал к каждому партийному съезду, добиваясь пересмотра совершенной по отношению к нему «несправедливости».

Съезды традиционно поручали разбирательство Комитету партийного контроля, в результате чего раз в четыре года, подобно ожившему призраку давно ушедшей эпохи, хорошо сохранившийся Вячеслав Михайлович бодро вылезал из автомобиля у 3-го подъезда (где, кроме Международного отдела, размещался и КПК) и в сопровождении почтительного референта поднимался к председателю комитета для выполнения ритуальной церемонии. В ответ на вопрос, пересмотрел ли он свои «ошибочные» взгляды, вечный большевик твердо заявлял: «Нет!», после чего с ним прощались еще на четыре года в полной уверенности, что за это время скорее сменится весь состав КПК, чем уклонится от очередной явки в партийный суд бывший сталинский премьер.

В конце концов в этой затянувшейся игре в большевистскую принципиальность первой сдалась партия в лице Черненко, признав тем самым правоту Молотова и напоследок еще раз отмежевавшись от Хрущева. Видимо, для Черненко этот символический жест был важен еще и как восстановление, казалось, уже навсегда сожженного моста в сталинское прошлое. Молотов же умер коммунистом вскоре после своего восстановления в партии, словно дождавшись того, что история извинится перед ним и перед вождем, которому он так беззаветно служил.

Выполнив эту свою миссию, готовился покинуть историческую сцену и недавно избранный Генсек. Цеплявшиеся за его фалды коллеги разыгрывали вокруг умирающего старика омерзительный спектакль, то оглашая от его имени приветственные послания космонавтам и напутственные слова к избирателям (в стране проходила очередная избирательная кампания, и поэтому шоу должно было продолжаться), то сооружая

для самого Черненко в его палате декорацию избирательного участка, где он, верный традиции вождей, должен был опустить перед фотографами в урну бюллетень, голосуя за «нерушимый блок».

Один фотограф, повинуясь профессиональному инстинкту, сделал несанкционированный снимок: обессилевшего от участия в этом пародийном представлении Черненко в коляске увозят по больничному коридору. Заметивший это Замятин в ярости потребовал конфисковать пленку.

Растянувшееся умирание Черненко все больше превращалось в агонию режима и тем самым укрепляло шансы Горбачева на правопреемство. К этому времени, хотя он и считался номинально «вторым» секретарем, смиренно пройдя, правда в ускоренном темпе, все стадии аппаратного послушничества, судьба партийного трона отнюдь не была предрешена. Слишком многое ставилось на карту, если бы вместо новой попытки продлить устоявшийся порядок вещей с помощью очередной постбрежневской фигуры, вроде Гришина, Соломенцева или Романова, партийные патриархи шагнули в неизвестность, возложив корону Генсека на «пришельца» из молодого поколения. Наиболее здравые из них, например Громыко, понимали, что на кону — не просто продление еще на несколько месяцев их комфортной жизни в кремлевском Эдеме, а выживание самой Системы, ибо следующей на очереди после смерти Черненко могла быть и ее кончина.

Находясь в нескольких метрах от финиша своего многолетнего партийного марафона, Горбачев не торопил события, но и не терял времени, готовясь к взятию Кремля. В декабре 1984 г. он в качестве «наследного принца» провел в Кремлевском Дворце съездов важное совещание по идеологии, впервые придав новую интонацию этой, казалось бы, безнадежно высушенной Сусловым теме. В декабре же, взяв в компанию Александра Яковлева и, неслыханное дело, собственную жену, совершил паломничество в Лондон к Маргарет Тэтчер, где успешно, по мнению этой более чем разборчивой невесты, прошел «смотрины» на роль потенциального жениха для Запада. Остальное зависело уже не от него, а от природы.

7 марта 1985 г. Черненко, проведя чуть больше года во главе партии и Советского государства и заслужив место у Кремлевской стены, скончался. Пришедшие в его кабинет за документами сотрудники ЦК были поражены, увидев замусоренное помещение, заплеванный пол (видимо, хозяин едва мог дышать из-за астмы) и вместо деловых бумаг рассованные по ящикам письменного стола денежные банкноты. Ими же наполовину был заполнен и личный секретный сейф Генсека. Трудно понять, зачем такое количество денег понадобилось тяжело больному человеку, к тому же бесконтрольно правившему самой большой мировой державой. Если они имели для него значение, кто знает, может быть, за какую-то цену его можно было уговорить добровольно отказаться от должности, которая пришлась ему не по росту, продлив тем самым его собственную жизнь и сэкономив бессмысленно потерянный год для его страны...

На нем прервалась выродившаяся к тому времени династия, основатель которой — Владимир Ленин ужаснулся бы, узнав, кто, присвоив себе звание продолжателей его дела, лежит рядом с ним в тени Мавзолея. Совершив стремительный, с точки зрения вечности, но, увы, не человеческой жизни, оборот, история России поглотила в своих недрах еще одну жестокую эпоху, а мировая эволюция получила новое подтверждение того, что не только империи, но и социальные системы, подобно динозаврам, вымирают, если не успевают адаптироваться к переменам, происходящим на земном шаре.

Часть II

ВОСХОД И ЗАКАТ ПЕРЕСТРОЙКИ

* * *

Рассвет над Кремлем не раз вдохновлял художников на эпические полотна. Великий иллюстратор российской истории Василий Суриков драматически живописал «Утро стрелецкой казни» у Лобного места на Красной площади. Официальный Веласкес советского режима Дмитрий Налбандян изобразил «зарю» другого рода: на его картине «Утро Родины», — Иосиф Сталин, подобно солнцу, озаряет взглядом утренний Кремль и уходящую вдаль панораму Москвы и всей Советской державы.

Никто из художников не запечатлел для истории первое политическое выступление с трибуны Мавзолея Михаила Горбачева в марте 1985 г., а между тем это был подлинный политический рассвет. Траурная речь Горбачева, состоявшая из канонических формул, привычно разносилась по Красной площади, и вдруг диссонансом прозвучал крамольный пассаж: «Мы исходим из того, что право жить в условиях мира и свободы — это главное право человека!» Это явно выходило за рамки политической дерзости, объяснимой недостатком опыта и неприлично молодым возрастом оратора: за неделю до смерти Черненко Горбачеву исполнилось «всего» 54 года.

«Помощники так написали, вот он и прочитал», — успокаивали друг друга, расходясь с площади по подъездам ЦК, обладатели ондатровых шапок. «Понимает ли он сам смысл тех, по-весеннему прозвучавших слов, которые произнес?» — спрашивали себя другие, те, кто привык связывать надежду с очередными похоронами и уже столько раз бывал обманут. На этот раз разочарование было бы еще более горьким — ведь утешаться,

как раньше, ожиданием скорого ухода нового лидера не приходилось.

Как выяснилось, Горбачев хорошо понимал смысл того, что произнес. Его выступление в марте стало первым актом погребальной церемонии тоталитарной системы, растянувшейся на годы. За шесть с половиной лет последний Генсек КПСС похоронил-таки этого мертвеца, который увлек за собой в небытие и Советское государство. Под его обломками оказалась погребена и собственная политическая карьера Горбачева.

Когда стало ясно, что за осуществление своего амбициозного замысла ему придется заплатить максимальную для государственного деятеля цену — уйти в отставку, Горбачев сделал это не колеблясь. Он ушел добровольно, хотя и не по своей воле, склонившись перед новой реальностью, которую сам произвел на свет, и подчинившись правилам игры, которые сам предложил. В результате он оказался первым национальным лидером России, сложившим корону и власть перед законом, и уже поэтому человеком, открывшим новую демократическую главу в российской истории...

От Весны 1985 г. до Зимы Перестройки в декабре 1991 г. Горбачев поставил и сыграл на кремлевской сцене не одну политическую драму. Они требовали иногда полной смены декораций и костюмов, замены состава актеров и перевоплощений от него самого. Большую часть этого времени я был привилегированным зрителем, наблюдая этот захватывающий политический спектакль вблизи: из первых рядов партера или из-за кулис. В финале, когда актеров, поддерживающих главного героя, стало не хватать, мне тоже довелось выйти на сцену. Вот несколько эпизодов этого кремлевского сериала, свидетелем или участником которых я оказался.

ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ

Телефонный звонок в моем кабинете вызывал меня на 4-й этаж. Там, в непосредственной близости к 5-му, горбачевскому этажу, находился кабинет Александра Яковлева. Возвращенный из Канады в Москву Андроповым на должность директора Института мировой

экономики и международных отношений, он был приглашен Горбачевым в ЦК почти сразу после избрания того Генсеком. Возглавив Отдел пропаганды, Яковлев спустя некоторое время был произведен в члены Политбюро ответственным за идеологию. Несмотря на маршальское, по партийным меркам, звание, он стал всего лишь половиной Суслова при Горбачеве, поскольку существовал еще один ответственный за идеологию — его политический соперник и антипод Егор Лигачев.

Бывший секретарь Томского обкома Лигачев до этого, как и Яковлев, работал в Отделе пропаганды. В декабре 1983 г., за два месяца до смерти Андропов сделал его секретарем ЦК по организационным вопросам, поручив ему самый сокровенный аппаратный участок: кадры. Энергичный, бескомпромиссный, резкий до грубости, убежденный одновременно и во всесилии партии, и в собственном всезнании, Лигачев по замыслу Андропова, видимо, должен был стать в его руках «новой метлой», которой тот собирался выметать партийные конюшни.

По своему характеру, склонности к упрощению любых, самых сложных проблем и истовой вере в то, что волевыми решениями и эффективной организационной работой партия способна «горы своротить» (даже в буквальном смысле), Лигачев был бы идеальным инструментом и, может быть, продолжателем «андроповизма», если бы судьба предоставила ему исторический шанс. Однако руки умиравшего Генсека разжались, и «метла» начала гулять сама по себе.

Иезуитски, поделив должность идеологического жреца между двумя противоположно заряженными личностями, — доктором Джекилом и мистером Хайдом — Горбачев, по-видимому, рассчитывал оставаться арбитром между ними и, попеременно нажимая на черную и белую клавиши этого созданного им специфического музыкального инструмента, извлекать из него весьма своеобразную мелодию...

Войдя в кабинет вместе с Николаем Шишлиным, заместителем заведующего Отделом международной информации и давним приятелем Яковлева, мы уселись в креслах перед его столом и получили положен-

ный посетителям члена Политбюро чай с печеньем из спецбуфета. Многозначительно посмотрев на потолок, что означало напоминание: «враг подслушивает», Яковлев начал разговор неожиданно: «Все, что здесь будет сказано, должно остаться между нами тремя». Хотя это и не предвещало чего-то хорошего, обещало тем не менее интересное продолжение. «Михаил Сергеевич просит порассуждать, как поступить с Сахаровым. Дальше так этого оставлять нельзя».

Имелась в виду продолжавшаяся ссылка Сахарова и его жены Елены Боннэр в Горький, куда их принудительно отправили в январе 1980 г., практически синхронно, с посылкой в Кабул «ограниченного контингента» советских войск. В Горьком, «закрытом», то есть запрещенном для въезда иностранцев городе, чета Сахаровых была изолирована от мировой прессы и лишена связи с другими правозащитниками.

«Проблема Сахарова» — выдающегося ученого, создавшего вместе с Курчатовым в 50-е годы советскую водородную бомбу, трижды удостоенного за научные заслуги звания Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской и Государственной (бывшей Сталинской) премий и ставшего непримиримым критиком коммунистического режима — вместе с афганской войной досталась Горбачеву в наследство от брежневской эпохи.(Правда, первым недовольство «незрелыми» политическими высказываниями Сахарова в бурной форме еще в 60-е годы выражал Никита Хрущев.)

К концу 1986 г., когда происходил наш разговор с Яковлевым, было очевидно, что двигать дальше демократизацию страны и рассчитывать на восстановление нормальных отношений с внешним миром, имея «за спиной» сосланного Сахарова, невозможно. Горбачеву и Яковлеву это было ясно, видимо, и раньше. Вопрос для них обоих упирался в одно: когда и как приступить к решению этой проблемы, учитывая реальное соотношение сил в Политбюро, с тем, чтобы не нарушить хрупкий и, совершенно очевидно, временный баланс двух частей этого политического кентавра. (Стоит напомнить, что главные заявления о необходимости глубоких реформ в партии и в обществе Горбачеву еще только предстояло сделать, а возможно, и сформулиро-

вать для самого себя в начале следующего 1987 г.) На деликатность темы указывал и конспиративный тон Яковлева, когда он ставил перед нами задачу: снабдить Генсека необходимыми аргументами для обсуждения в Политбюро вопроса об отмене ссылки Сахарова, представив несколько вариантов решения.

Ни меня, ни Шишлина не надо было убеждать в «перезрелости» этого вопроса. Вернуть Сахарову свободу означало не только облегчить бремя забот нового руководства, но и снять грех, лежавший на каждом из нас до тех пор, пока Система продолжала над ним глумиться. Мы решили подкрепить позицию Горбачева ссылками на самого Сахарова — ведь именно в его политических работах были впервые сформулированы постулаты нового мышления, дорогу к которому мучительно искал и сам Горбачев: о единстве мира, о преступности ядерной войны, о связи демократии и прогресса и даже о конвергенции социалистической и капиталистической систем.

Сложнее всего оказалось раздобыть его работы: не запрашивать же их в КГБ и тем самым настораживать Чебрикова, в чьих руках продолжал находиться горьковский узник. (Мы ведь и сами, включая Горбачева, продолжали в то время с точки зрения этого всемогущего ведомства оставаться условно свободными людьми.) К диссидентам, наверняка имевшим работы опального академика, дорога из 2-го подъезда ЦК по понятным причинам нам тоже была заказана. К счастью, среди украдкой привезенных из-за рубежа книг у меня была изданная на Западе брошюра Сахарова «О мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Она была надежно спрятана в шкафу во втором ряду книг. Еще несколько зарубежных изданий Сахарова тайком от своих соглядатаев из КГБ переправил из «специального хранилища» агентства печати «Новости» его председатель Фалин.

В подготовленном нами документе излагалась история возникновения «проблемы Сахарова», приводились наиболее важные цитаты из его работ и особенно подчеркивался политический и моральный ущерб для страны из-за его продолжавшейся ссылки. Предназначая эту бумагу членам Политбюро, мы неизбежно

должны были подстраиваться под завещанную большевикам еще основателем партии Лениным этику «целесообразности». Ее постулат: «морально все, что служит интересам рабочего класса». Поэтому мы не могли назвать вещи своими именами: беззаконие — беззаконием и низость — низостью, а вынуждены были доказывать «нецелесообразность» дальнейшего содержания Сахарова в Горьком (это предполагало, что, если бы плюсы совершаемого произвола превышали минусы, то он был бы оправдан). Таковы были правила «танцев с волками» из КГБ, которые затеял с нашим участием Горбачев. Он рассчитывал, применив эту нехитрую словесную анестезию, не подвергая себя опасности, повыдергать один за другим зубы из их зловещей пасти

Наш доклад заканчивался перечислением трех вариантов дальнейшего развития событий. Первый — продолжение ссылки — отклонялся как «наименее выгодный» для советского руководства. Два других — возвращение академика в Москву или предоставление ему возможности выезда за рубеж — рассматривались как примерно разнозначные и сулящие политические дивиденды. Мы постарались отмести главные аргументы, которые выдвигал КГБ, удерживая Сахарова под надзором: обладая секретом производства ядерного оружия, он может поставить свои знания на службу противникам СССР. В свое время Андропов в «неформальном» окружении объяснял, почему КГБ против высылки Сахарова за границу: «У него редкие мозги, таких, может быть, и нет на Западе». В государстве, где даже мозги человека составляли общественную собственность, естественно было запретить их обладателю вывозить за рубеж столь ценное «народное достояние».

Убеждая Политбюро в том, что прежние секреты Сахарова давно устарели, мы делали упор на то, что, откликаясь на гуманную позицию новой власти, академик не опустится до службы противнику. Документ заканчивался патетическим призывом к политическому руководству устроить встречу с Сахаровым «на высоком уровне» после его освобождения. Изготовленную в одном экземпляре бумагу (копию я, естественно, спрятал в свой сейф) отнесли сначала на 4-й этаж к Яковлеву затем после правки — на 5-й. Дальнейшее известно

Обсудив вопрос на Политбюро, Горбачев сам позвонил Сахарову в Горький, ради чего в квартире академика специально для этого разговора установили телефон (снятый немедленно после состоявшейся беседы). В декабре 1986 г. Москва (главным образом, иностранные журналисты и верные друзья) встречала Андрея Сахарова и Елену Боннэр на Казанском вокзале.

Среди встречавших был и мой товарищ, журналист из «Литературной газеты» Юрий Рост, бывавший у Сахарова еще до его высылки в Горький и сделавший несколько, думаю, лучших его фотопортретов. Рост естественно жаждал взять у него интервью. Вопросы, которые он намеревался задать Сахарову, мы вместе обсуждали у него дома. Мы ломали голову над тем, как «пробить» публикацию интервью в газете. В отсутствие Яковлева мне пришлось отправить его текст со специальной сопроводительной запиской Лигачеву с просьбой дать согласие на публикацию. Несколько дней спустя Рост узнал от своего главного редактора Александра Чаковского, что из-за возражений Лигачева и Чебрикова интервью с Сахаровым опубликовано не будет. Мы с Ростом сохранили у себя по экземпляру этой первой беседы журналистов с раскованным советским Прометеем.

Сам я никогда не искал встречи с Андреем Дмитриевичем. После возвращения в Москву, он всегда был окружен плотным кольцом людей. К тому же слишком долго мне бы пришлось объяснять ему, чем я занимаюсь в ЦК, зачем вообще там работаю, и не уверен, что он принял бы мои объяснения. Я удовлетворился тем, что, войдя 16 февраля 1987 г. в Большой Кремлевский Дворец, вместе с участниками грандиозного международного Форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» и неожиданно увидев поднимавшегося впереди меня по лестнице Сахарова (вопрос о его приглашении накануне дебатировался в Политбюро), несколько минут подстраиваясь под его шаг, шел рядом в толпе участников конгресса. «Сахаров, Сахаров! »— возбужденно шептали вокруг, увидев невиданное и еще совсем недавно — немыслимое. «Да, — хотелось мне сказать, — Сахаров в Кремле. Где же еще ему быть и кому еще здесь место?». Пока мы шли рядом по крем-

левской лестнице, я был счастлив тем, что он дожил до этого дня.

Еще одна наша заочная встреча произошла на страницах специального выпуска журнала «Новое время», посвященного правам человека, где были опубликованы его и моя статьи на эту тему. В это время, по настоянию Александра Яковлева, я возглавил новый сектор, созданный в отделе, которым он руководил: прав человека. Будучи международником, я поначалу, как мог, сопротивлялся такому назначению, не вполне понимая, какое вообще отношение ЦК имеет к этому, в общем-то, юридическому вопросу. Настойчивость члена Политбюро сломила мое сопротивление, а мои новые функции скоро прояснились. Новый подход к правам человека был важной частью горбачевско-яковлевского проекта Перестройки. Как и другие революционные аспекты их концепции, его могли обсуждать и начать реализовывать только самые доверенные лица из узкого круга окружения нового Генсека.

Марксизм и тем более большевизм не склонны были фокусировать внимание на личности — ничтожно малой, с точки зрения истории, величине, предпочитая иметь дело с «массами» и «классами». «Единица — вздор, единица — ноль», — объяснял Маяковский. Революция 1917 года освобождала «массы трудящихся», а не миллионы конкретных людей. Соответственно она же и карала и брала в заложники не преступников и правонарушителей, а анонимные «эксплуататорские классы», враждебные элементы, кулаков «как класс» и последовавших за ними «вредителей», «врагов народа», «безродных космополитов», «вейсманистов-морганистов» и, наконец, диссидентов. Конкретная же личность, растворяясь в «массах», имела лишь декларативные права, записанные в Конституции, — их реализация так же надежно гарантировалась социалистическим государством, как бумажные рубли — золотым запасом Госбанка СССР, о чем гордо сообщала имевшаяся на них надпись.

Даже упоминание о проблеме прав человека в социалистическом обществе рассматривалось как бестактность или свидетельство извращенного сознания. Поэтому немалую часть тех, кто этого не понимал,

государство отправляло на «излечение» в психиатрические больницы. Помощник Горбачева Анатолий Черняев, проработавший, как и я, немало лет в Международном отделе ЦК, рассказывал мне, что однажды предложил своему тогдашнему шефу Борису Пономареву создать новую общественную организацию — Комитет по защите прав человека (иначе, как по решению ЦК, ни одна подобная организация не могла появиться на свет). Реакция Пономарева его ошеломила: пожилой уже человек выбежал из-за стола и с неподдельным возмущением воскликнул: «Да вы в своем уме, Анатолий Сергеевич?! От кого, по-вашему, нужно защищать права человека в социалистическом обществе?»

Ужас Пономарева был вызван скорее не теоретическим богохульством Черняева в присутствии академика социалистических наук, а тем, что в Советском государстве сфера «прав человека» составляла монополию органов безопасности. Именно КГБ и только он отвечал за практическое осуществление записанных в Конституции политических прав советских граждан: свободы слова, совести, собраний и т.д. Он же, надежно прикрытый статьями уголовного кодекса об «антисоветской деятельности», обращал в уголовных преступников всех, кто не понимал, что права человека в СССР — коллективное достояние всех советских граждан, а не отдельных индивидуумов.

Само словосочетание «права человека» в догорбачевскую эпоху могло появляться в печати только в кавычках либо как тезис буржуазной пропаганды, либо как пример антисоветской деятельности «отщепенцев». Вот почему так резанули слух собравшихся на Красной площади в мартовский день 1985 г. эти незакавыченные слова в траурной речи Горбачева. Диссидентским духом повеяло на аппаратных вельмож и в мае 1986 г. в высотном здании МИДа, когда Генсек, излагая концепцию внешней политики, которую им предстояло проводить в жизнь, сказал: «Хватит съеживаться от слов «права человека». Не пора ли вспомнить, что и наша революция была совершена ради них».

Не было кавычек и в названии нового сектора. Само его создание отражало по-своему закономерный парадокс эпохи перестройки: в условиях атрофии право-

охранительной системы, безудержного произвола «органов» и прирученного к покорному терпению общества восстановление законности должно было прийти как «директивное» указание Инстанции, ослушаться которую в этом государстве не мог никто

Этой благодарной работой я и занимался несколько перестроечных лет. Обязанностью сектора была, казалось бы, элементарная, но бесконечно трудная в обществе застарелого «реального социализма» задача. добиваться от государственных органов соблюдения хотя бы уже существующих в этой области законов. Под прикрытием «поручения руководства» мы начали, в сущности, противозаконно оказывать давление на суд и прокуратуру (от чего Суслов предостерегал Андропова), добиваясь выяснения обстоятельств всех дел, связанных с осуждением по «антисоветским статьям» Иначе говоря, требовали их пересмотра. Запросили у Министерства здравоохранения диагнозы лиц, осужденных за «политическую шизофрению», и организовали им независимую экспертизу Регулярно просматривали перечень «отказников», то есть тех, кому было отказано в выезде за рубеж по причине «осведомленности в государственной тайне», каждый раз вычеркивая несколько фамилий из очередного «черного» списка.

Используя опыт правозащитных организаций и хельсинкских групп в странах Восточной Европы, мы методично добивались того, чтобы обязательства по «третьей корзине», взятые на себя Советским Союзом еще Брежневым, стали основой для внутреннего законодательства. Одна только строчка в этом документе о «воссоединении семей» позволяла, даже вопреки тогдашним законам, создать несколько привилегированных категорий советских граждан, которым легче было освобождаться от этого почетного звания, выезжая из СССР: евреи, немцы, греки, армяне. (Своеобразный образец социалистической дискриминации по национальному признаку.) За один только 1990 г. по открытому таким образом «израильскому каналу» из СССР смогло выехать 270 тысяч евреев, то есть в 7 раз больше, чем в 1989 г. и в 40 раз — чем в 1974 г.

Настало наконец время, когда наряду с отъезжающими из Союза появились и первые возвратившиеся

Разумеется, это были единицы — те, кто потянулся на родину, откликнувшись на пока еще неясные обещания перестройки, или кто попросту не смог адаптироваться к иной реальности. В недавнем прошлом такое возвращение, как ни абсурдно, исключалось для любого выехавшего из СССР и уж тем более для оставшихся за рубежом самовольно, подобно Нуриеву и Барышникову. Долгие годы Нуриев из-за этого не мог навестить в Казани свою мать. Даже официально оформленный отъезд за границу, не говоря уже о самовольном «побеге» на Запад, считался «изменой» родине и карался вечным изгнанием. Редкие случаи возвращения эмигрантов в СССР оркестровывались в качестве платы за въездную визу к себе домой как тщательно отрепетированное КГБ пропагандистское шоу с неизменным разоблачением «ужасов» эмигрантского существования. Безвозвратный характер отъезда, по замыслу постановщиков этой бесчеловечной драмы, должен был отвратить желающих последовать за уехавшими и не дать банализировать роковую грань между этим и «тем» миром.

Спектакль, достойный пера Брехта, разыгрался весной 1988 г. вокруг возвращения в Москву его знаменитого постановщика Юрия Любимова, главного режиссера Театра на Таганке, оставшегося на Западе во время гастролей и лишенного за это советского гражданства. И Яковлев, и сам Горбачев благосклонно отнеслись к его желанию приехать в Москву (пороги этих высоких кабинетов обивал от имени Любимова его ученик, будущий министр культуры при Горбачеве Николай Губенко), однако ни тот, ни другой, видимо, из-за сложных маневров внутри Политбюро не торопились отдать личного указания МИД или Министерству внутренних дел выдать ему въездную визу. Чувствуя, что вокруг Любимова «наверху» разворачивается непростая игра, замерли в оцепенении и все «компетентные» службы. Тем временем приближался день премьеры возобновленного любимовского спектакля «Борис Годунов», запрещенного в брежневские времена московским партийным секретарем Гришиным.

Любимов с билетом на самолет каждые полчаса звонил из Штутгарта в посольство насчет визы. Ответ был

один: «Из Москвы нет ответа». Николай Губенко и Егор Яковлев, главный редактор «Московских новостей», с напряженными лицами вошли в мой кабинет. «Если через три часа он не получит визу, — объяснил мне Губенко, — то пошлет все к черту, проклянет перестройку и улетит к своей жене в Израиль. Будет политический скандал! Яковлев и Черняев на заседании Политбюро. Когда оно кончится, неизвестно». Я взялся за телефон. Министр внутренних дел Власов объяснил мне, что он лично за приезд Любимова, но как служивый человек действует только по указанию руководства. «А закон?» — на всякий случай поинтересовался я. «По нынешнему закону он будет ждать визу минимум год», — участливо объяснил министр.

Оригинальный выход из тупика предложил заместитель Шеварднадзе Анатолий Ковалев: «Пусть наше посольство в Бонне пожалуется на меня министру — сообщит, что Ковалев-де задерживает решение важного политического вопроса. Тогда Шеварднадзе даст мне поручение, и я выдам визу Любимову». Оставалось всего два часа до рейса в Москву. Посольская машина в Бонне на всякий случай ждала любимовский паспорт, чтобы отвезти его прямо в аэропорт. Губенко каждые 15 минут пытался дозвониться в ФРГ и успокоить Маэстро. «Линия занята», — любезно сообщала ему всякий раз телефонистка.

На наше счастье, отлучившийся с заседания Политбюро Черняев согласился вручить мою записку Яковлеву. Тот передал ее Горбачеву. Спустя несколько минут Шеварднадзе, получив санкцию Политбюро и выйдя из зала заседаний, отдавал указание Ковалеву, а телефонистка, сама разыскав Губенко, еще более любезно сообщила, что линия с ФРГ свободна и он может поговорить со своим главным режиссером...

Разумеется, на премьере оживленного «Годунова» мы с Егором Яковлевым сидели на почетных местах рядом с Мастером, а потом все вместе поехали отмечать это событие к Яковлеву домой. Любимов был в ударе. Он рассказывал, как начинал свой актерский путь в ансамбле МВД и великолепно изображал то явившегося принимать их программу Лаврентия Берию, то запрещавшую его очередной спектакль Екатерину Фурцеву.

РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО

«Третья корзина» Заключительного акта Хельсинкского совещания оказалась, как баскетбольная — бездонной. Никакие официальные декларации и обещания Москвы, Берлина или Бухареста, никакие символические жесты и демонстративно увеличенное количество «воссоединенных семей» не могли ее заполнить. Постоянно расширявшаяся Хельсинкская «пробоина» усиливала течь в корпусе тоталитарной структуры.

Используя опыт восточноевропейских «хельсинкских групп», усиливала давление на собственных политических противников и тройка кремлевских реформаторов: Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе. Одно за другим они вытаскивали на рассмотрение Политбюро различные положения Заключительного акта: о свободе передвижения, о праве на забастовки, о создании независимых общественных объединений, о недопустимости преследований по политическим или религиозным мотивам — предлагая привести существующее советское законодательство в «соответствие» с международными обязательствами СССР.

Так родился многостраничный перечень законов и других законодательных актов, подлежавших отмене, изменению или созданию заново. В нем оказались и новый закон о печати, и долгожданное упразднение феодальной сталинской «прописки», и пересмотр статей Уголовного кодекса «об антисоветской деятельности», и, конечно, закон о свободе эмиграции. Правда, утверждение перечня на Политбюро еще не означало, что противники горбачевского проекта гуманизации социализма сложили оружие. Борьба переместилась с 5-го этажа вниз, «под стол» Политбюро. Его члены, чинно восседавшие за ним по четвергам, в остальные дни недели — в глубине аппаратных структур, как игроки в водное поло, безжалостно пинали и толкали друг друга через свои «команды».

Больше не существовало единого аппарата, послушного одной воле и способного молниеносно, как флюгер, разворачиваться от малейшего дуновения ветра на

шпиле партийного здания. Свою чиновную армию завел Лигачев, свой десантный отряд — морской пехотинец Яковлев, свои штабные и разведывательные группы и минеры имелись у Лукьянова (в ту пору этот однокашник Горбачева по юридическому факультету Московского университета в роли секретаря ЦК отвечал за «правовые вопросы», включая и политическое руководство МВД и КГБ).

Наиболее острые схватки развернулись, естественно, вокруг закона о свободе эмиграции. Когда попытки Правового отдела ЦК затянуть его разработку на неопределенное время сорвались (активно подталкивал этот вопрос заместитель Э. Шеварднадзе, отвечавший за «гуманитарную корзину», Анатолий Адамишин), сам Лукьянов выстрелил из орудия большого калибра. Он направил в Политбюро документ, в котором доказывал, что в случае «поспешного» принятия такого закона в первые же месяцы СССР покинет 5—7 миллионов человек. А это-де чревато как политическими издержками для страны, так и разорительными расходами: на создание гигантской эмиграционной службы для оформления документов массы выезжающих людей, а также на выплату миллионам эмигрировавших пенсий и других расходов по их социальному обеспечению в твердой валюте. Приведенные цифры доказывали, что всего национального бюджета СССР не хватит, чтобы оплатить эмиграцию малосознательной части его граждан.

Как бы мне хотелось свести авторов этого труда (а он, вне всякого сомнения, родился в недрах «аналитического подразделения» КГБ) с заместителем госсекретаря США по гуманитарным вопросам Ричардом Шифтером. На приеме во время официального визита М. Горбачева в Вашингтон в декабре 1987 г. преисполненный самых благородных побуждений, он конфиденциально сообщил мне, что администрация Джорджа Буша «готова оказать советскому руководству необходимую помощь для решения всех его экономических проблем, если оно действительно встанет на путь соблюдения прав человека». Видимо, представления о масштабах и возможностях решения этой проблемы и с той, и с другой стороны были так же далеки

от реальности, как и намерения каждой из них, друг от друга.

В заключение авторы записки, не слишком доверяя приведенным аргументам, выдвигали еще один, громобойный: в случае столь массового и стремительного выезда людей, в СССР «некому будет убирать урожай». При чтении этого плода жандармской фантазии у меня в памяти всплыл анекдот о Брежневе, услышанный в ГДР. Советскому лидеру так понравилась красивая немка, что за свидание с ней он обещал исполнить любое ее желание. Когда же она попросила открыть границу между ГДР и ФРГ, вождь, лукаво погрозив ей пальцем, сказал: «Понимаю, плутовка, ты хочешь, чтобы мы остались одни».

По миллиметру, по человеку выпускала из своих стальных объятий сталинская система. Летом 1989 г. были введены «Облегченные правила выезда из СССР», предполагавшие автоматическую, без учета желания самих выезжавших, утрату ими советского гражданства. В 1991 г. эту противозаконную процедуру отменили. Отъезд перестал быть символом Исхода, а люди наконец безоглядно бежать за границу, пользуясь появившейся возможностью и страшась, что приоткрывшаяся во внешний мир дверь опять захлопнется.

Пока же закона о свободе выезда и въезда в СССР не существовало, бывший советский гражданин и создатель Таганки — Любимов, чтобы вернуться домой, должен был, будучи русским, стать гражданином Израиля. Когда он пересекал границу в Шереметьеве, юный пограничник долго и непонимающе вертел в руках необычный паспорт Любимова, а потом, узнав-таки знаменитого режиссера, неожиданно привстал в своей будке и гаркнул: «Поздравляю с праздником!» Фронтовик Любимов после долгого перерыва «въезжал», будто на белом коне, на Родину, 9 мая — в День Победы.

Однако на этой благополучной ноте любимовская эпопея не закончилась. Недовольный тем, что на Политбюро его вынудили согласиться с приездом в Москву мятежного режиссера, Лигачев поставил условие: никаких публикаций в печати о его пребывании до тех пор, пока Любимов не уедет. Дескать, мало ли, как

он себя поведет. Запрет члена Политбюро — закон для всех газет, кроме... «Московских новостей». Главный редактор Егор Яковлев поместил обширное интервью с Мастером в день его отъезда, за что должен был дать письменное объяснение в Отдел пропаганды.

Сегодня, оглядываясь назад на эти, не столь давние дни, трудно поверить, что появление в «Московских новостях» вопреки запретам ЦК невинной заметки о выставке высланного на Запад и ныне всемирно известного художника Михаила Шемякина или некролога умершего в Париже писателя Виктора Некрасова могли стать поводом для политических разносов в Политбюро, неизменно заканчивавшихся требованием Лигачева: «Убрать редактора!» Что уж говорить об интервью с Борисом Ельциным, снятым в ноябре 1987 г. с поста секретаря Московского горкома, которое едва не стоило Яковлеву головы, хотя и было опубликовано только в немецком издании газеты. Несмотря на официально провозглашенную политику гласности, истинная свобода слова в реальной жизни буквально по сантиметру отвоевывала себе пространство.

Гласность не случайно была избрана инициаторами перестройки ключевым моментом их программы политической реформы. В изнурительном поединке с консервативным большинством Политбюро и ЦК им был необходим внешний союзник. Неудачи прежних попыток внутриаппаратных реформ, задуманных Хрущевым, Косыгиным или Андроповым, убедительно доказывали, что сдвинуть с места номенклатурный возок, находясь внутри его, не имея точки опоры в обществе, невозможно. Опереться же, как известно, можно лишь на то, что сопротивляется.

Гласность была призвана вызвать такое сопротивление общественной среды, пробудить в раздавленном сознании миллионов людей естественные социальные рефлексы: чувство достоинства, интерес к политике и веру в возможность влиять на собственную судьбу. Гласность явилась не только способом возрождения, а точнее, зарождения политической жизни в советском обществе, выходившем из состояния глубокой заморозки. На какое-то время она заменила политику, став ее суррогатом, в ожидании появления в стране реаль-

ных политических партий, общественных организаций, пробуждения общественного сознания и возникновения независимого суда.

В конце 80-х гг. демократическая и, в немалой степени, романтическая пресса гласности, подобно поэтическим митингам на площади Маяковского и в Политехническом музее в конце 50-х, сыграла роль, признанную Герценом за российским театром: «заменяла парламент». Помимо этого, политика гласности Горбачева, как своего рода консервный нож, позволила вскрыть наглухо запаянное от внешнего воздействия государство. Ничего так не боится тоталитарная власть, основанная на запретах и секретности, как света прожекторов и прилюдного ответа за свои поступки. Это истинная ахиллесова пята неуязвимого, казалось бы, во всех других отношениях режима.

Надо ли объяснять, почему ростки подлинно свободной печати, навыки независимой журналистики могли взойти на почве, иссушенной сусловской инквизицией, только по указанию «сверху». Этому, по-видимому, и служил хитроумный замысел Горбачева, разделившего идеологический участок: позволить молодой демократической прессе окрепнуть под прикрытием Александра Яковлева. Так, в ЦК начали складываться, по существу, параллельные структуры: с одной стороны, официальный Отдел пропаганды, подчиненный Лигачеву, с другой — не менее легальный «подотдел» Яковлева с коллективом собравшихся вокруг него сотрудников и консультантов. Редакторы газет и журналов отныне могли выбирать, с кем советоваться относительно неортодоксальных материалов. Эта эпоха двусмысленности стала по-своему необходимым этапом воспитания новой российской печати и приучения журналистов к еретической мысли о том, что когда-нибудь им вообще не придется обращаться за «санкцией» в Отдел пропаганды просто потому, что такового больше не будет.

Многократно битые и вымуштрованные самим же ЦК партийные пропагандисты ежились от непривычных призывов вести себя независимо и «жить своим умом». Ежедневно они требовали «завизировать», обретенную ими «хартию вольностей» во 2-м подъезде. Из-

за этого наиболее дерзкие материалы первого революционного периода гласности прежде, чем попасть на страницы газет, готовились за спиной официального Отдела пропаганды в кабинетах яковлевского подотдела. Так происходило и с разоблачительными статьями о репрессиях сталинских, а потом и ленинских времен, и с первой публикацией памфлета Солженицына «Жить не по лжи», и даже со Всеобщей декларацией прав человека, впервые прочитанной советским читателем в журнале «Новое время», через сорок лет после ее одобрения в ООН.

Когда выехавшие на Запад диссиденты, пораженные и несколько уязвленные шумным успехом горбачевской гласности, решив устроить ему проверку, опубликовали в «Фигаро» «открытое письмо», требуя поместить его в советской печати, решение об этом и текст журналистских комментариев к нему готовились в моем кабинете 2-го подъезда под шум моторов секретарских машин, разворачивавшихся во дворе ЦК.

Однако настоящую проверку границ гласности учинили, конечно, не правозащитники из-за рубежа, а драматическая реальность страны в первые годы перестройки. Первый тяжелый экзамен гласность проходила после Чернобыля. Взрыв реактора ядерной электростанции 26 апреля 1986 г. застал всех врасплох: персонал, пожарников, службы безопасности, прославленную на весь мир систему гражданской обороны, но прежде всего — власть на Украине и в Москве. С катастрофами такого масштаба, хотя и не ядерными, советскому обществу, как и любому другому, приходилось сталкиваться и раньше. Но в прежние времена реакция на них была проста: их замалчивали. Власть стремилась создать впечатление, будто все стихийные бедствия, катастрофы и экологические катаклизмы происходят исключительно «при капитализме», являясь его прямым следствием. Помимо воспитательной функции, такая политика позволяла покрывать собственную бесхозяйственность и разгильдяйство.

И на этот раз, не желая «травмировать» население и портить предстоящий первомайский праздник, а главное, стремясь скрыть просчеты конструкторов и халатность персонала, приведшие к трагедии, местные пар-

тийные и правительственные чиновники несколько дней старательно приуменьшали истинные масштабы аварии, не давая информации в печать. Это лишь многократно увеличивало опасность для жизни и здоровья жителей прилегающих к Чернобылю районов Украины, Белоруссии и России. Первый секретарь ЦК Украины Владимир Щербицкий решил не отменять многотысячную первомайскую демонстрацию в Киеве, чтобы «не создавать панику» в украинской столице, предпочтя подвергнуть население риску смертоносного облучения.

Молчали, удовлетворяясь состряпанными в Отделе пропаганды ЦК «оптимистическими» сводками ТАСС, телевидение и печать. Только тревога, поднятая соседями: Польшей, Болгарией и Швецией, уловившими повышение уровня радиации в атмосфере, вынудили Политбюро, оценившее к тому времени чудовищные масштабы катастрофы, нарушить молчание. В противном случае и Чернобыль, подобно южнокорейскому «Боингу», мог бы «удалиться в сторону моря» и кануть в нем.

Эта авария стала жестоким уроком для лидеров перестройки. Они все яснее осознавали, что гласностью нельзя пользоваться как водопроводным краном, употребляя ее как политический инструмент в зависимости от конъюнктуры. Испытания на декларированную гласность обрушились внезапно с разных сторон. Могло создаться впечатление, что соединенные силы природной и политической стихии проверяют новый курс на прочность. Катастрофы, аварии, стихийные бедствия словно ждали этого часа, чтобы обрушиться на и без того шатавшееся государство. На самом деле, страна впервые узнавала правду о том, что в ней происходит[1].

---

[1] 2 сентября 1986 г. в Черном море около Новороссийска, столкнувшись с грузовым судном, в считанные минуты затонул пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». Из 800 пассажиров погибло более половины. 3 октября загорелась советская атомная подлодка в районе Бермудских островов. В августе 1987 г. — крушение поезда Ростов—Москва, в ноябре — столкновение пассажирского поезда с грузовым на Горьковской ж.д., а через три дня еще более смертоносное столкновение поездов неподалеку от Тбилиси. Все это — подземные толчки, предвещавшие еще более страшную беду: армянское землетрясение в декабре 1988 г.

Бушевала и разбуженная политическая стихия. Перестав бояться двух главных вещей: подавления протеста силой и его замалчивания, люди начали выходить на улицы. В декабре 1986 г. в Алма-Ате прошла демонстрация тысяч казахов, возмущенных назначением русского — Геннадия Колбина, очередным партийным наместником в их столицу на смену одному из «динозавров» брежневского Политбюро — Динмухаммеду Кунаеву. В столкновениях с милицией и войсками, наводившими порядок, погибло 28 человек, включая 7 милиционеров, 200 было ранено. Это был первый выброс антиимперской и антирусской ярости, накопившейся за годы сталинского произвола. К сожалению, Горбачев не расслышал предупредительного сигнала об этом очередном Чернобыле. Отдел пропаганды сработал в эти дни по дежурной схеме: в ЦК было изготовлено и передано через ТАСС сообщение о немногочисленных «хулиганствующих националистических элементах» (в демонстрациях участвовало около 10 тысяч человек), пытавшихся нарушить общественный порядок в столице Казахстана.

Но если масштабы выступлений в Алма-Ате удалось скрыть с помощью все еще послушной центру прессы, то демонстрации тысяч крымских татар на московских улицах в июле 1987 г. не заметить было невозможно. Именно эта мирная, но непреклонная в своей решимости акция, предпринятая одним из многих репрессированных Сталиным народов[1]. Нарушив «плавный» сценарий реформистского проекта Горбачева, впервые продемонстрировала, что разбуженных демонов советской истории невозможно запрячь в управляемую им повозку.

---

[1] По огульному обвинению «в сотрудничестве» с немцами и, разумеется, без соблюдения каких-либо юридических норм, в 1943 г. были депортированы немцы Поволжья, калмыки, карачаевцы, балкарцы. В 1944 г. — чечены и ингуши. За ними последовали турки-месхетинцы и крымские греки. Некоторые из этих «осужденных за коллаборационизм» народов, например турки-месхетинцы из Грузии, жили на территориях, никогда не оккупировавшихся немцами. 16 мая 1944 г., через неделю после освобождения Крыма Красной Армией, за несколько часов почти 250 тысяч крымских татар были погружены в товарные вагоны и депортированы в среднеазиатские степи. Сотни из них, включая детей и женщин, погибли во время этой операции сталинских карателей. С тех пор возвращение в Крым татарам было запрещено.

Горбачев был поставлен перед выбором: применять силу для разгона тысяч манифестантов и тем самым возвращаться на путь своих предшественников или искать политические решения. Иными словами: стрелять или не стрелять. К чести Горбачева он выбрал второе. И добавил заповедь: «Не стреляй!», к своему представлению о моральном кодексе государственного деятеля. «По своему характеру, — писал Майкл Мандельбаум в «Форин Аффэйрс», — Михаил Горбачев при всех своих недостатках отличался той внутренней порядочностью, которая отсутствовала у всех предыдущих лидеров Советского Союза и, в сущности, всех правителей имперской России в прошлом. Он добровольно отказался от одного из главных методов, с помощью которого правили его предшественники. Отказался стрелять... За одно это он заслужил Нобелевскую премию мира, которую получил осенью 1990 г., и с ней — почетное место в истории XX столетия».

Надо думать, даже в 1987 г. это было не простое решение. Впервые в истории советской власти перед зданием ЦК на Старой площади беспрепятственно и безбоязненно шла многотысячная демонстрация протеста. Боялись по другую сторону этой внезапно обозначившейся границы между властью и обществом. Привыкшие считать себя хозяевами Москвы, охранники серых зданий ЦК впервые в своей жизни тревожно переговаривались по рациям и закрывали на засовы, баррикадируясь изнутри, двери цековских подъездов. 27 июля депутацию крымских татар, организовавших демонстрацию и на Красной площади, принял в Кремле Громыко и пообещал ускорить восстановление в правах этого «ссыльного» народа. Со зданий ЦК осада была снята, однако жизнь их обитателей уже больше никогда не была такой безмятежной, как прежде.

Аппарат ЦК и даже окружавшие Горбачева члены Политбюро еще пытались вернуть вышедшую из берегов реку перестройки в бетонное партийное русло. Вадим Медведев — Суслов времен перестройки, сменивший на идеологическом посту окончательно рассорившихся Яковлева и Лигачева (Яковлев рассказывал мне, как по просьбе Горбачева, стремившегося их примирить, он пару раз запирался с Лигачевым на не-

сколько часов для выяснения отношений, однако в результате, по его словам, все равно получался «жареный лед»), — строгим голосом объяснял редакторам газет на совещаниях во 2-м подъезде: «Гласность — не анархия, не демонстрация журналистской смелости. Она служит разъяснению смысла и целей великой программы перестройки, мобилизации здоровых общественных сил». Новый главный идеолог патетически заявлял, что, «пока он занимает этот пост, Солженицын не будет опубликован в Советском Союзе». Ушли оба — и Медведев, и Советский Союз, а Солженицын вернулся.

Сам Горбачев, чувствуя, что почва под его проектом ходит ходуном, время от времени пытался натянуть отпущенные поводья. Тоном секретаря обкома партии он принимался вразумлять прессу, грозил с трибуны Верховного Совета «приостановкой действия» поддержанного им самим либерального Закона о печати (тоже родившегося в недрах яковлевского подотдела) или устраивал редакторам «аутодафе» в стиле Зимянина. Во время одного из таких разносов он даже предложил главному редактору популярного еженедельника «Аргументы и факты» Старкову уйти в отставку из-за того, что тот опубликовал данные опроса, в котором рейтинг Горбачева отставал от Сахарова и Ельцина.

В этих его метаниях не было ничего удивительного. Они отражали и противоречия реальной жизни, и противоречивость его собственной натуры — профессионального и удачливого партийного функционера, ставшего разрушителем однопартийной системы, то есть единственной опоры его собственной власти. А стало быть, и инструмента реализации задуманных им реформ. Соединив в себе, как уже многократно писали, папу и Лютера, а точнее Ярузельского и Валенсу, правительство и оппозицию, — словом, прошлое и будущее собственной страны, Горбачев не мог время от времени не раздваиваться, не опровергать самого себя, не путаться в разных масках, которые он, как виртуозный политический актер, молниеносно менял в зависимости от аудитории. Но что оставалось ему делать, когда сошедшиеся вместе фланги советской политической жизни устраивали ему очную ставку с самим

собой? Правда, как правило, устыдившись внезапной слабости, он спохватывался, переставал искать спасения в двусмысленности, присягал на верность демократическим принципам и... вместо либерального Старкова увольнял консервативного редактора «Правды» Виктора Афанасьева.

Гласность тем временем отказывалась служить кому бы то ни было и любой, даже самой возвышенной цели, кроме одной: возрождению в стране общественного сознания и воспитанию нового поколения свободных российских журналистов. Вырвавшаяся однажды у Горбачева, этого казака из станицы Привольной (что означает «свободное, широкое»), полуанархическая фраза: «Разрешено все, что не запрещено», почти дословно повторившая неведомый ему девиз парижского мая 1968 г.: «Запрещено запрещать!», стала на время лозунгом измученного запретами советского общества. И новая российская пресса, всосавшая молоко гласности, оказалась последним союзником Горбачева, когда в декабре 1991 г. он был оставлен всеми: бывшими друзьями, выпестованными им политиками, созданным им парламентом, обретшими голос благодаря ему демократами и, наконец, его собственным постоянным спутником — успехом.

Только журналисты на следующий день после спуска государственного флага Советского Союза с кремлевского купола проводили Горбачева из политики в историю как смещенного, но не разжалованного и пожизненного Президента СССР.

КРЕМЛЬ БЕЗ ХОЗЯИНА

Кто сказал, что быть суеверным нерационально? На мой взгляд, наоборот. Что еще, кроме знамений, примет, счастливых дней и несчастливых чисел, способно рационализировать хаос событий, происходящих вокруг человека, объяснить ему и, следовательно, задним числом оправдать неожиданности и обрушивающиеся на него, конечно же незаслуженно, невзгоды? И тем самым помочь ему им противостоять.

Можно ли, например, считать случайностью, что роковые для перестройки и самого Горбачева события

в Вильнюсе, жертвой которых стали 13(!) человек, произошли 13 января 1991 г.?[1]

(Не поразительно ли, что и зловещее постановление Политбюро об уничтожении 25 тыс. польских офицеров в Катыни имело порядковый номер 13 и состояло из 13 строчек? Датировано оно было 5 марта 1940 года, то есть было принято ровно за 13 лет (день в день) до официальной смерти Сталина. И разве могла пресловутая статья Нины Андреевой в «Советской России» под трубным заголовком «Не могу поступиться принципами!» появиться в какой-либо другой день, кроме 13 марта 1988 г.? Почему-то я почти уверен, что это к тому же была пятница. Не хочу проверять — не из-за лени, а чтобы случайно не разрушить свою безупречную теорию.)

Рационалисты найдут массу других причин появления этой статьи, оставившей заметный шрам на облике перестройки, именно в те дни, когда Кремль был пуст. Такова уж давняя традиция светской московской жизни, которая вполне может быть причислена к народным приметам. Если в Кремле нет «хозяина», жди политических сюрпризов. Не случайно и смещение Хрущева в 1964 г., и отстранение Горбачева под предлогом его внезапного «заболевания» произошли, когда они покинули свое кремлевское убежище.

С одной стороны, отъезд вождей на отдых, с визитом за рубеж или в поездку по стране — это каникулы власти и, следовательно, аппарата. Повседневно устремленная взглядом к вершине чиновная прислуга получает передышку, номенклатурная жизнь замирает: можно расслабиться, уделить время увлечениям, друзьям, семьям и любовницам. С другой, эти считанные звездные дни и часы — подарок скрытой оппозиции для сборищ за спиной уехавшего лидера, заключения политических сделок на будущее, перегруппировки сил.

---

[1] В этот день войска МВД СССР с участием спецподразделений КГБ захватили здание Вильнюсского телевидения, крупнейшее издательство, типографию и полицейскую академию. В ходе операции было убито 13 человек из числа литовских пикетчиков, охранявших здание телецентра, и 113 ранено. Горбачев отмежевался от этих действий советских служб безопасности, но лишь неделю спустя.

В подобных случаях ажиотаж начинает нарастать с момента ритуальных проводов «шефа» на аэродром. Все напряженно следят, кто и в каком порядке подходит пожимать руку или даже целовать на прощанье отбывающего вождя, кому он дает последние поручения и напутствия, — словом, кто останется за «старшего» в Кремле. В брежневские времена ситуация была предсказуема. Более того, именно ее безвариантность служила еще одним элементом политической стабильности. Выбор временных «дофинов» был невелик: он сводился к неприметному Косыгину, непременному Суслову или подменявшему его Кириленко. В последние годы в шеренгу последних провожавших и первых встречавших Генсека протиснулся Черненко. Сам он, став первым лицом, за время своего быстротечного правления, как и Андропов, никуда, кроме больницы, не выезжал, и потому вопрос об официальном замещении не возникал.

Горбачев за свои шесть с половиной лет сменил несколько поколений своих заместителей. Начав в первые месяцы своего пребывания в Кремле с Громыко (дань той роли, которую патриарх брежневского Политбюро сыграл при его назначении), он в поисках надежного «зама» перебрал самых разных людей: Лигачева, Медведева, Лукьянова, Янаева. Поразительно, что он не решился или не захотел предложить эту роль ни одному из двух самых близких ему соратников: Александру Яковлеву и Эдуарду Шеварднадзе. Яковлеву был обещан пост вице-президента при избрании Горбачева Президентом на Чрезвычайном съезде народных депутатов весной 1990 г. В последний момент, как объяснил сам Горбачев, чтобы «не разъярять правых», он вообще снял предложение об учреждении такого поста, постаравшись утешить Яковлева словами: «Ты важнее, чем вице-президент».

Шеварднадзе услышал о намерении Горбачева предложить ему стать вице-президентом уже после своего драматического заявления об отставке с поста министра иностранных дел в декабре 1990 г. и, видимо, имел все основания усомниться в их серьезности, ибо в конце концов тот отдал эту должность человеку совсем «другой группы крови» — Геннадию Янаеву. Эти поли-

тические и личные обиды постепенно расширили брешь в отношениях между тремя когда-то неразлучными друзьями (Горбачев однажды с чувством и искренней горечью сказал мне: «Да разве можно после всего, что между нами переговорено и пережито, нас разделить?! Ведь мы все трое — один проект».) и в конце концов окончательно развели их.

Поскольку чем дальше, тем яснее становилось, что Горбачев хочет видеть в человеке, стоящем за его спиной, не политического партнера, а преданного адъютанта, то есть безопасную тень, он был обречен самым драматическим и даже роковым образом ошибаться. После того как два последние его зама — Лукьянов и Янаев — возглавили августовский путч, отстранив своего шефа от власти, ему не оставалось ничего другого, как, отвечая в ноябре 1991 г. в Мадриде на вопрос журналиста: «Кто вас сегодня замещает в Москве?», сказать одно слово: «Никто».

И все же с точки зрения ущерба, нанесенного его политическому проекту, урон, причиненный двумя путчистами, не идет в сравнение с тем, что совершил второй человек в возглавляемом Горбачевым Политбюро, — Егор Лигачев. Он активнее других использовал возможности, предоставляемые ему статусом официального заместителя Горбачева во время его отсутствия. Не в последнюю очередь из-за своего сангвинического темперамента и той склонности к приказной, административной деятельности, которая привлекла в свое время внимание Андропова. Кроме того, проработав изрядное время «первым» в сибирской провинции, он, видимо, никак не мог адаптироваться к роли «второго» в московском Риме. Тем не менее главное, что подталкивало Лигачева в «правые» диссиденты и даже оппоненты политике перестройки, была, конечно, не разница в характерах, а в политических мировоззрениях с Горбачевым.

Атипичным случаем, «генетической ошибкой» самовоспроизводящейся системы был, разумеется, сам Генсек. Трудно объяснить, почему из одного и того же партийного инкубатора вылупились почти одновременно три, столь непохожих друг на друга политика. Горбачев, Лигачев и Ельцин. Все трое — провинциалы,

практически в одно время работали областными партийными секретарями, имели схожий жизненный опыт, давно знали друг друга, встречаясь на совещаниях, пленумах и съездах. И ждали, каждый на свой лад, своего часа и шанса, который должна была им дать неизбежная смена поколений в партийном руководстве. Дождавшись, они так по-разному им распорядились.

В 1969 г. два секретаря обкомов Горбачев и Лигачев оказались в одной партийной делегации в Чехословакии для оказания политической «братской помощи» Г.Гусаку в «нормализации» страны, усмиренной год назад танками Варшавского Договора. Через 20 лет после этой поездки, в 1989 г., Генсек КПСС Михаил Горбачев распахнул заржавевшие ворота социалистического лагеря. В этом же году Егор Лигачев, выступая на очередном Пленуме, на вопрос: «Кто потерял Восточную Европу?», панически восклицал: «В социалистических странах ослаблена роль Партии (он явно исходил из того, что на все восточноевропейские страны она была одна). Возросла опасность буржуазной реставрации. Если мы не поддержим здоровые силы в этих странах и допустим пересмотр итогов II мировой войны, нам не будет прощения». А ведь этот человек вполне мог стать и Генсеком КПСС, и, почему бы нет, российским Президентом.

Собственно говоря, с Ельциным, несмотря на глубокую взаимную неприязнь, у Лигачева было значительно больше общего в чисто психологическом плане, чем с Горбачевым, что, кстати, вполне могло обострять их политическое и личное соперничество. Оба — ярко выраженные властные натуры обкомовских «хозяев», жестких в общении с подчиненными, нетерпимых и подозрительных к тем людям из внешнего круга, кто не разделял их взглядов. Оба, свято верящие в то, что эффективность политики измеряется решительностью предпринимаемых организационных мер и обеспечивается незыблемостью авторитета руководителя.

Видимо, именно эти качества Лигачева плюс его непримиримая вражда с Ельциным объясняют, почему Горбачев так долго держал около себя этого человека,

явно рассчитывая использовать его на тех «вредных работах», которыми не хотел заниматься сам или за которые не хотел нести личную ответственность. С именем Лигачева связаны прежде всего такие разные, но одинаково губительные для политической и экономической стратегии первых лет перестройки «начинания», как борьба с «нетрудовыми доходами» населения, выродившаяся в разрушение милицией частных теплиц и парников крестьян, превышавших установленные партией размеры. А, главное — авантюрный проект «искоренения алкоголизма» на Руси, завершившийся, как и следовало ожидать, полным конфузом и экономической катастрофой: появлением водочной мафии, ростом нелегального производства самогона, массовыми отравлениями людей и роковой пробоиной в государственном бюджете.

Лигачев, несомненно, оставался бесспорным авторитетом для всего гигантского партийного аппарата, и Горбачев хотел верить, что пока Егор Кузьмич находится при нем, он может не опасаться организованной аппаратной фронды и тем более Вандеи. Если в личном плане властный Лигачев должен был играть роль противовеса аррогантному Ельцину, то политически, по замыслу Горбачева, — уравновешивать слишком либерального демократа Яковлева.

Особенность унаследованной Горбачевым структуры, собственно и состояла в том, что в отсутствие легальных «ограничителей и противовесов», отражающих разделение независимых властей, равновесие системы обеспечивалось разными по наклонностям и темпераменту личностями, сведенными в рамках внешне монолитного Политбюро. Это наследие ленинско-сталинского «внутреннего плюрализма» периодически прорывалось наружу очередным разоблачением группы «врагов народа» в верхних эшелонах партии, либо низложением самого вождя (в случае с Хрущевым). Приступив к политической реформе, Горбачев явно хотел перекинуть мостик между этим юридическим беспределом и цивилизованной структурой правового государства. Соперничество Яковлева и Лигачева, отражая различные течения внутри партии, теоретически должно было стать зачатком нормальной по-

литической борьбы в обществе с неизбежным противоборством реформистского и консервативного начал.

Впрочем, как выяснилось достаточно быстро, эта на первый взгляд, безупречная идея, как и другие умозрительные схемы перестройки, при пересадке на российскую почву дала неожиданные всходы и диковинные плоды. В условиях, когда ни правящая каста, ни население не были приучены к оппозиции любого рода, беспрепятственно и безнаказанно бросающей вызов официальной власти, само ее наличие воспринималось как признак слабости руководства и его неуверенности в себе. И уж подавно так рассматривались попытки сымитировать свободную политическую борьбу тенденций и фракций внутри одной партии, да еще такой, которая по своей природе и воспитанию предназначалась лишь для беспрекословного выполнения приказов единственного и, стало быть, по определению, единого центра, не обремененного ни внутренними сомнениями, ни интеллектуальными комплексами.

Действующий по принципу реле аппарат после нескольких месяцев замешательства принял естественное решение — ориентироваться на один из полюсов внутрипартийной власти. Неудивительно, что большая его часть сгруппировалась в лагере того, кто обещал номенклатуре продлить ее всевластие и безмятежную жизнь, — то есть Лигачева. Тем самым было положено начало созданию внутри КПСС, формально возглавлявшейся по-прежнему Генсеком-реформатором, неподвластной ему, жестко централизованной структуры, закнутой на консервативного второго секретаря. Вскоре именно из этого плода, созревшего в чреве общесоюзной партии, выросла выпестованная Лигачевым агрессивная Российская КП во главе с другим Кузьмичом — Иваном Полозковым. Она и бросила горбачевскому курсу сначала политический вызов, а потом, в августе 1991 г., попыталась насильственно интернировать саму перестройку. В начале же развилки дорог, которые так далеко разошлись к 1991 г., было 13 марта 1988 г., когда Кремль был пуст.

1988 год начинался трудно. Растревоженная невнятными обещаниями перестройки страна не могла понять, идет ли речь об очередной «оттепели» или о настоящей весне, и не решалась выйти из зимней спячки. А если все-таки просыпалась, то не так и не там, как замыслил Горбачев.

Вместо демократического отклика на его призыв к политической реформе «пришла волна» с пышно взбитой пеной националистических и сепаратистских настроений с окраин союзной империи. Первыми решили осторожно попробовать «температуру воды» прибалты. В феврале сначала в Тарту, а затем в Таллине прошли демонстрации, впервые легально отмечавшие 10-летие договора, заключенного Таллином с ленинской Россией и провозглашения независимости Эстонии. Этот договор, кстати, положил начало и международному признанию самой советской власти. Тартускую демонстрацию разгонял местный, то есть главным образом русский КГБ и милиционеры с собаками.

Почти одновременно с северным флангом державы занялся и южный — Кавказ. В том же феврале карабахские армяне, почувствовав, что перестройка дает им долгожданный шанс склонить в свою пользу вековую тяжбу с азербайджанцами вокруг их национального анклава в Карабахе, проголосовали за его присоединение к Армении. После того как Политбюро отвергло это требование, около 1 миллиона человек вышло 26 февраля на улицы Еревана в знак солидарности с карабахскими собратьями.

И хотя демонстранты шли по улицам с лозунгами перестройки и портретами Горбачева, сам Генсек был возмущен. Потомственный северокавказский казак, он прекрасно сознавал, какой ящик Пандоры представляет собой эта гремучая смесь крупных, средних и совсем малых народов и народностей, разных религий, застарелых исторических обид и неразрешенных племенных и территориальных конфликтов, усугубленных сталинским произволом. Он уже чувствовал запах серы, поднимавшийся из жерла кавказского вулкана, и с решимостью отчаяния пытался, как мог, притушить раз-

горавшиеся страсти, предчувствуя, что они могут похоронить его перестройку.

В один из вечеров Яковлев привел к нему на 5-й этаж армянских «ходоков»: писателя Зория Балаяна и поэтессу Сильву Капутикян, намеревавшихся разъяснить Горбачеву демократический характер армянского националистического возрождения и убедить его не паниковать. Генсек горячился, обвинял армян в том, что они «вонзают нож в спину перестройке», и, привлекая все доводы рациональности, пытался объяснить им, что они совершают роковую ошибку, поскольку не смогут решить карабахский вопрос мирным путем. Горячность Горбачева объяснялась главным образом тем, что в поведении «националов» он усматривал намерение выйти за рамки той второстепенной, «обслуживающей» его политический проект роли, которую он, подобно гласности, отводил «народным фронтам» в республиках: еще одного его союзника в борьбе против партийной номенклатуры.

Разговор выродился в диалог глухих, ибо рационализм и даже самый демократический национализм никогда не слышат друг друга. Тем не менее, чтобы успокоить страсти в Ереване и уговорить разгоряченных людей уйти с улиц, Горбачев выступил по телевидению, пообещав найти демократическое решение карабахской проблемы. Об этом же его обещании доложили на центральной площади армянской столицы и вернувшиеся из Москвы «ходоки». Удовлетворенные выданным «векселем», демонстранты разошлись по домам. Казалось, Горбачев получил передышку.

И вдруг на следующий же день — подлинный нож в спину: армянская резня в Сумгаите, где погибло за одни сутки 26 армян (включая женщин и детей) и 6 азербайджанцев... После нескольких дней кровавого кошмара, взорвавшего и Кавказ, и Россию, отбросив последние колебания и расставшись с иллюзиями о возможности политического урегулирования конфликта, Горбачев ввел в Баку войска.

Что из того, что он представлял себе, какие силы организовали или спровоцировали взрыв национальных страстей и дали им шанс безнаказанно разгуляться. Он все равно не смог бы ни назвать, ни наказать ви-

новных — ведь за их спиной стояли могущественные силовые структуры, заложником которых в значительной степени оставался он сам и которые пока не мог заменить на другие. Ему оставалось только с бессильным отчаянием наблюдать, как легко манипулируют народными эмоциями его политические противники, используя те новые возможности, которые им дала провозглашенная Горбачевым демократия и взятый им на себя обет не прибегать к насилию. И пытаться тем не менее вернуть стихию беспорядков в политическое русло.

Такую попытку он предпринял в очередной раз, находясь с визитом в Югославии. В речи, адресованной не только взбудораженному Кавказу, но и всем националистам, выстроившимся в очередь со своими нерешенными проблемами, Горбачев заклинал отложить их выяснение «на потом», уверяя, что в будущем демократическом государстве их можно будет решить менее болезненно. Выразив сочувствие армянам, он примирительно сказал, что не рассматривает их выступления как сепаратистские или антисоветские. Страсти начали было утихать. И тут наступило 13 марта.

...Я редко брал в руки «Советскую Россию». Эта газета отталкивала меня не столько своей политической позицией — резко консервативной оппозицией курсу Горбачева, — сколько откровенным заигрыванием с наиболее темной обывательской массой и подстрекательскими призывами к агрессивно настроенной части аппарата, болезненно переживавшей утрату прежней власти.

Время от времени на страницах газеты взрывалась очередная пропагандистская петарда, и тогда приходилось разыскивать последний номер «Советской России» и погружаться в атмосферу апокалиптических пророчеств и мстительных доносов — их еще несколько дней пережевывали и смаковали, восхищаясь «смелостью» газеты, аппаратные евнухи.

Такую беспрецедентную, по меркам прежних времен вольность, газета могла позволить себе лишь при одном условии: имея надежное прикрытие в высших сферах ЦК. На кого из членов партийного руководства работала «Совраска», не составляло большого секрета. Ее редактор Валентин Чикин был заинтересован в том,

чтобы слухи о его почти ежедневном общении со вторым человеком в партии и в стране Егором Лигачевым как можно шире расходились по Москве, прикрывая его «фронду». Лигачеву же важно было иметь свой «орган», служивший не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и организатором для растерянной и сбитой с толку армии его сторонников среди партийной бюрократии.

Этот мартовский день обещал быть безмятежным из-за отсутствия начальства и его поручений: Горбачев находился в Югославии, Яковлев — в Монголии. Поэтому звонок помощника Яковлева с вопросом: «Ты читал сегодняшнюю "Россию"?» вызвал привычную тоску. «Опять кукиш в кармане?» — «Нет. На этот раз большая фига, и прямо в нос. Посмотри».

Уже первые строки монументального текста, занимавшего газетную полосу, выдержанные в стиле знаменитого призыва Матери-Родины к своим гражданам времен Великой Отечественной войны, показывали, что речь идет не о пропаганде, а о политике, причем рискованной и крупной. В редакционном примечании сообщалось, что автор статьи некая Нина Андреева — преподаватель марксизма из химико-технологического института в Ленинграде. Однако и масштаб произведения и аргументация вызывали подозрения (как потом выяснилось, обоснованные), что над статьей трудилась не одна рука, придавая ей черты «установочного» выступления.

«Андреева» выступала против перестройки с открытым забралом. Социализм и Отечество в опасности, — вещала ленинградская Кассандра. В руководство страны пробрались изменники, ведущие страну в тупик. Великая держава, перед которой трепетал весь мир, поставлена перед Западом на колени. Русскую нацию втаптывают в грязь отступники и «космополиты» из числа «контрреволюционных» народов. Для пущей важности в статье приводились цитаты из Карла Маркса (якобы разоблачающие реакционную роль мирового еврейского капитала) и Уинстона Черчилля (якобы преклонявшегося перед Сталиным).

В кликушеской и черносотенной статье не было бы ничего особенно удивительного (хотя в прежние време-

на в партийной прессе при всем сочувствии правящей верхушки антисемитским тезисам, такая статья появиться не могла), если бы не ее директивный полуофициальный характер и распоряжение Отдела пропаганды распространить ее по всей стране. Не способный обуздать свой темперамент Лигачев собрал в ЦК совещание редакторов, на котором расхваливал «Советскую Россию» и рекомендовал чуть ли не изучать статью Н. Андреевой, как в прежние времена выступления партийных вождей.

Гласность замерла, а вымуштрованная пресса стала «во фрунт». Некоторые республиканские газеты услужливо перепечатали статью, другие ждали развития событий. Оживившиеся партийные секретари слали в ЦК с мест телеграммы с горячим одобрением статьи от имени «трудящихся масс». Создавалось впечатление, что оставленный на капитанском мостике вахтенный рулевой скомандовал «полный назад», и корабль начал послушно разворачиваться. Откатная волна, поднятая «Совраской», грозила смыть хрупкие завоевания последних месяцев, как следы на песке.

Необходимо было что-то срочно противопоставить безапелляционности этой реваншистской публикации и дать понять, что речь идет всего лишь об одной из точек зрения, но никак не об официальной партийной линии.

Однако найти союзников в отсутствие главных заокперщиков перестройки было непросто. Охотников поддержать меня среди редакторов газет, кроме Егора Яковлева из «Московских новостей», не нашлось. Однако даже остро критическая статья по поводу публикации в «Советской России», появившаяся в этой «эрзац-газете», как назвал ее Лигачев, только подогревала решимость аппаратного сословия поставить «распустившуюся прессу на место». Моя попытка подключить к «дискуссии» — ведь именно так представлял публикацию Андреевой сам Чикин — либерального редактора «Известий» Ивана Лаптева, не удалась. «Вы же не партийная, а независимая парламентская газета! Можете хотя бы пожать плечами?» — уговаривал я его заместителя. «Нет, против Лигачева мы бессильны», — был ответ.

Стало очевидно, что перебить «даму пик», с которой, воспользовавшись отсутствием Горбачева и Яковлева, пошел Егор Кузьмич, можно будет только с помощью короля, а еще лучше туза, то есть публикации в «Правде» или заявления Политбюро. Вместе с двумя моими коллегами из яковлевского окружения — тоже выпускниками Института международных отношений — Александром Лебедевым и Николаем Португаловым мы начали готовить ответ на основные тезисы статьи Н. Андреевой, стремясь поймать ее авторов за руку там, где они лукавили и передергивали факты. Как мне хотелось для экономии времени подняться на два этажа выше к помощнику Лигачева и выяснить, из какого раздела воспоминаний Черчилля извлек он звучную цитату, прославляющую «дядю Джо». Увы, все пришлось искать самим.

Мы нашли и эту, искаженную «Совраской» цитату, и подлинные слова Маркса о «контрреволюционных народах». А от себя добавили на этот раз неподделанную восторженную оценку Сталина Гитлером, взятую из его дневников. Нашему разоблачительному труду я предпослал короткую записку, начинавшуюся словами: «Статья Н. Андреевой — наиболее откровенное, агрессивное выступление, в сущности — манифест сил, озабоченных характером и размахом перестройки, и отражает их стремление сдержать ее дальнейшее развитие. Это попытка сформулировать платформу для мобилизации консервативных сил в партии и в стране».

Многостраничный документ, перепечатанный «надежной» машинисткой в «диссидентском» 3-м подъезде, мы вручили Александру Яковлеву в день его возвращения из Монголии прямо на аэродроме. Остальное зависело уже не от нас. На следующей неделе вернувшийся из Белграда Горбачев созвал Политбюро и потребовал от каждого его члена дать оценку статье. Перед его яростным напором Лигачев и уже готовое поддержать его большинство дрогнули и отступили. Сам Егор Кузьмич сказал, что увидел статью уже напечатанной, расценил ее как проявление «политического плюрализма» и, не давая никому никаких директив, лишь высказал «может быть, слишком поспешно свое

личное мнение». В результате двухдневного заседания партийный ареопаг, как и положено, единодушно осудил «политически вредное» выступление «Советской России» и поручил «Правде» разнести эту публикацию в пух и прах. Чуть было не зачерпнувший воды правым бортом, корабль перестройки выправился и двинулся дальше.

Надо ли говорить, что эта атака справа на линию Горбачева из-за его спины не была ни единственной, ни последней. «Ленинградское дело» Нины Андреевой, в отличие от своего зловещего аналога сталинских времен, не оставило после себя трупов (в том числе политических), но отбросило длинную тень на последующую историю Перестройки. Редактор «Совраски» Чикин, получивший всего лишь устный разнос от Горбачева (тот всерьез относился к понятию «плюрализм мнений»), в июле 1991 г. поместил в своей газете под заголовком «Слово к народу» прямой призыв к свержению конституционных органов власти, услышанный организаторами августовского путча. Из ленинградского окружения Нины Андреевой выползла гусеница сначала националистической фракции КПСС, а потом и Российская компартия, ориентированная на Лигачева, которая окончательно похоронила замысел Горбачева о демократическом перерождении КПСС.

Март же 1988 г. закончился еще хуже, чем начался. 21 числа, вскоре после возвращения Горбачева из Югославии, словно беря реванш за унижение, испытанное в истории с «Совраской», Лигачев инициировал в «Правде» статью о ситуации в Армении, перечеркивавшую все то, что сказал в своем примирительном выступлении Горбачев в Белграде. Опровергая собственного Генсека, центральная партийная газета назвала прокарабахские демонстрации ереванцев «антисоциалистическими» действиями, предпринятыми по указке заокеанских советологов, мечтающих разбить Советский Союз на национальные уделы.

Притухший было после сумгаитской резни армянский костер, опять заполыхал. Тысячи людей вышли на улицы, заняли ереванский аэропорт. 24 марта Горбачев отдал приказ о чрезвычайном положении в Армении и о вводе в Ереван, вслед за Баку, частей Советской

Армии. А со знамени перестройки совместными усилиями радикалов-националистов и неугомонных большевиков была стерта заповедь: «Не стреляй!»

МЕЖДУ ГЕНСЕКОМ И ПРЕЗИДЕНТОМ

Чтобы понять, почему русское слово «дача» вошло во все иностранные языки, надо летом после душного, шумного и грязного города окунуться в свежесть подмосковного леса, в его тишину, нарушаемую гомоном птиц и комариным звоном. Выкупаться в прохладном пруду, попить чай за столиком под сосной или на веранде и, открыв окно в сад, будто нарисованное Шагалом, перевернуть страницу книги. Дача хороша и зимой, когда, вырвавшись «из неволи московской тщеты», из слякоти городских улиц, оказываешься в рождественской сказке заиндевевшего леса, и снег под ногами хрустит, как яблоко на зубах.

Только тогда вы поймете, почему без дачи в Москве нет ни жизни, ни творчества, ни политики. Почему, поминутно повторяя: «В Москву! В Москву!», не покидали дачных веранд чеховские сестры, почему большую часть жизни проводили в подмосковном Переделкине все известные советские писатели от Чуковского до Пастернака, укрывался на даче у Растроповича Солженицын и доживали свой век уволенные в отставку Жуков и Хрущев.

Безнадежно больного Ленина пытались вылечить воздухом Подмосковья в Горках. Что же до Сталина, то он нередко весь рабочий день (и ночь) проводил на ближней даче в Волынском, где и был найден лежащим без сознания на полу 1 марта 1953 г. Преемники того и другого ценили окруженный зелеными заборами покой подмосковных госдач не меньше, чем помпезность кремлевских хором и чинность цековских коридоров.

В мае 1991 г. Горбачев вывез из Кремля на госдачу в Ново-Огарево Государственный Совет, состоявший из новоиспеченных президентов и спикеров парламентов союзных республик. Изолировав их, как папский конклав в Ватикане, он не отпускал их по домам до тех пор, пока они не согласовали новую формулу федеративного государства и Союзный договор. Там же в

Ново-Огареве Горбачев добился общего согласия на новый Союз ценой того, что «сдал» лукьяновский Верховный Совет и павловское правительство, пообещав новые выборы парламента и переизбрание президента, то есть самого себя.

На радостях «три богатыря» — Горбачев, Ельцин и Назарбаев, чей альянс обеспечил согласие остальных республиканских лидеров, оставшись на даче после заседания, по-русски отметили достигнутый успех. Потеряв осторожность, не смущаясь открытых дачных окон и расставленной за каждым кустом охраны, они во весь голос обсуждали будущие кадровые замены в Кремле, затрагивающие и парламент, и правительство.

На пост премьер-министра вместо Павлова собирались назначить Назарбаева. «Силовых» министров — шефа КГБ Крючкова и министра внутренних дел Пуго — незадолго до этого потребовавших в ультимативной форме от Президента чрезвычайных полномочий, имелось в виду отправить в отставку.

Ночной «пир победителей» в Ново-Огареве обошелся дорого. Их беспечность позволила шефу охраны Горбачева, начальнику КГБской «девятки» Юрию Плеханову на следующий же день доложить своему руководителю Крючкову детали кадровой перетряски, назначенной вслед за подписанием нового Союзного договора 20 августа. Тем самым дата организации антигорбачевского путча оказалась установлена им самим — часовой механизм подготовки августовского взрыва был запущен.

В застойные брежневские времена госдачи широко использовались для «творческой» работы по обслуживанию вождей. Здесь месяцами жили помощники и консультанты аппарата, готовя доклады к очередному торжественному юбилею, модернизируя канонические призывы к 1 мая или к 7 ноября, призванные воодушевлять трудящихся, либо составляя материалы к пленумам ЦК, знаменовавшим новый этап — то ли в развитии сельского хозяйства, то ли химизации страны, то ли в интернациональном воспитании советских граждан.

Аппаратные «дачники» любили эти служебные командировки на природу. В партийных пансионатах ца-

рила обстановка сытного свободомыслия и даже непривычного для иерархической системы демократизма. Облачившееся в спортивные костюмы начальство, без секретарей и охраны становилось не только доступнее, но и благосклоннее к самым радикальным идеям аппаратных либералов, охотно участвуя в вечерних застольях. Два-три раза в неделю на дачах крутили американские боевики, а обслуживающий персонал: машинистки и горничные (большинство из них состояло на службе в «девятке КГБ»), задерживался допоздна, то ли приглядывать за гостями, то ли скрашивать одиночество утомленных политическим творчеством функционеров.

В горбачевские времена продолжительность дачных сезонов резко сократилась. Сам шеф всем дачам предпочитал собственную — семейную, и не любил многочасовых хлебосольных русских сидений за столом или в бане. Главное же, он не нуждался в текстах, подготовленных за него другими. Ритуальные громоздкие доклады и «стратегические» бумаги, для него, как правило, оперативно за 2—3 дня готовило по его тезисам ближайшее окружение: помощники Черняев и Шахназаров, а из членов Политбюро — чаще всего Яковлев. Горбачев появлялся к концу их работы и, переодевшись в свою любимую пеструю вязаную кофту, просматривал текст, выбрасывая машинисткам из-за двери исправленные страницы или передиктовывая целые куски. Дача гораздо больше, чем цековский или кремлевский кабинеты, устраивала его, позволяя вдали от ревнивых глаз остальных членов политического руководства собрать для неформального разговора тех, кто был ему нужнее: экономистов, международников или просто близких по взглядам людей, независимо от их официального положения.

На такой даче — Волынское-II, пристроенной к бывшему сталинскому поместью, собрались весной 1990 г. сразу три бригады «писарей», имевшие каждая свои поручения и своего творческого руководителя. Усаживаясь в обеденное время за длинными, уже заставленными закусками столами, члены групп ревниво поглядывали на партнеров, пытаясь угадать, не соперничают ли они, формулируя по-разному одну и ту же

проблему. Привычка поручать разным командам параллельную работу на одну тему сложилась у Горбачева из-за желания иметь «стереоскопический» взгляд на ситуацию и выбор вариантов — от радикального до консервативного. И никто из истово трудившихся по его тезисам «негров», включая возглавлявших работу его соратников, не знал, в каком костюме, с какой маской на лице и с чьим текстом выйдет на трибуну и обратится к стране их повелитель. На этот раз, судя по составу собранных в Волынском команд, речь шла не о соперниках, а о частях одного большого оркестра, призванного создать и исполнить для Горбачева новую симфонию: парадный выход первого Президента СССР.

Напомню, календарь предшествовавших событий: к зиме 1990 г. важнейший элемент горбачевской реформы — разрушение монополии КПСС на контроль за политической жизнью страны — был в значительной степени реализован. Подпиленная бурной дискуссией на XIX партконференции (вскоре после «дела» Нины Андреевой) и, главное, первыми парламентскими выборами с альтернативными кандидатами, главная опора однопартийной системы зашаталась. Общество быстро входило во вкус обретенной независимости, освобождаясь от прежней униформы, и начинало примерять на себя новые пестрые одежды. Теперь уже удержать разбуженный плюрализм мнений в рамках «социалистического выбора» можно было либо ценой возвращения вспять и отказа от разномыслия, либо путем перехода от «реального» социализма к «социализму без берегов». Это, собственно, и предлагал сделать Яковлев: считать социализмом «все, что работает на интересы народа». Отсюда оставался один шаг до знаменитой формулы Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».

К этому времени уже встал на ноги и делал первые, все более уверенные шаги, на помочах своего спикера Горбачева всесоюзный парламент. Его депутаты постепенно открывали для себя свою новую легитимность, еще не решаясь поверить в то, что они неподвластны никому, кроме собственных избирателей. Существование в этих условиях «данной от бога» единственной

партии, надзирающей за обществом, становилось очевидным архаизмом. 6-я статья брежневской Конституции, определявшая КПСС как «ядро советской политической системы», все чаще вызывала резкую критику со стороны радикальных демократов в печати, возмущение и свист — на политических митингах.

Первым о «веревке в доме повешенного» — в кремлевском зале, где собирались пленумы ЦК, — заговорил Вадим Бакатин, бывший горбачевский министр внутренних дел, настолько раздражавший консерваторов, что Генсеку пришлось заменить его на Бориса Пуго. Под шум и улюлюканье зала Бакатин мужественно предложил самому партийному руководству выступить с инициативой отмены 6-й статьи конституции, то есть превращения Партии в одну из партий еще неясного политического спектра, не дожидаясь неизбежного обсуждения этого вопроса в парламенте. Бакатина чуть было не согнали с трибуны (хорошо представляю себе его состояние, поскольку через полтора года, в июле 1991 г., я оказался в подобной ситуации, выступая с той же трибуны, в том же самом зале). Но он до конца выполнил в присутствии загадочно молчавшего Горбачева свою роль камикадзе: снял табу с доселе запретной темы. Это позволило Генсеку три месяца спустя уже почти безболезненно добиться от того же Пленума покорного «единодушного» признания неотвратимого: обращения к мартовскому Съезду народных депутатов с предложением изъять пресловутую 6-ю статью из текста Конституции.

Зимой же весь сценарий будущих событий находился еще в пробирке. Тогда меня и моего бывшего институтского преподавателя, профессора международного права и бывшего посла в ЮНЕСКО Вадима Собакина, ставшего моим коллегой по Международному отделу, пригласил для «личного» разговора Александр Яковлев. «Значит, так, мужики, — с ходу сокращая разделявшее нас пространство номенклатурной иерархии, начал он, — пора подумать о введении на Руси президентской власти. Изучите зарубежный опыт и дайте политическое обоснование».

Оно было более, чем очевидным. Партийная опора одноногого идеологического государства не могла

больше выдерживать его вес. К тому же ее методично подтачивал сам Генсек, рассчитывая подвести под все сооружение прочный фундамент власти, избранной народом. По его расчетам, полностью освобождаться от партийного костыля было рановато: новая демократическая структура еще не окрепла, не сцементировалась и могла не выдержать тяжести здания. Но его торопили — и события, и не желавшие укладываться в умозрительный график нетерпеливые демократы, учуявшие близость власти и отказывавшиеся ждать ее как подарка к празднику. Ни то, ни другое сдерживать было уже невозможно: ледниковый панцирь системы, подтопленный реформаторским проектом, нельзя было аккуратно спустить с горы по едва подготовленным желобам, он неизбежно должен был сорваться вниз лавиной.

Горбачев и его единомышленники тем не менее еще надеялись (что еще им оставалось!), что инерция послушания в обществе достаточно сильна, чтобы управлять им даже в переходную, переломную пору при одном условии: своевременной замены фуражки на голове водителя (или предводителя). Вместо демократической кепки Генсека пролетарской партии ее должен был увенчать плюмаж первого советского президента. Видимо, Горбачев искренне верил в свою харизму или звезду, если считал, что на время, пока под государство, взамен партийной сваи, будут подводить новые демократические столбы, он сможет, подобно Атланту, удерживать его исключительно на своих плечах. Однако последующее развитие событий, как он пожаловался в Лаче Миттерану, показало, что «критическая стадия наступила раньше, чем мы рассчитывали».

«Собирается ли он, став Президентом, оставаться Генеральным секретарем?» — поинтересовался я у Яковлева. Мне казалось, что Горбачеву уже давно пора избавиться от бремени этого, обращенного в прошлое, титула и перестать стоять сразу на двух льдинах, которые все дальше расходились друг от друга, угрожая разорвать его самого. Видимо, Яковлев придерживался того же мнения, но лояльность по отношению к лидеру их общего проекта не позволяла ему обсуждать их расхождения с другими (по крайней мере, на том этапе).

«Он считает, что не может бросить партию с ее миллионами членов на произвол судьбы. Во-первых, это значит отдать целую армию в руки противника. Кроме того, в ней много честных людей, и если Президент не защитит их, то на следующий день после отмены 6-й статьи толпы пойдут громить партийные комитеты», — ответил Яковлев, давая понять, что такова позиция Горбачева и, стало быть, на сегодня и его самого.

Через пять дней мы с Собакиным принесли ему толстую папку — в ней, кроме политических аргументов в пользу введения поста Президента СССР (одновременно с отменой 6-й статьи), находился первый вариант конституционного закона о распределении полномочий между президентом, парламентом и правительством. Мы привели примеры, иллюстрирующие статус Президента в США, во Франции и в единственной президентской республике Восточной Европы — Чехословакии. Наш вариант являлся симбиозом всех трех, но был ближе всех к конституции Французской республики. Очевидно, сказалась наша общая с Собакиным франкофония. Из опыта США мы позаимствовали должность вице-президента, не без оснований угадав кандидата на нее в нашем заказчике — Яковлеве.

Все наши тексты, в переработанном будущими президентом и вице-президентом виде, должны были получить одобрение Политбюро — еще один гандикап Горбачева, о котором нередко забывали его критики, небрежно рассуждая за него. В сущности, большую часть отпущенного ему срока он вынужден был фехтовать как бы с привязанной за спиной рукой. Иначе ему надо было бы встать на сталинский путь ночных арестов несогласных с ним собственных коллег. Глядя из сегодняшнего дня, маневры предосторожности и уловки Горбачева и его команды могут показаться неоправданными. Может быть, правы теперешние громкоголосые радикалы, которые, снисходительно признавая за Горбачевым «определенные заслуги», обвиняют его в непоследовательности, перестраховке и политической робости?

Я не берусь судить его, не побывав в то время «в его шкуре». Хочу только напомнить: чтобы голоса этих ре-

шительных критиков Горбачева могли сегодня так беспрепятственно звучать, именно он, а не они, первым вышел один на один с системой, безжалостно искоренявшей не только протест или несогласие, но даже вслух выраженное сомнение. И, конечно, никакой официальный статус, включая должность Генсека, не защитил бы пробравшегося к рычагам власти «диссидента», если бы система вовремя разгадала в нем своего смертельного врага.

Даже после шести лет перестройки в Политбюро, состоявшем уже из подобранных им самим членов, генсек-ликвидатор неизбежно оставался в меньшинстве и в изоляции, находясь под постоянной угрозой смещения. Что же говорить о Политбюро, унаследованном им от Черненко, которое рассчитывало и дальше править страной руками нового Генсека. Вспомним слова Громыко, рекомендовавшего Горбачева в марте 1985 г. на должность Генерального секретаря, звучавшие не как его характеристика, а как директивное поручение и наказ: «Михаил Сергеевич — человек принципов и твердых убеждений. Я за него ручаюсь. Он всегда стоял за самое святое для нас всех: поддержание безопасности».

И что другое мог сказать в тот день Горбачев, зная, какого ответа ждут от него собравшиеся в Кремле старцы, как не то, что «стратегическая линия, выработанная на XXVI съезде КПСС, была и остается неизменной», и заверить генералов, составлявших около четверти состава ЦК, что «наши доблестные Вооруженные Силы будут иметь все необходимое». Многое бы отдали дожившие до нынешних дней члены Политбюро и ЦК, как и тогдашние начальники «доблестных Вооруженных Сил» и служб безопасности за то, чтобы вернуть то время, когда еще можно было не допустить к руководству партией или безболезненно отстранить от него человека, согласившегося, в отличие от Черчилля, «председательствовать на похоронах» партийной империи.

Не знаю, каким способом удалось-таки Горбачеву уговорить Политбюро дать ему «вольную»: выпустить из капкана своего большинства под более надежную крышу Верховного Совета. Так же, как и месяц спустя,

в феврале — убедить Пленум ЦК собственноручно подписать политический приговор единственной партии, одобрив аннулирование 6-й статьи о ее монопольной государственной роли, записанной в Конституции. Дорога к внеочередному Съезду народных депутатов, который должен был «выкупить» у Горбачева эту статью за согласие провозгласить его Президентом, была открыта.

Мы же, в преддверии съезда, под водительством Яковлева отправились в Волынское, где и обнаружили еще две бригады «дачников». У каждой имелось свое дело: Георгий Шахназаров трудился над юридическими аспектами государственной реформы, Николай Петраков вместе с Григорием Явлинским разрабатывал экономическую программу перехода к рынку. На Яковлева и на нас, его «негров», Горбачев возложил щепетильную миссию: составление политического календаря «100 первых дней Президента СССР».

Кто подсказал эту идею Горбачеву? Возможно, один из тройки международников: Примаков, Фалин или Яковлев (он тоже относил себя к международникам после 10-летней ссылки в Канаду) — именно они в эти недели были его наиболее близкими политическими советниками. По крайней мере, у них могло сложиться такое впечатление. Кто на самом деле, за исключением Раисы, являлся привилегированным советчиком Горбачева, сказать трудно, если не невозможно. Скорее всего никто, хотя он обладал подлинным талантом создавать у собеседника, пытавшегося его в чем-то убедить, иллюзию того, что это ему удалось. Но никто и никогда не мог быть в этом до конца уверен. «Я слушаю всех, — любил повторять Горбачев, — но решения принимаю сам». Так оно и было — во благо или во вред ему самому.

Идея «100 дней» носила слишком «импортный» характер, правда, и титул Президента звучал по-русски не многим лучше. Вдохновляясь великими зарубежными примерами, мы взялись за работу и за несколько дней слепили из накопившихся неотложных проблем, предложений разных ведомств, общественных деятелей и организаций, а главное, собственных представлений об идеальном российском президенте-реформаторе, вели-

чественный портрет-робот, сочетавший в себе черты Петра Великого, Франклина Д. Рузвельта и Де Голля с некоторыми особенностями самого Горбачева. (В конце концов, главные направления этой работы он сформулировал и передал нам через Яковлева сам.) Особенно хотелось наделить будущего Президента СССР теми качествами, которых, как нам казалось, недоставало Горбачеву для того, чтобы не отставать от приобретших собственную динамику общественных процессов и решительнее двинуть их вперед, укрепляя свое лидерство.

Перечитывая эту программу сегодня, видишь, что она была скроена для человека другого характера и иных качеств, чем Горбачев, — более авторитарного и бескомпромиссного, жесткого по отношению к своим явным противникам и методичного до деталей в осуществлении практических дел. Лидера, который был бы скорее правителем, чем воспитателем общества, и его вождем, чем духовником. Быть может, обладай Горбачев именно этими качествами, мы бы навязывали ему прямо противоположные, хотя в этом случае он не стал бы спрашивать ни нашего, ни чьего-либо другого совета.

Увенчать свое напутствие Президенту мы решили кратким и выразительным девизом, который должен был стать символом эпохи, связанной с его именем. Напомнив о прецедентах — «New Deal» у Ф. Д. Рузвельта и «Великое общество» у Л. Джонсона — мы предложили свой: «Справедливость, Демократия, Закон». Расписанная по темам и неделям первых 100 дней Программа первоочередных мер Президента СССР была, конечно, адресована не реальности страны, — ее изменить не удалось бы ни за 100 дней, ни за 1001 ночь. Мы обращались к самому будущему Президенту, призывая его откликнуться на ожидания страны, которая, устав от нескольких лет обещаний перемен, требовала от власти практических дел и поступков. Мы предлагали использовать переход наследного Генсека в статус легально избранного Президента для избавления от партийной скорлупы и окончательного разрыва с прошлым. Что для Горбачева означало рвать с самим собой.

В последний день нашей работы он приехал в Волынское и с явным удовольствием, словно примеряя на себя будущее президентское облачение, допоздна редактировал наш текст, часто удивляя и восхищая нас радикализмом и масштабностью задуманных проектов. Увы, платье короля так и осталось в примерочной. Подготовленная Программа 100 дней не была ни провозглашена, ни тем более реализована. Та же участь постигла и программу радикальной экономической реформы Петракова, которая позднее выплыла на свет преобразованная Явлинским и Шаталиным в знаменитую Программу 500 дней. Получив в августе 1990 г. поддержку и Горбачева, и Ельцина, она была заблокирована правительством Рыжкова и парламентом Лукьянова.

Главные события в эти дни происходили не на даче, а в Кремле. Начавшийся 12 марта 1990 г. чрезвычайный Съезд, отменив с большим воодушевлением «однопартийную» статью в Конституции, неожиданно перестал быть покладистым, и запланированное автоматическое производство в Президенты Генсека, теперь уже не единственно возможной партии, забуксовало. По проекту, предложенному Собакиным и мной, Президент, чтобы возвышаться над парламентом и правительством, должен был избираться, разумеется, прямым общенародным голосованием, как и записано в Конституции. Чтобы омолодиться будущему Президенту, как герою русской сказки, надо было окунуться в кипящий котел народного мнения. Но Горбачев не хотел рисковать. На первый раз, исходя из чрезвычайных обстоятельств переходного периода, для Горбачева имелось в виду сделать исключение: избрать его не на всеобщих выборах, а на съезде. Генсек не выпускал его из своих объятий.

Когда я пришел к Яковлеву в его комнату в Волынском, он сидел, вытянув, как обычно, раненную на фронте и несгибавшуюся ногу. «По-моему, Горбачев совершает ошибку, — начал я, — ведь он лишает себя всенародного мандата». — «А ты уверен, что он выиграет выборы?» — с неожиданным сомнением в голосе спросил меня кандидат в вице-президенты.

«Если выйдет к народу и поставит свою судьбу на

кон, покажет, что демократия в стране, ради которой вводится эта должность, ему важнее собственного шанса стать президентом, — тогда, уверен, он выиграет. Сегодня у него пока еще нет конкурентов, включая Ельцина». Как часто бывало, когда я пытался убедить Яковлева в том, в чем убеждать его не требовалось, он не спорил, хотя вслух и не соглашался, словно оставляя услышанное для внутреннего диалога с самим собой. А может быть, и с Горбачевым — ведь в течение долгих лет перестройки это был его главный ежедневный собеседник.

Их диалог и политический союз начался, как любовный роман — ударом молнии, — обретением друг друга в мае 1983 г. во время приезда Горбачева, тогдашнего секретаря ЦК по сельскому хозяйству, за опытом в Канаду. Опальный «зубр» партийной номенклатуры, Яковлев уже который год томился на этом второстепенном дипломатическом посту. Лишь изредка он отводил душу в беседах со своим соседом Анатолием Добрыниным, тоже состарившимся на посольской должности в США из-за того, что Громыко не желал возвращения в Москву реального претендента на его министерский пост.

Знакомство с Горбачевым (забросив официальную программу и забыв о канадском сельском хозяйстве, они часами говорили о России) стало для Яковлева, как в свое время для другого российского либерала, графа Михаила Сперанского, обретением своего Александра I. Благодаря Горбачеву он мог рассчитывать не просто на возвращение в активную политику, но получал шанс внедрить в отечественную реальность свои затаенные идеи и реализовать самые смелые надежды (и иллюзии). Став Хироном при молодом советском Ахилле, Яковлев передал ему и свой неоценимый номенклатурный опыт и буйную политическую фантазию. Он нередко ворчал на своего трудного воспитанника, который чем дальше, тем меньше нуждался в нем и все реже советовался, ревновал к его национальной и мировой славе, затенявшей его собственную политическую и интеллектуальную роль.

Однажды Яковлев с откровенной обидой пожаловался мне, что Горбачев специально не дает ему сделать «ленинский доклад» (ритуальное ежегодное теорети-

ческое выступление в годовщину рождения Ильича): «Боится, что у меня получится глубже и интереснее, чем у него». Тем не менее он признавал главное: «Он (Горбачев) может то, чего я бы никогда не смог». Имелось в виду поразительное тактическое мастерство Горбачева, способность к виртуозным политическим маневрам, которые, оставляя в растерянности его оппонентов, заставляли их маршировать против собственной воли в нужном ему направлении. «Я бы сто раз сорвался, — говорил Яковлев, — и сцепился бы с этими подонками, а он ухитряется с ними работать».

В самый трудный, отчаянный этап политической карьеры Горбачева после августовского путча Яковлев вернулся к нему в Кремль, простив ему (хотя, я думаю, не до конца) очередную и на этот раз непростительную «измену». Накануне путча, когда Президент уже находился в отпуске в Форосе, Комиссия партийного контроля открыла «дело» против Яковлева, подтолкнув его к выходу из партии. Формально Генсека не информировали об этой политической провокации, и он промолчал, отдав тем самым своего старого союзника на расправу консерваторам, давно жаждавшим его крови.

Вот и сейчас, выслушав мои доводы и в очередной раз промолчав, Яковлев на следующий день на драматическом заседании Съезда в Кремле, уже зная, что не будет вице-президентом, вместе с другими авторитетами демократической общественности — Лихачевым, Залыгиным, Травкиным, Собчаком — вышел на трибуну, чтобы уговорить депутатов избрать Горбачева Президентом немедленно, без всенародного голосования. Съезд уважил эти ходатайства и 15 марта 1990 г. избрал в «порядке исключения» Генсека правящей партии первым Президентом страны. На этом посту, в соответствии с измененной Конституцией, он должен был оставаться до 1995 г. Горбачев пробыл на нем чуть более полутора лет. Его несостоявшиеся «100 первых дней» очень скоро превратились в 100 последних.

Слабость, которую он проявил, не решившись пойти на всеобщие выборы, дорого ему обошлась. В декабре 1991 г. Горбачев вынужден был уступить Кремль «полновесному» российскому президенту, получившему на выборах голоса подавляющего большинства избирате-

лей, благодарных ему уже за то, что он дал им возможность его избрать. Из-за того, что в апреле 1990 г. во время ледохода Горбачев не решился прыгнуть на льдину, которая могла бы переправить его на другой берег реки, в августе следующего года бурное течение событий сбросило его в воду, и его с головой накрыла волна перемен, поднятая им самим.

КРЕМЛЬ. МОСКВА. АВГУСТ 91-го

Когда телефонный звонок врывается в ваш сон, на некоторое время он становится его частью. В первые мгновения после такого насильственного пробуждения сама реальность воспринимается как продолжение сновидения. Особенно если она неправдоподобна. Зазвонивший телефон и голос мамы, сказавший: «Горбачева арестовали», напрочь отбивали охоту проснуться. Первое слово, которое я скорее услышал внутри себя, чем произнес, было: «Доигрались!» Видимо, оно подсознательно жило во мне вместе с тоскливым предчувствием того, что однажды удачливый сон перестройки прервется грохотом сапог и барабанным боем.

Я включил радио. Вперемежку с сообщениями о внезапном «заболевании Горбачева» и первыми декретами ГКЧП передавали лукавое заявление спикера парламента Лукьянова. Из него следовало, что, хотя Президент ему старый друг, спасение Отечества дороже. Оглядевшись по сторонам, я наконец сориентировался не только в политике, но и в пространстве: вспомнил, что нахожусь в отпуске на даче, примерно в 50 км от Москвы и что бежать и торопиться некуда. «Первый день они потратят на отлов горбачевцев в Москве, — подумал я. — К вечеру или скорее всего завтра доберутся сюда. Значит, есть по крайней мере день на то, чтобы понять, имеем ли мы «чилийский вариант» или какое-нибудь «российское блюдо». Тем более что телефон, даже международный, как ни странно, работал. Это немедленно подтвердил французский журналист Бернар Гетта, дозвонившись в 7 утра из Парижа. Я дал ему, пожалуй, самое раннее в своей жизни интервью.

Происшедшие события я назвал путчем, исход кото-

рого будет зависеть от реакции населения в Москве и, может быть, еще больше в республиках. Однажды я уже использовал термин «переворот» в интервью «Монду», назвав так создание Российской компартии и избрание ее лидером лигачевского ставленника Ивана Полозкова. Помню, тогда я пытался объяснить, что в русском языке, в отличие от французского, это слово может означать переворот политический, а не государственный. Сегодня он стал таким.

Исходя из тональности деклараций ГКЧП, можно было предположить, что стрелять начнут не сразу, для начала попробуют напугать так, чтобы этого не понадобилось. И тогда можно спокойно проводить Пленум ЦК по образцу октября 1964 г. и освобождать заблудшего Генсека «по его просьбе». Значит, надо готовиться к Пленуму, ведь я — член ЦК. Этой неожиданной для меня чести я удостоился за год до этого на XXVIII съезде КПСС, когда Горбачев, как истинный «легальный марксист», дождавшись съезда, приступил наконец, (увы, слишком поздно) к насыщению партийного руководства своими кадрами. Правда, на этом же съезде из партии, вслед за Ельциным, вышла группа не дождавшихся внимания Горбачева наиболее радикальных партийных диссидентов, и в ответ на агрессивные атаки консерваторов, свернув свое знамя, покинул Политбюро Александр Яковлев.

Зайдя к нему после выборов, чтобы поблагодарить «за доверие», я спросил: «Вы что же с Михаилом Сергеевичем формируете из нас похоронную команду? Или арьергардный отряд для прикрытия отступления главных сил?» — «Ты знаешь, я устал, — ответил Яковлев. — В свое время я советовал Горбачеву разделить партию пополам: на социал-демократов и консерваторов. Он сказал, рано. А теперь, я думаю, поздно». Я пытался возразить ему, сказав, что, если бы он сам, не спрашивая Горбачева, поднял свой флаг, за ним со съезда ушла бы наиболее динамичная и, главное, молодая часть партии. Бывший член Политбюро только махнул рукой. (Несколько месяцев спустя вместе с Шеварднадзе, согласовав-таки это с Горбачевым, он предпринял попытку основать новую партию, однако из этого ничего не вышло.)

Мой опыт участия в предыдущих Пленумах ЦК не обнадеживал. Все более агрессивно настроенное большинство требовало уже не «крови», а головы Горбачева и вынудило-таки его в апреле 1991 г. выбежать на трибуну со словами: «Все, хватит. Ухожу в отставку. Сколько можно быть Генсеком сразу двух, трех или даже пяти партий!» Тогда струсившее Политбюро, да и сам ЦК упросили его остаться. Они понимали, что Горбачев — единственный, кто защищает их от остальной страны, да и хотели, собственно, не уволить его, а просто приструнить. К июлю ситуация накалилась еще больше. Горбачев предложил откровенно социал-демократический проект новой Программы партии. Его замысел был очевиден: «Кто не согласен, пусть уходит». Но уйти, значило отдать кабинеты, машины, дачи, власть. Разве аппарат согласится на это добровольно?

За неделю до июльского Пленума «Советская Россия», уже не скрываясь за подписью Нины Андреевой, напечатала «Слово к народу» — открытый призыв отобрать власть у парламента и вернуть ее партии и «патриотическим» силам. На этот раз я решил не писать записок начальству, а, дождавшись прений, попросил слова. «Раз вы меня выбрали, извольте выслушать», — говорил я мысленно залу и президиуму, поднимаясь на трибуну как на баррикаду. Спустя два дня, опубликовав текст моего выступления, «Правда» в скобках пометила: «шум в зале». Мягко сказано. Зал взревел, стоило мне назвать статью в «Совраске» дестабилизирующей положение в стране. Переждав выкрики и топот, я закончил речь словами: «Мне бы не хотелось дождаться того дня, когда аббревиатура КПСС будет расшифровываться как Консервативная Партия Советского Союза, ибо тогда на смену реформаторам к власти неизбежно придут радикалы». К несчастью, не прошло и месяца, как радикалы действительно пришли. Сначала коммунистические, потом демократические — и тех и других можно смело брать в кавычки.

Поскольку в первый день на дачу за мной никто не приехал, я отправился в Москву сам. У Васильевского спуска за храмом Василия Блаженного, взяв под прицел Спасскую башню, стоял танк. Почему-то ее куранты продолжали оставаться излюбленной мишенью всех

осаждавших Кремль. Рядом два бронетранспортера. Раньше они появлялись на Красной площади по праздникам, участвуя в военных парадах. Сегодня Москва выглядела оккупированным городом и напоминала Прагу-68 или Сантьяго-73. Проехав мимо Лобного места улицей, по которой везли на казнь Степана Разина, я добрался до офиса Аркадия Вольского, с которым на Пленуме в апреле мы составляли Заявление 72-х членов ЦК, собравшихся вместе с Горбачевым покинуть беломраморный зал в Кремле, украшенный статуями рабочих, крестьян и космонавтов.

Вольский рассказал мне, что в воскресенье, 18 августа, когда он отдыхал на даче, раздался «странный звонок» от Горбачева из Фороса». Он спрашивал меня, не собираюсь ли я в Москву, не слышал ли, что там происходит. Видимо, он смог дозвониться сразу, после навестившей его депутации от ГКЧП и еще до отключения всех телефонов. Когда я спросил, как его самочувствие, Горбачев пожаловался на радикулит, но сказал, что ему уже лучше. Прощаясь, загадочно добавил: «Береги себя».

Вольский, таким образом, оказывался ключевым свидетелем против лживого заявления ГКЧП о неспособности Горбачева выполнять свои обязанности «по состоянию здоровья». Он собирался идти в Кремль к Примакову, одному из немногих членов Президентского совета, находившемуся в Москве, договариваться о том, как пробиться к Президенту. «Ты должен сохранить себя для выступления на Пленуме или в Парламенте. Смотри, как бы тебя не нейтрализовали», — предупредил я его. Аркадий Иванович, достав из сейфа пистолет, — напоминание о его двухлетнем пребывании в Карабахе, — задумчиво разглядывал его, решая, брать с собой или нет. «Собираешься штурмовать Кремль? — Я хотел разрядить тягостную атмосферу. — Имей в виду, даже если ляжешь у кремлевской стены, все равно в ней не похоронят». С сожалением Вольский положил пистолет в папку с бумагами и запер обратно.

В ЦК, куда я пришел, царила боязливая тишина. Заведующий Международным отделом Фалин был на экстренном заседании Политбюро — его проводил в

отсутствие Горбачева его заместитель Владимир Ивашко. Через пару часов Фалин появился в приемной в рубашке без галстука и кроссовках: у него болела нога и он приехал с дачи, не переодевшись. По словам Фалина, «партия не была посвящена в планы» готовивших путч, хотя среди членов ГКЧП было два секретаря ЦК — Олег Бакланов, отвечавший за военно-промышленный комплекс, и оргсекретарь Олег Шенин. На Политбюро договорились послать телеграммы местным секретарям, с указанием обеспечить спокойствие и порядок, чтобы избежать возможных конфликтов с армией.

«А как же с политической оценкой событий? Ведь это же авантюра! И что будет с Горбачевым?» — спросил я. «Он сам виноват, — ответил Фалин. — Мы его предупреждали, что он спровоцирует военных, да и партию он уже ни во что не ставил. А авантюра или нет, в ближайшие дни увидим», — меланхолично вздохнул он. Похоже, рана на ноге беспокоила его больше, чем исход августовского катаклизма.

В ожидании того, как повернутся события, Политбюро решило не собирать Пленум, «чтобы не расколоть партию». Подобным же образом, рассчитывая выйти из кустов, когда все станет ясно, тянул с созывом сессии парламента — единственной законной власти, которая могла бы утвердить или отменить чрезвычайное положение, — осторожный Лукьянов. Тем временем путч начал выдыхаться. Собственно говоря, он провалился, как только люди поняли, что в них не будут стрелять и без разбора бросать в тюрьмы и что можно не только иметь, но и высказывать свое мнение о происходящем.

Хунта, намеревавшаяся вернуть страх, как способ управления страной, сама испугалась возможного кровопролития. Растерявшись из-за решительного отказа Горбачева иметь с ними дело, не зная, как вести себя дальше и не отваживаясь прыгнуть в пучину массового террора, путчисты заколебались. Потом объявили заведомо нереальный комендантский час в Москве. Но их уже не боялось ни население, ни телевидение, воспитанное гласностью, которое после указов ГКЧП дерзко

передало репортаж из Белого дома, показав Ельцина на танке, перешедшем на сторону демократов.

Когда вечером мне позвонил из Праги советник-посланник Александр Лебедев и сказал, что вместе с послом Борисом Панкиным они собираются выступить с осуждением переворота, я ответил: «Пока здесь патовая ситуация, но достаточно даже символической крови и первых жертв, чтобы хунту смели, как в Бухаресте». Этой же ночью под гусеницы танков и шальные пули перепуганных солдат попали трое юношей из числа защитников Белого дома. Шок и возмущение москвичей заставили путчистов отступить. Государственный переворот не удался. Его организаторы бросились на аэродром, чтобы лететь в Крым к Горбачеву — то ли брать его в заложники, то ли скрываться под защиту ими же низложенного президента.

Поздно вечером Горбачев вернулся в Москву. И совершил свою первую после путча политическую ошибку: вместо того, чтобы с аэродрома поехать к ждавшим его защитникам Белого дома — ради его возвращения они, безоружные, встали против танков — он отправился отдыхать на дачу. Не нашел он дороги к стряхнувшей с себя кошмар возвращенного тоталитаризма стране и через два дня: во время пресс-конференции, не успев вдохнуть воздух свободы, которым уже дышали люди, Горбачев повторял доавгустовские слова о «социалистическом выборе» и защищал партию, отступившуюся от него как от предателя.

Собственно говоря, партия как живой политический организм уже давно не существовала. Кто ее убил? Все вместе: и Ленин, вручивший партии «нового типа» монополию на государственную власть. И Сталин, расстрелявший одну ее половину и обюрокративший другую. И их преемники, превратившие ее в инструмент удержания власти и способ делать карьеру. И Лигачев с Полозковым, призывавшие аппарат «выйти из окопов». И сам Горбачев, лишивший еще живую часть партии шанса ассистировать ему в демократизации страны. Оставшийся воздух выпустили из ее оболочки последние обитатели 2-го подъезда, сделавшие партию соучастницей жалкого путча и тем самым бесславно завершившие ее историю.

Правящий класс Советского государства, собранный под ее знаменами, оказался, в сущности, таким же бездарным, как и верхушка царского режима, чьи роковые ошибки он почти буквально повторил. Не сумев адаптироваться к новой реальности страны, он только тупо ей противостоял и яростно сопротивлялся любым переменам, подготовляя взрыв народного протеста и собственный позорный уход с политической сцены.

За безответственность и фиаско вождей пришлось сполна расплатиться партийной «пехоте»: миллионам рядовых и подчас наиболее активных, грамотных, компетентных и самоотверженных граждан. Кому — незаслуженным унижением, кому — вынужденной отставкой, большинству же — глубоким разочарованием в политике и нравственным кризисом.

Объединив в своих рядах одновременно и лучшую, и худшую часть общества, партия разбилась, как термометр, и вылившаяся ртуть мелкими шариками раскатилась в разные стороны. Приспособленцы из бывшей партийной номенклатуры, перекрасившиеся в правоверных демократов и даже ярых антикоммунистов, закрепились в новых властных структурах. Административная элита, сбросив условности прежней идеологии, погрузилась в стихию дикого рынка, присваивая ту часть общественной собственности, которой раньше управляла и трактуя предпринимательство как лицензию на легальную коррупцию. Обозленные внезапным отстранением от власти и ее щедрот функционеры, начали сколачивать армию политического реванша, при влекая в союзники националистов и фашистов и используя недовольство маргинализируемого общества.

В худшем положении оказалось незначительное меньшинство, верившее — нет, не в коммунистический рай, а в то, что семидесятилетний опыт надежд и разочарований, накопленный страной, окажется все же не напрасным и послужит строительным материалом для более современного и справедливого общества. Эти люди потеряли больше других — они утратили не только идеалы, а саму надежду на них. Большинство же членов, оказавшихся в партии — кто, следуя политическому обычаю, кто из бытового расчета или в силу конформизма, — простилось с ней, как прощаются с

отжившим свой век, давно и безнадежно больным родственником, то есть почти равнодушно, если не с облегчением, грустя не столько об усопшем, сколько об ушедших годах совместно прожитой жизни.

Тем не менее скончавшегося требовалось официально похоронить. Эта церемония состоялась 24 августа в Кремле в круглой гостиной под названием Ореховая, непосредственно примыкавшей к приемной Горбачева. Там и встретились мы — восемь членов ЦК, пришедшие пешком из-за того, что в центре города движение транспорта было запрещено, чтобы вручить Генсеку заявление, с которым вечером собирались выступить по телевидению. В нем мы высказали то, что должен был сделать так и не состоявшийся последний Пленум ЦК: признать ответственность партии за исторический кризис, в который ввергло страну несколько поколений ее руководителей, предложить партии самораспуститься и призвать сторонников левых взглядов и социалистических убеждений создать новые структуры для демократической борьбы за их реализацию. Редактировать свое заявление мы заканчивали уже в Кремле, усевшись за большим круглым столом, когда в Ореховую вошел Горбачев.

Наша встреча с ним напоминала дипломатическую церемонию обмена официальными договорами. Мы вручили Генсеку свой текст, он, прочитав его, молча положил перед нами заявление о сложении с себя обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС. Этот акт политического отречения Горбачев сопровождал Указом Президента СССР о взятии под охрану государства партийных комитетов и прочего необъятного имущества КПСС: «Чтобы не разгромили и не разграбили», — пояснил он.

Я впервые видел Горбачева после возвращения из Фороса и был поражен, заметив в его глазах то, чего раньше никогда не было: тоску и одиночество не Президента, чудом избежавшего заточения, а человека, пережившего предательство и, быть может, в первый раз потерявшего веру в непременный успех своего замысла. Такой же затравленный взгляд был у него при очной ставке с российским парламентом, в агрессивной и оскорбительной форме предъявлявшим ему счет

за августовский путч и пережитый страх. Руководивший этим политическим развенчанием Горбачева Ельцин торжествующе и мстительно брал реванш за унижение, которому четыре года назад был подвергнут сам на Пленуме Московского горкома, снявшем его с должности партийного секретаря.

Позже я спросил Президента, почему он не ушел, а остался в зале, где его распинала толпа, и сносил оскорбления со стороны людей, не имевших в большинстве своем никакого отношения ни к победе над путчистами, ни к защите демократии. Он ответил: «Знаешь, рассуждая по-человечески, по-мужски, надо было хлопнуть дверью и послать их всех... Но когда я вгляделся в их лица, в глаза, где увидел только непримиримость и ненависть, я решил, что не могу оставить их наедине с самими собой».

Августовский путч убил не только партию. Помимо погибших молодых демонстрантов, были и другие жертвы. В своем кабинете, в Кремле, поздно вечером покончил с собой военный советник Горбачева, бывший начальник Генштаба Советской Армии, маршал Сергей Ахромеев, боевой офицер, прошедший Великую Отечественную и афганскую войны. Трудно сказать, что послужило причиной: поражение ли переворота, к военному планированию которого он оказался причастен и перспектива держать за это ответ перед победителями и Президентом или психологический кризис? В оставленной записке он написал, что не может вынести, что рушится все, чему он посвятил свою жизнь.

Застрелился у себя дома, оставив письмо с признанием своей ответственности за участие в путче, министр внутренних дел Борис Пуго, после того, как по телефону ему сообщили, что его едут арестовывать представители российской прокуратуры. Вслед за ним покончила с собой его жена[1].

Задержание остальных членов ГКЧП обошлось без столь драматических развязок. Часть из них была арес-

---

[1] Эту серию самоубийств продолжили в последующие дни два бывших управляющих делами ЦК КПСС — Николай Кручина и Георгий Павлов, а также заведующий сектором Международного отдела Дмитрий Лисоволик. Все они по странному совпадению избрали один путь ухода из жизни — бросившись с балконов. Давний и близкий знакомый Горбачева — Кручина, оставил записку: «Я трус, но не мошенник».

тована на аэродроме после возвращения из Крыма, куда они прилетели с повинной головой к Горбачеву Остальные покорно дожидались своей участи в Москве. Когда Горбачева в самолете спросил сопровождавший его Александр Руцкой, не нужны ли меры предосторожности при задержании вице-президента Янаева, тот сказал: «Ничего не надо, я ему позвоню, проблем не будет». Так и произошло. Арестовывать Янаева в его кабинет в Кремле (как мне как-то говорил сам Янаев со смешанным чувством ужаса и гордости, в сталинские времена он принадлежал Лаврентию Берии) по поручению прокурора явились два советника Горбачева — Ярин и Карасев. В кабинете они обнаружили разбросанные личные вещи и одежду Янаева. Сам вице-президент, закрывшись с головой, лежал на тахте в задней комнате. По словам Ярина, он даже заподозрил, что Янаев последовал примеру Пуго, своего бывшего коллеги по ЦК комсомола. К счастью, тот всего лишь крепко спал. Когда Янаев потянулся за одеждой, Ярин из предосторожности выхватил у него пиджак, опасаясь, что в нем пистолет. Однако оружия при вице-президенте не оказалось.

Позднее, когда у нас с Горбачевым как-то зашел разговор о предавших его людях, он с особенной горечью отозвался об измене своего университетского друга Лукьянова: «Больше всего в людях меня потрясает предательство. Что же касается Язова (министра обороны), то мне жаль старика, — сказал он. — Уверен, что он оказался в этой компании по недомыслию»[1].

Я высказал то же предположение о Янаеве, поскольку давно знал его еще со времен совместной работы в Комитете молодежных организаций. Горбачев подтвердил мне, что тот «сломался после нескольких часов нажима. Его уговорили взять на себя обязанности президента, пригрозив, что армия все равно будет действовать и тогда пролитая кровь ляжет на его совесть».

---

[1] Справедливость этой оценки подтвердил позднее маршал Евгений Шапошников. Он рассказал, как на совещании в Генштабе в первый день путча Язов чертыхался, кляня своих коллег по ГКЧП, «этих пьяниц, втянувших меня в эту историю». Прошедший Отечественную войну Язов, по утверждению Шапошникова, «никогда бы не отдал приказа армии стрелять в мирных жителей».

В Москве, в первые дни после путча, разгулялась анархическая стихия. Толпы людей, не имевших, разумеется, никакого касательства к защите Белого дома, периодически запружали улицы вокруг цековского комплекса и площадь перед зданием КГБ, пытаясь повалить памятник Дзержинскому. По городу даже распространился слух, будто в его постаменте спрятана часть «золота КПСС».

26 августа я, продолжая считать себя в отпуске, на этот раз бессрочном, после подписанного нашей «восьмеркой» в Кремле заявления, в последний раз приехал в 3-й подъезд. Поднявшись в кабинет Фалина (до него его занимали Добрынин, Пономарев, Куусинен и Димитров), я узнал, что сотрудники Международного отдела на собрании обсуждают вопрос об исключении из партии Янаева — он числился членом здешней партийной организации. Мне там делать было нечего. Зайдя к себе, я рассортировал и сложил в папки и бумажные мешки нужные мне бумаги и, пыхтя, — получилась внушительная груда — перетащил все к лифту. Перед тем как запереть кабинет и приемную со своей фамилией на двери, я написал записку: «Будущему владельцу! Желаю успехов! А все-таки вид с этого балкона замечательный!» — и положил ее на стол под стекло.

Панорама, открывавшаяся с моего балкона на 5-м этаже, и впрямь была великолепна: лежащая внизу площадь Ногина с густо-зеленым сквером и недавно отреставрированной церковью, на фоне окутанного дымкой города, шпилей высотных зданий и золотых куполов Замоскворечья. «С такого балкона хорошо произносить речи», — подумалось мне. Однако в этот день показавшиеся на Старой площади первые демонстранты явно не были настроены кричать здравицы в честь партии. Когда я перетаскивал мешки с бумагами в машину, из-за угла уже двинулось внушительное и грозно настроенное шествие, скандировавшее: «Долой КПСС!»

Не желая искушать судьбу, я отъехал. Когда же через час, сотрудники 3-го подъезда, закончив собрание единодушным исключением из партии вице-президента и бывшего члена Политбюро, начали расходиться, им пришлось пройти через плотный кордон возбужденной

и агрессивно настроенной толпы. Из нее тут же выделились добровольцы, начавшие обыскивать всех выходивших на предмет конфискации секретных бумаг и «денег КПСС».

Больше я сюда не возвращался. Моя работа в здании на Старой площади закончилась, и вместе с ней — служба системе, которую олицетворяла партия. Пора было начинать все сначала. Тем более что за месяц до августовских событий мне исполнилось пятьдесят лет

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Мой новый служебный адрес запомнить было нетрудно: Москва, Кремль. Предложение стать помощником Президента и его официальным пресс-секретарем я получил неожиданно. Произошло это в те самые сентябрьские дни, когда я, превратившись в безработного, после ельцинского запрета деятельности КПСС, испытывал скорее наслаждение от впервые в жизни обретенной свободы, чем беспокойство за собственное будущее.

Предложение было тем более неожиданным, что дважды я уже отказывался перейти на работу в аппарат Президента. Первый раз после событий в Вильнюсе, когда наблюдал безнадежную попытку Горбачева обойти правых справа. Помню тогда, после двусмысленного выступления Президента в Верховном Совете по поводу конфликта в Литве, зайдя к Черняеву, сказал ему: «С меня довольно Чехословакии и Афганистана, поэтому согласие возглавить Международный отдел в аппарате Президента, данное накануне, я забираю обратно». Кто-то из президентского окружения неодобрительно назвал это «интеллигентским синдромом». Черняев же в ответ признался, что сам написал в сердцах заявление об уходе, но Горбачев его не принял, сказав ему, что «позже он все поймет».

Второй раз я уклонился от предложения перебраться в Кремль в качестве пресс-секретаря Президента, поскольку не хотел менять свою профессию международника и политическую работу — в то время я был заместителем заведующего Международным отделом ЦК — на придворную должность, среди многочисленной

кремлевской свиты. Получив предложение в третий раз, я задумался. Разумеется, не из-за того, что оказался в непривычном положении безработного. Отказать Горбачеву после августа — значило бы изменить делу, довести которое до конца можно было только с ним. Последние сомнения развеяла моя жена. Она, так сильно противившаяся этому обременительному предложению с неясными перспективами, выслушав меня, вздохнув, сказала: «Ну, что ж, по крайней мере, никто не заподозрит тебя в том, что ты идешь на это ради карьеры». И я пошел в Кремль.

От Президента только что вышел испанский министр иностранных дел. Он был возбужден и состоявшимся разговором, и сообщением о столкновении его самолета при маневрировании на аэродроме в Шереметьеве с самолетом его голландского коллеги. Я, может быть, не к месту пошутив, назвал это новой войной за «испанское наследство». Министры разъезжались из Москвы после конференции по правам человека. Следующим посетителем был я. Понимая, что имею редкий шанс поговорить с Горбачевым не в качестве его подчиненного, я постарался им воспользоваться. Беседа продолжалась больше часа. Президенту, видимо, хотелось получить более полное представление о моем образе мыслей. Мне — высказать ему накопившиеся пожелания и сомнения и уточнить политические условия своего контракта. Мы затронули разные темы: недавнюю встречу Горбачева с Бейкером, последний Пленум ЦК, отношения с Ельциным, опасность сохранения в стране «августовских баррикад». И, хотя расставаясь, уговорились оба еще раз подумать о моем назначении, я знал, что, если Горбачев не изменит своего решения, отказать ему еще раз я не смогу. Он не передумал.

Из окна моего кабинета были видны находившиеся совсем близко, будто на расстоянии вытянутой руки, золотые кресты на куполах Архангельского собора. Кабинет помещался на 3-м этаже бывшего здания Сената, потом Совнаркома и Совета Министров, а ныне официальной резиденции первого Президента СССР. Красный флаг, развевавшийся над его зеленым куполом с 1918 г., стал за прошедшие годы таким же непре-

менным символом Москвы и Советского Союза, как и зубчатая гряда кремлевской стены и шпиль Спасской башни.

Мемориальная доска у центрального подъезда сообщала, что в этом здании работал первый Председатель Совнаркома Владимир Ленин. Здесь же трудились его преемники, руководители правительства: Рыков, Молотов, Сталин, Маленков, Хрущев, Косыгин, Тихонов, Рыжков и Павлов, однако их пребывание в Кремле не оставило следов на стенах бывшего Сената. Превращенные в музей, кабинет и квартира Ленина располагались на том же 3-м этаже, метрах в 50-ти от выделенного мне помещения за поворотом коридора, у комнаты с загадочной, оставшейся с революционных времен надписью: «Кубовая».

По этому коридору прошел долгих сто метров от лифта, отказавшись от коляски и опираясь на своих бессменных санитаров, Ленин, 18 октября 1923 г., когда, уже немощный и безмолвный, вдруг потребовал привезти его в Кремль из подмосковных Горок. Сопровождали его Крупская и сестра — Мария Ильинична, с тревогой и надеждой наблюдая за признаками волнения и воспоминаний, мелькавшими на лице Ильича во время этой последней поездки по Москве и по Красной площади, на которой еще не было Мавзолея.

В августе 1991 г. оказавшийся в Кремле фотограф запечатлел в коридоре 3-го этажа тройку триумфаторов: Язова, Крючкова и Пуго, победно шествовавших к пустому кабинету интернированного ими в Крыму, Горбачева.

В пределах пятиминутной досягаемости от приемной Горбачева располагались Александр Яковлев, вернувшийся в окружение Президента в сентябре 1991 г. в качестве члена Политического Консультативного Совета, и Анатолий Черняев. Вместе с Георгием Шахназаровым и Григорием Ревенко они входили в тот самый внутренний круг, который поддерживал Горбачева в последние месяцы его пребывания в Кремле. Это была его личная гвардия.

Разумеется, официальный состав его ближайшего политического окружения был значительно шире, хотя после августовских событий, избавленный от необхо-

димости иметь при себе Политбюро, Горбачев сделал его более однородным. В новый Консультативный Совет, кроме Александра Яковлева, входили Э. Шеварднадзе, В. Бакатин, Е. Яковлев, Н. Петраков, А. Собчак, Е. Велихов, Г. Попов, Ю. Рыжов и Г. Явлинский. У каждого из них был свой счет претензий и обид к Горбачеву. Некоторые — Э. Шеварднадзе, А. Яковлев, Н. Петраков — уже уходили, хлопнув дверью, думая, что расстаются с ним навсегда. Когда же он вновь позвал их, сказав, что они нужны ему, все без колебаний вернулись к попавшему в беду соратнику по общему делу.

Круг духовно близких Президенту «родственных душ» не ограничивался членами Совета и его помощниками. На разных орбитах вокруг Горбачева, испытывая силу его личного притяжения, вращалось немалое число людей с разным жизненным опытом и профессиональной биографией: ученых, писателей, художников, артистов. Выходцы из южнороссийской провинции, Михаил и Раиса, проведя свои университетские годы в столице, явно тянулись к московской интеллигенции и богеме. Вот почему в зарубежных поездках чету Горбачева окружало яркое оперение не только политических советников, но и известных деятелей науки и искусства. При этом Раиса, не без основания считая себя бо́льшим знатоком культуры, чем ее муж, активно участвовала в составлении всякий раз нового списка почетного эскорта.

Собрать за чайным столом интересных и неординарных собеседников было для Раисы, как для любой хозяйки московского интеллигентного дома, заветным желанием. Однако доступные для обычных людей встречи часто оказывались невозможными в ее строго регламентированной жизни, давно превращенной в служение делу «Михаила Сергеевича». Поэтому, чтобы собрать свой «салон», Раисе приходилось дожидаться очередной зарубежной поездки, и тогда долго засиживались ее гости, увы, не у нее дома, а в выездном Кремле — в официальных резиденциях, где поселяли чету Горбачевых. Эти посиделки превращались едва ли не в самые живые и особенно ценимые их участниками непринужденные застольные беседы.

Начиная с 1985 г. я занимался политическим обеспечением зарубежных визитов Горбачева и координацией неофициальной программы общественных контактов, которыми они обрамлялись. Всякий раз я убеждался в том, что Раиса на свой лад ответственно готовилась к таким встречам, прекрасно зная не только имена всех участников, но и их книги, фильмы или спектакли. И все-таки главной темой разговоров на «подмосковных» зарубежных вечерах Горбачевых было не светское салонное общение, а озабоченность дальнейшей судьбой России. Бурные традиционные споры российских интеллигентов затягивались за полночь, пока хозяйка, взяв за руку Президента, не напоминала: «Михаил Сергеевич, завтра рабочий день, всем надо отдыхать».

Неожиданный повод для сбора горбачевского круга подарил ему и Раисе Джордж Буш во время встречи на Мальте. Разбушевавшееся море (Горбачев назвал тогда этот шторм «советской провокацией против 6-го американского флота») сорвал запланированную встречу двух президентов на военном корабле. В отличие от американцев, маявшихся от качки на своем «Белькапе», наша делегация имела в распоряжении надежно пришвартованный к пирсу теплоход «Максим Горький», где на следующий день и состоялась историческая церемония похорон «холодной войны». После окончания саммита, уже простившись с Горбачевым и оставшись со своими сотрудниками и американскими журналистами, Буш захотел отпраздновать это историческое событие и затребовал шампанского. Поскольку «security» этого не предусмотрела, пришлось американцам одолжить грузинского вина в баре «Максима Горького». Качка на нем не чувствовалась. Горбачев даже предложил Бушу переселиться на советский корабль, однако американский президент, сам бывший моряк — ведь именно он предложил плавучий саммит на Мальте — не мог изменить своему флагу.

Освободившийся вечер решили посвятить чествованию Александра Яковлева, которому в этот день исполнилось 66 лет. В салоне «Максима Горького» собрались главные соратники Горбачева, прошедшие вместе с ним первые, может быть, самые волнующие годы пере-

стройки. Заканчивался 1989 г. За плечами Президента была бескровно освобожденная Европа и разрушенная берлинская стена, а также полученное накануне в Риме благословление папы. «Мы сели как два славянина, — рассказывал потом Горбачев, — и проговорили 1,5 часа о политике и нравственности». Впереди, казалось, ничем не затуманенная (даже без ельцинского облака на горизонте) перспектива рационализации российского хаоса и введения демократической советской сверхдержавы в мировой концерн цивилизованных наций.

Сама атмосфера располагала к исповедальному тону. Его задала Раиса, сказав: «Надо было прожить, как мы, семь лет внутри насквозь прогнившей верхушки, чтобы понять, как нужна перестройка. Иногда я молюсь Богу, чтобы хватило сил довести до конца то, что начато». Она не отделяла себя от мужа не только в семейной, но и в политической жизни.

О поводе — дне рождения Яковлева — давно забыли все, включая самого именинника, который и здесь продолжал давать советы Горбачеву: «Надо набраться терпения ради измученной страны. Ее переполняет недовольство, обращенное на руководителей. На кого же еще? Через это надо пройти, иначе не следовало и затевать. Те, кто переживет самое трудное, будут удивляться, как нам это удалось».

Был на том вечере маршал Ахромеев, рассказавший, как при подписании в Вашингтоне договора о евроракетах он разрывался между долгом профессионального военного и совестью гражданина, понимавшего, что ради благополучия страны придется пойти на резкое сокращение ее самого совершенного оружия. Ближайший помощник Горбачева — Анатолий Черняев признался, что в 1968 г., после ввода советских танков в Прагу, хотел «послать все к черту и уйти из ЦК». Потом долго, до 1985 г., не мог простить себе, что тогда этого не сделал. А его друг, обозреватель «Известий» Александр Бовин, ныне российский посол в Израиле, по словам Черняева, в те дни плакал и все же продолжал писать в газету то, что требовалось.

В сущности, это был даже не хор, состоящий из разных голосов, а монолог одного поколения, выросшего в атмосфере сталинского террора и страдавшего часто

не столько от страха, сколько от унижения и стыда за несчастную судьбу страны и бездарность собственной жизни. Поколения, воспрявшего было в годы хрущевской оттепели и вынужденного вновь искать убежище в цинизме, приспособленчестве и алкоголе во времена наступившей номенклатурной зимы. Поколения, готового уже поставить на себе крест, не рассчитывая, выражаясь словами Василя Быкова, «дожить до рассвета», и вдруг услышавшего крик петухов перестройки. Одним словом — «шестидесятников», которых можно назвать политическими «детьми Хрущева». Я жалел, что эту эмоциональную и трогательную исповедь людей, с изломанными судьбами, но сохранившими мечту и способность распрямиться, не слышал Хедрик Смит, американский журналист и автор убедительных книг о «русских», который как-то, просидев часа полтора в моем кабинете в ЦК, закончил нашу беседу одним вопросом: «Но откуда вы все взялись?»

Горбачев, конечно, взялся из той же рассады 60-х годов. И стоял, разумеется, на плечах Хрущева — других в послесталинскую эпоху не было. Когда я первый раз услышал его выступление по телевидению, то сказал себе: «Это сын Хрущева или новый Хрущев только с университетским образованием». Недаром и самого Горбачева инстинктивно, по генетическому родству, тянуло в сторону его буйного и непоследовательного, но, безусловно, стихийно демократического родителя. Прав был другой американский советолог Стивен Коэн, когда еще в октябре 1984 г. призывал обратить внимание на молодого аппаратчика из Ставрополя, который, «поощряя позитивную оценку Хрущева, судя по всему, готовится поставить на кон свое будущее, связав его со смелой программой еще одной реформы, осуществляемой сверху». Прав оказался и вдумчивый шотландец из Оксфорда Арчи Браун, предсказавший неизбежность появления кометы Горбачева, как это сделал его соотечественник из Кембриджа Джон Адамс, вычисливший неизвестную доселе планету — Нептун. Он подготовил Маргарет Тэтчер к тому, чтобы разглядеть в крестьянском сыне из России будущего лауреата Нобелевской премии мира.

Горбачев «шел на рать», не хвалясь заранее, хорошо

понимая, что Хрущев отнюдь не убил, а лишь серьезно ранил сталинского дракона, у которого было множество голов и огромное потомство. Причем не только в СССР — достаточно напомнить, что в 1957 г., через год после XX съезда, на собравшейся в Москве Международной конференции коммунистических и рабочих партий, добрым словом в пику Хрущеву поминали Сталина не только Мао Цзэдун, но и Вальдек Роше и Пальмиро Тольятти.

Главный аспект сталинизма, не сокрушенный Хрущевым по той простой причине, что он с ним и не боролся, был его собственный, внутренний. Он готов был идти сколь угодно далеко в «предоставлении» обществу демократии при одном условии: пока оно будет ему подчиняться. Иначе говоря, рассматривал демократию как новый, более современный и потому надежный инструмент укрепления партийной, то есть собственной власти. Хрущев не был готов терпеть конкуренции со стороны любых сил, способных бросить вызов партийной монополии на политику (даже демократическую). Именно при «либеральном» Хрущеве беспрецедентные гонения обрушились на двух главных потенциальных соперников партии: националистов и церковь. Не мог он смириться и с претензиями на независимость общества, которое одаривал свободой. В этом объяснение того, что Хрущев так неожиданно осаживал назад, тормозил начатые им самим реформы, и причина всплесков гнева, обращенных против интеллигенции, — от Пастернака до Неизвестного и первых диссидентов, начиная с Сахарова.

Поведение Хрущева и тем более следовавших за ним лидеров объясняет, почему реальный «сталинизм» — термин, который еще в феврале 1986 г. Горбачев гневно отвергал в своем интервью «Юманите», называя «понятием, придуманным противниками коммунизма», — по меньшей мере на 30 лет пережил самого вождя. Оказалось, что это не дьявольское изобретение одного человека, а сознательное использование им, его сообщниками и наследниками наиболее темных и в то же время реально существующих инстинктов, рефлексов и традиций российского общества. Эксплуатация органически присущих ему черт, свидетельствовавших о



Выдвижение Л. И. Брежнева в депутаты Верховного Совета СССР в г. Днепропетровске

М. А. Суслов, Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева на выставке проектов памятника В. И. Ленину



Очередные награждения

Выбираем... себя

Автомобиль, разбитый Л. И. Брежневым в ФРГ

Нетленные ценности

Похороны Л. И. Брежнева





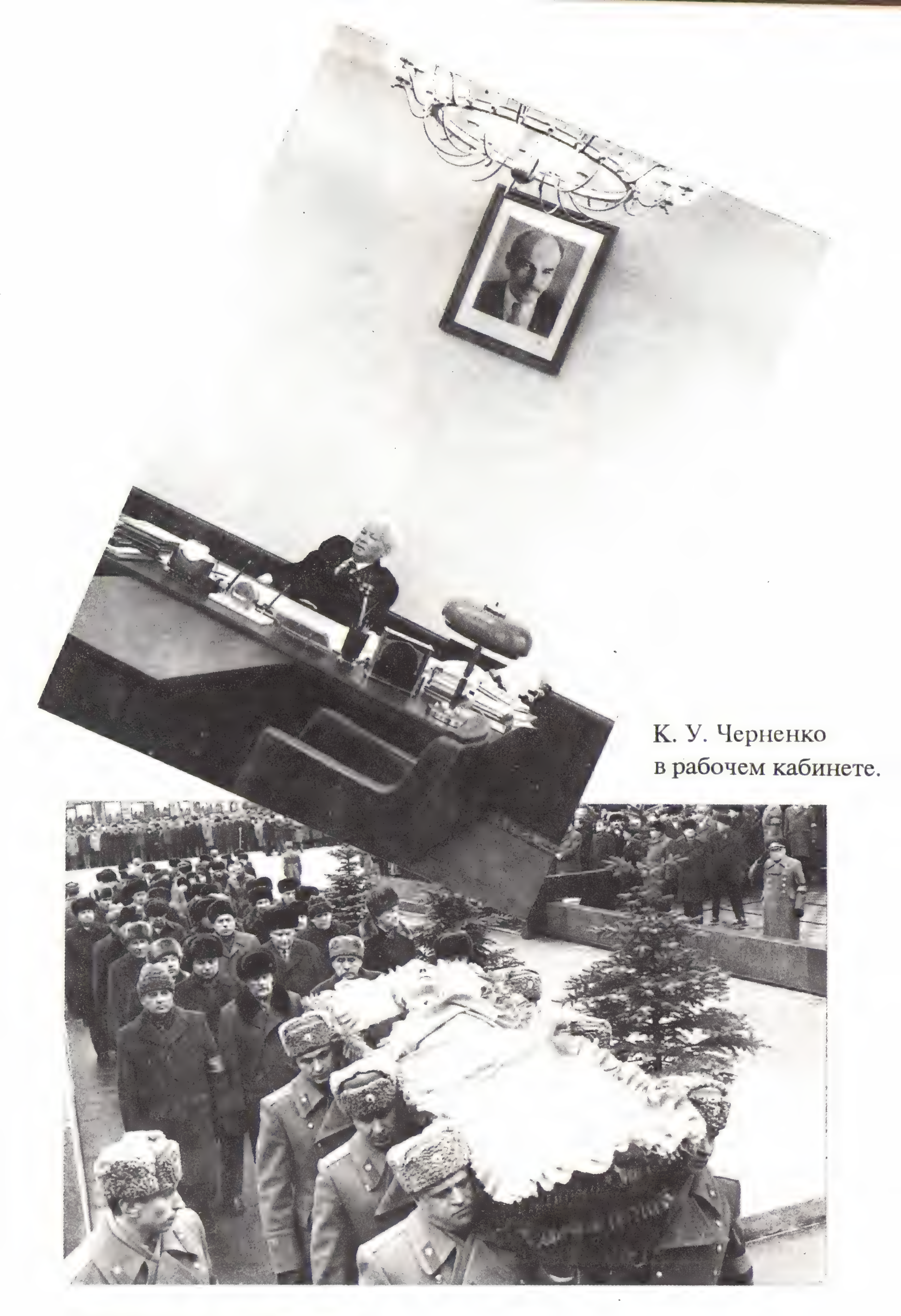
Будапештские побратимы.
Ю. Андропов
и Я. Кадар.

Похороны Ю. В. Андропова

К. У. Черненко — Трижды Герой.



К. У. Черненко и Я. Арафат —
дружба навек



К. У. Черненко
в рабочем кабинете.

Похороны К. У. Черненко



М. С. Горбачев. Последний в очереди за властью



Такие разные друзья

Беседа с Франсуа Миттераном

М. С. Горбачев и Ф. Миттеран
в Звездном городке

За месяц до путча



М. С. Горбачев и А. Н. Яковлев

В Кремле



На отдыхе



Возвращение из Фороса



За работой



М. С. Горбачев и автор книги А. С. Грачев



Подписан последний указ



Уход президента

тоталитарности не одного только правящего режима, а значительной части национального общественного сознания. Кстати, в этом его характере — подлинное объяснение стремительности постгорбачевской номенклатурной реставрации: с поразительным для постороннего наблюдателя успехом она возвращает Россию к традиционным для нее формам отношений власти с народом. Освобожденная от сталинского террора и послесталинского произвола, превращавших общество в жертву правителей, эта страна лишилась вместе с ними и алиби, оправдывавшего ее отстраненность от ценностей демократии. К изумлению просвещенного мира, она использует обретенную свободу для того, чтобы демократическим путем натянуть на себя корсет авторитаризма, ставший для нее, увы, привычной одеждой.

Горбачев начал там, где остановился Хрущев, и к своей чести, споткнувшись о те же проблемы «реформы сверху», не отступил, не рассердился, как Хрущев на неблагодарное общество (хотя временами был близок к этому), а шагнул вперед, расставаясь с тем, кем сам был в начале реформы, то есть преодолевая и изменяя себя. В памятный вечер на «Максиме Горьком» у него были все основания сказать своему кругу: «За эти четыре года я будто прожил минимум три жизни».

Свой главный экзамен на демократию как государственный деятель и реформатор он прошел, когда первым из коммунистических лидеров (и не только в Советском Союзе) принял принцип демократической смены, то есть добровольного ухода от власти. Девизом всех большевистских вождей, начиная с Ленина, до сих пор были слова из песни Александра Галича: «Пойдемте, я знаю, как надо». Вождь указывал, в каком направлении конвоировать общество. Как и положено политику, Горбачев тоже считал, что «знает лучше», но он снял конвой. Однако, отменив страх, как метод управления страной, он обнаружил, что тем самым лишил себя традиционного и главного инструмента любой государственной политики в России (в том числе и реформаторской). В результате получившие из его рук свободу его собственные, менее щепетильные коллеги тут же использовали ее, чтобы отобрать у него власть

под одобрительное улюлюканье толпы. Вспомним опять Ключевского, описавшего наступление Смутного времени на Руси после пресечения династии Рюриковичей: «Некому стало повиноваться, стало быть, надо бунтовать».

Предвидел ли он эту, почти неминуемую перспективу? По-видимому, да, хотя, наверное, не рассчитывал, что это произойдет так быстро. Изменил ли бы он в чем-то существенно свое поведение, будь у него шанс начать все сначала? Не думаю. Для этого ему нужно было стать действительно другим человеком, и, кто знает, удалось ли бы этому другому, пройти целиком тот путь, который страна прошла с Горбачевым. Кроме того, мне кажется, его политическое честолюбие, в отличие от банальных амбиций его соперников, требовало большего, чем власть — оно замахивалось на Историю.

Часть III

«ДАЛЬШЕ БЕЗ МЕНЯ...»

* * *

Вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать значение эпохального сдвига в мировой и российской истории, связанного с именем и деятельностью Михаила Горбачева. Он ушел с поста Президента СССР, оставив преображенной свою страну и весь мир, разрушив границы и барьеры, казавшиеся несокрушимыми, и наметив ориентиры мировой политики на пороге XXI века.

Однако эта же совершенная им революция оставила после себя раздираемую конфликтами и почти не верящую в лучшее будущее страну, способную превратиться в источник угрозы для международного мира — в «глобальный Чернобыль». Страну, потерпевшую кораблекрушение.

За шесть с половиной лет пребывания у власти, доставшейся ему в наследство от коммунистической номенклатуры, Горбачев сделал все возможное, чтобы ее разрушить, и с этой точки зрения его уход — лишь закономерный итог и, значит, триумф его политического замысла. Но одновременно это разрушение тоталитарной системы власти стало разрушением государства и превратилось в поражение государственного деятеля и трагедию реформатора, вынужденного отказаться от дальнейшего осуществления своего исторического проекта еще до того, как он начал приносить обещанные результаты.

За годы пребывания у власти Горбачев настолько уверил окружающий мир в своей способности творить политические чудеса, что, может быть, поверил в это сам. Вот почему даже после катастрофы августовского путча он надеялся, что сможет вновь склеить, как разбитую чашку, в эти дни расколотый вдребезги Совет-

ский Союз и довести до конца свой проект его демократического обновления.

В течение какого-то времени казалось, что чудо политического воскрешения состоялось, однако и его «100 дней», растянувшиеся на 4 месяца, завершились, как у Наполеона после высадки с Эльбы, бесславным Ватерлоо в лесах Беловежской Пущи, где в лучших традициях сталинского правосудия ему был вынесен приговор «тройкой» республиканских лидеров, которых он сам привел к власти.

Могли ли он и его страна избежать такого финала? Это вопрос не только к нему и к его окружению, но также к исторической и политической реальности, которую он отчаянно стремился изменить.

Чтобы ответить на него, еще раз пройдем путь его последних месяцев — Голгофу первого и последнего законно избранного Президента Советского Союза.

СКЛЕЕННАЯ ЧАШКА

К середине сентября, через несколько недель после августовского путча и последовавших за ним событий, Горбачев почти обрел прежнюю форму и по сути вновь стал Президентом.

Позади остались драматические дни и ночи Фороса с витавшей в воздухе угрозой для него самого и его семьи. Начали заживать рубцы на самолюбии и достоинстве, оставшиеся от ударов, безжалостно нанесенных после его возвращения в Москву Б. Ельциным и спущенными им с цепи российскими парламентариями. Горбачеву в который раз удалось совершить, казалось бы, невозможное: он устоял на ногах после покушения, организованного самыми близкими его соратниками.

По отношению к ним он испытывал смешанные чувства презрения и удовлетворения; даже обладая всеми мыслимыми возможностями принуждения и рычагами власти, они не смогли ничего добиться. А ведь еще из Фороса он предупреждал их относительно неизбежного провала и, значит, в очередной раз оказался прав.

Позади остался и всклокоченный Съезд депутатов

СССР, напуганных, с одной стороны, путчистами с их нелепыми, не знавшими куда ехать танками, а с другой — значительно более реальной и страшной угрозой: гневом людей, хлынувших на московские улицы. Те, кто хлебнул в условиях внезапного безвластия хмеля вседозволенности, были готовы выместить накопившиеся за десятилетия ярость и обиду за убогую жизнь на всем: стеклах райкомов и здании ЦК, памятниках, перепуганных партийных чиновниках, даже на водителях черных служебных машин и, наконец, на самом союзном парламенте, трусливо поджавшем хвост после манифестов ГКЧП.

Опасность кровавого хаоса в Москве после провала переворота была в те дни гораздо большей, чем это принято считать. Позорное изгнание чиновников ЦК КПСС из «опечатанного» здания на Старой площади обошлось, правда, без жертв, главным образом потому, что большинство москвичей все же относилось к происходящему безразлично. Но агрессивность возбужденной толпы могла в любой момент привести к взрыву по образцу Будапешта в 1956 году.

Сколь ни парадоксально, но в этот момент появление Горбачева на похоронах погибших, где ему была отведена роль второстепенного персонажа, помогло снять напряжение: люди увидели, что глава государства на месте и как будто восстановлен в своих правах. У него было моральное право на это — проявив в Форосе явно неожиданную для путчистов твердость, Горбачев создал необходимые предпосылки их поражения и тем самым спас Ельцина. Тот, в свою очередь, не остался в долгу, вернув Президента в Москву на его прежний пост, несмотря на массу вопросов и сомнений, которые вызвал визит гекачепистов в Форос.

Именно возвращение власти в лице Горбачева помогло ввести разбушевавшееся половодье в политические берега, убрать людей с улицы и придать, пусть с большими натяжками, начавшемуся беспорядочному распаду Союза видимость конституционного процесса. Правда, за все это пришлось заплатить громадную цену.

Парламент, на избрание которого у Горбачева ушло столько сил, опозоренный собственным поведением и

униженный диктатом республиканских президентов, так и не смог больше подняться с колен.

(В адрес первого союзного парламента было сказано много нелестного — и по большей части с полным к тому основанием. Избранный полудемократическим, чтобы не сказать хуже, путем, не имевший ни опыта, ни прочных традиций, а частью и элементарных представлений о демократических процедурах, отягощенный к тому же нелепой двухступенчатой конституцией (Верховный Совет и Съезд народных депутатов), он являл собой странную смесь буйного, чуть ли не анархистского клуба и верноподданных Генеральных Штатов, предшествовавших Французской революции.

Удивительно ли, что спикер Анатолий Лукьянов так ловко манипулировал парламентом — он настолько умело играл на слабостях депутатов, что наблюдатели не знали, то ли восхищаться его виртуозностью, то ли возмущаться его цинизмом.

И все же при всем своем незавидном облике Верховный Совет Союза не заслужил такого жалкого конца. Именно в нем Советский Союз проходил начальную школу парламентаризма, и, как ни говори, даже этот тяни-толкай оказался во многих отношениях популярнее и демократичнее приснопамятной царской Государственной думы.

По-видимому, Горбачев с его врожденным политическим инстинктом был все-таки прав, обставив первый парламент множеством ограничительных «цензов» — для ослабевшего от голода человека нормальный рацион, как известно, смертельно опасен. Можно смело сказать, что, размышляя о заслугах и слабостях Горбачева, грядущие поколения признают его подлинным основателем нового русского парламентаризма.

Современники никогда не забудут, как вся страна не отрывала глаз от телеэкранов во время трансляций с первых парламентских дебатов. Разочарование пришло потом, вместе с экономическим крахом.)

Сам президент после путча оказался низведенным до положения заложника республиканских «баронов». Он был вынужден зачитывать выработанные под их диктовку тексты и освящать своим авторством те действия, которые, он ясно это видел, все дальше уводили

страну от, казалось, уже близкой цели — обновленного Союза, позволявшего хотя бы сохранить фасад единого государства. При этом Горбачеву пришлось в очередной раз, как говаривал де Голль, «возглавив неизбежное», отказаться от претензий на реальное управление огромной страной, подданные которой привыкли отождествлять власть не с законом, а с насилием.

И все-таки выигрыш во времени был достигнут, и это давало надежду. После съезда был возрожден новоогаревский процесс, возобновлена работа над проектом Союзного договора, Ельцин согласился подписать вместе с Президентом СССР его новый проект.

Пусть по этому проекту на первых этапах Союз должен был означать нечто еще менее вразумительное, чем прежде. Главное было остановить, хотя бы на более низкой точке, сползание к хаосу, направить политическую жизнь страны туда, где Горбачев чувствовал себя наиболее уверенно и ощущал бесспорное превосходство над своими соперниками, — в рамки эволюционного развития, корректируемого с помощью ежедневных компромиссов с людьми и реальностью, осторожных аппаратных шагов и эффектных международных выступлений. Это было привычное ему поле, которое позволяло с уверенностью рассчитывать, что после августовской контузии, используя свое политическое дарование, он сможет постепенно восстановить свой прежний авторитет и вернет разбушевавшуюся реку советской истории в русло его реформистского проекта.

Его личный счет к организаторам августовского путча состоял не столько в том, что они нанесли роковой удар по Союзу, в сущности, узаконив амбиции республиканских вождей, и даже не в том, что публично унизили его, представив в виде близорукого, наивного и доверчивого правителя, приблизившего к себе своих заклятых врагов. Главное — путчисты подрубили под корень его реформизм, вновь — в который раз — толкнув великую и несчастную страну на путь пусть скоротечной и театрализованной, но все-таки революции, освященной жертвоприношением трех молодых жизней и связанной с, увы, хорошо известными последствиями любой революции: взрывом неуправляемых на-

родных страстей, разгулом экстремизма, чувства социальной и личной мести, непримиримости к оппозиции и абсолютным пренебрежением к закону.

К власти, отвоеванной у прежней номенклатуры демократическим порывом народа, пришли заждавшиеся ее «вторые секретари», еще менее компетентные, чем их предшественники. Прямо по Оруэллу: бюрократия среднего уровня всегда пытается сменить высшую и, достигнув успеха, называет это революцией.

Возрожденная, хотя и перекрасившаяся номенклатура, вконец коррумпированная и быстро срастающаяся с мафией, естественно, саботировала даже не вполне последовательные реформы нового правительства, препятствуя прежде всего созданию независимого предпринимательства и фермерства. Таким образом, общими усилиями развалив Союз, августовские путчисты и республиканские вожди ни на шаг не приблизили страну ни к демократии, ни к цивилизованному рынку.

Уже в первые недели после путча можно было спрогнозировать подобное развитие событий. Горбачев, во всяком случае, определил его по многим признакам. И все же в сентябре он считал, что этот раунд остался за ним: правые разгромлены, партия больше не висит на нем мертвым грузом, выяснение отношений с подрастающими республиканскими вождями и с наиболее активным из них — Ельциным, похоже, удалось отложить на неопределенное будущее (так по крайней мере звучали успокаивающие заверения самого Ельцина в том, что он готов активно сотрудничать с «новым» Горбачевым и высоко оценивает происшедшую в нем после августа перемену).

Все это означало, что перед президентом открывается «окно» новых возможностей. Появившийся шанс надо было использовать для того, чтобы продемонстрировать новый, «истинный» облик президента — освободившегося от необходимости оглядываться на партийную номенклатуру и на «социалистический выбор» и способного предложить стране действительно перспективную программу. Речь, в сущности, шла о будущей предвыборной платформе президента обновленного Союза...

* * *

Поскольку худшее, как казалось Горбачеву, осталось позади, пора было подумать о постоянно откладывающихся организационных вопросах — набрать, наконец, полнокровный и квалифицированный аппарат, обеспечить президентские службы приличными помещениями в Кремле и за его стенами, а заодно окончательно разделить с Президентом России доставшееся от сокрушенной партии и прежнего правительства хозяйственное наследство — дачные угодья, поликлиники, автопарки и подсобные хозяйства. Одним словом, обеспечить функционирование аппарата президентской власти, так и не заработавшего главным образом по вине Валерия Болдина.

Получив от нового руководителя аппарата Григория Ревенко «зеленый свет», оживились истосковавшиеся по привычной деятельности хозяйственники и снабженцы. Ускоренно двинулись ремонт и оснащение отведенных под президентский аппарат помещений. Даже новая охрана президента, перешедшая от КГБ под его управление, завела, с прицелом на открывающуюся перспективу, разговор о необходимости сменить устаревшие громоздкие ЗИЛы на современные и более безопасные «мерседесы».

К наличию в Кремле второго, российского флага начали постепенно привыкать — стало казаться, что «сожительство двух медведей в одной берлоге», как шутливо охарактеризовал ситуацию сам Горбачев, может затянуться. Кроме того, Ельцин загадочно замолчал, укрывшись в санатории в Сочи, и, хотя его пресс-служба намекала на то, что он пишет новую книгу, считали, что он проходит очередной курс «реабилитации» после августовских треволнений и, стало быть, в данный момент не представляет прямой угрозы.

То же подтверждали и безуспешно пытавшиеся прорваться к нему визитеры, в том числе из его собственного окружения, и западные журналисты, наблюдавшие российского лидера в те несколько дней, когда он выбрался из своего санатория для того, чтобы вместе с Назарбаевым предпринять очередную попытку потушить карабахский конфликт и «навсегда» примирить

армянский и азербайджанский народы. Вернувшиеся из Железноводска журналисты с восторгом повторяли его афоризм: «Только великим политикам подвластны великие решения».

Как бы то ни было, поправки к проекту договора, поступившие с Юга от Ельцина, достаточно примирительного характера, не позволяли предполагать скорого возобновления боевых действий с его стороны. Полученную передышку надо было использовать и политически, и организационно. Горбачев умело, не обходя Бориса Николаевича, поскольку с ним согласовывались основные кадровые назначения, решил в свою пользу проблему ключевых постов в органах безопасности и в разведке, предложив кандидатуры Вадима Бакатина и Евгения Примакова, и в МИДе — использовав доблестное поведение тогдашнего посла в Праге — Бориса Панкина и его советника-посланника Александра Лебедева. Предложенные Ельциным на должности министра МВД — Виктор Баранников и министра обороны — Евгений Шапошников на том этапе Горбачева вполне устраивали.

Следующий неотложный шаг — восстановление нарушенного еще с эпохи вильнюсских событий контакта президента со свободной прессой и творческой интеллигенцией, а через них в целом — с демократической общественностью, победившей в августовском путче. Этой же цели послужило эмоциональное примирение Горбачева с незаслуженно обиженным им же Александром Яковлевым, а вслед за тем и Эдуардом Шеварднадзе.

На аналогичный отзвук в общественном мнении было рассчитано и назначение на ключевые должности в руководстве средствами массовой информации таких тесно связанных с Яковлевым людей, как мятежный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев, возглавивший во время августовского путча нелегальный выпуск демократической прессы, — он стал руководителем телевидения, и его собственный помощник по прессе Виталий Игнатенко, назначенный генеральным директором ТАСС. В эти же дни предложение стать помощником и пресс-секретарем президента получил от Горбачева и автор этих строк.

(Впервые разговор об этом назначении состоялся у меня с Горбачевым вскоре после путча — 11 сентября. Президент разыскал меня через Черняева и попросил срочно прибыть в Кремль.

Наша встреча продолжалась около часа, и говорили мы, разумеется, не только о его предложении, а о самых разных вещах. Горбачев любил таким образом прощупывать своих собеседников, тем более близких сотрудников, как бы поворачивая их перед собой разными сторонами.

В сущности, это было наше первое серьезное общение, несмотря на то, что познакомились мы много раньше — в октябре 1985 года, во время первой офици альной поездки нового Генсека КПСС за рубеж — во Францию. Я работал тогда в Отделе международной информации ЦК КПСС и оказался в составе группы консультантов и советников, сопровождавших Горбачева во время визита.

За прошедшие годы во многих таких поездках я нередко разговаривал с Генсеком, потом Президентом СССР, но все это происходило как бы «вскользь», без прямого, неторопливого и не обремененного присутствием посторонних контакта. В ответ на предложение стать его помощником по прессе я откровенно высказал свои сомнения. Мне казалось, что в этой работе слишком много чисто организационного, мало возможностей для анализа и размышлений и тем более для выражения собственного мнения. После событий в Вильнюсе мне представлялось это особенно важным.

Не привлекала меня и перспектива войти в слишком близкое «окружение» президента, оказаться в его «свите», хотя я, разумеется, отдавал себе отчет в историческом масштабе этого политика и безусловной демократической направленности начатой им перестройки.

— Кроме того, главное ведь сделано, Михаил Сергеевич, — заключил я свои доводы, — и провал путча это доказал. Страна стала другой и уже не вернется обратно. Революция завершилась.

Горбачев саркастически усмехнулся:

— Ты думаешь, все закончилось? А мне кажется, что все еще только начинается. В общем, давай так, —

свернул он затянувшийся диалог, — ты будешь думать, и я еще раз подумаю. Ну а потом встретимся и примем решение.

Было очевидно, что в данном случае множественное число он относил исключительно к себе. Через десять дней это решение состоялось — у меня не нашлось аргументов, чтобы парировать его главный тезис: «Все еще впереди».)

Еще одним реверансом в сторону отдалившихся от него в недавнем прошлом демократов стало образование при президенте Консультативного политического совета, куда вошли «первые теноры» начального этапа перестройки — Анатолий Собчак, Гавриил Попов, Юрий Рыжов, Евгений Велихов, Николай Петраков и Григорий Явлинский, что должно было окончательно подтвердить состоявшееся примирение либеральной интеллигенции с вернувшимся к ней «блудным» президентом.

...Итак, к концу сентября, всего лишь через месяц после путча, прорванная «линия фронта» была восстановлена, основные «фигуры» на доске президента выстроены. Пора было «начинать партию», и президент провел серию совещаний для выработки ее стратегии.

В эти дни внимание начала всерьез занимать Украина. Правда, ситуация там пока не беспокоила: успокаивало надежное, с солидным запасом прочности число голосов украинского населения на мартовском референдуме в пользу сохранения Союза. Кроме того, президент считал, что обстановку в этой, по существу такой же родной для него, как и Россия, республике он представляет более реально, чем лавировавший между подтверждениями лояльности Москве и руховским национализмом Леонид Кравчук.

Убеждая других, Горбачев, как это с ним нередко бывало, убедил и самого себя в том, что единая Украина в пределах своих нынешних границ возможна только в рамках Союза, что ни Крым, ни «шахтеры из Донецка, которые недавно были у меня», не позволят «самостийщикам» взять верх. Правда, двусмысленное поведение Кравчука и его премьера Витольда Фокина, «который в Москве говорит одно, в самолете журналистам — другое, а по прилете в Киев — третье», насто-

раживало. Однако это лавирование можно было отнести к тактическим ходам в канун предстоящих президентских выборов на Украине. На них Кравчуку предстояло выступать против львовского лидера движения «Рух» Черновила, с которым ему приходилось вести соревнование на поле национализма.

Стремительная трансформация ревностного партийного идеолога, в недавнем прошлом громившего националистов, в чуть ли не их нового лидера воспринималась как ловкая тактика, необходимая для обеспечения победы на выборах, после которой, как ожидалось, Кравчук «вернется в строй» и вернет в него свою республику.

Сам Кравчук аккуратно подыгрывал этой удобной для него версии, давая понять, что так оно и будет, чем страховал себя от опасной для него критики со стороны Москвы. Таким образом он успокаивал мощный пласт русскоязычного населения, рассматривавшего его как единственного кандидата, способного остановить националистов и обеспечить сохранение естественного союза с Россией.

Свой дрейф в сторону «Руха» Кравчук всякий раз умело обставлял решениями украинского парламента, которым он-де «вынужден подчиняться», хотя было очевидно, что в подавляющем большинстве случаев он сам их и провоцировал. Так, в частности, произошло с очередными решениями Верховного Совета Украины, «запретившего» украинской депутации до декабрьского референдума принимать участие в обсуждении проекта нового Союзного договора, а потом и просто в работе союзного парламента. Это сначала вынудило отложить намеченную очередную сессию в ожидании того, что Украина «одумается», а затем и вовсе предусмотреть превращение работы над договором в «процесс», который должен был растянуться до декабря.

Подводя в эти дни во время совещания с помощниками итог своим размышлениям на тему Союза, президент с неожиданной горячностью сказал:

— Голову на отсечение даю: не сохраним единого государства — получим Югославию.

В очередной раз зашел разговор о позиции Ельцина. Горбачев, как бы убеждая самого себя, повторил:

— Насчет Союза у нас с Борисом Николаевичем расхождений нет. Мы разослали по республикам совместный проект Союзного договора. На днях я с ним разговаривал. Пришли от него поправки, в целом приемлемые. Самое важное в них — он не хочет единой Конституции и сомневается насчет прямого избрания президента. Ну ничего — надо работать.

И сразу вслед за этим:

— Кстати, насчет президента. Я считаю, он нужен, и обязательно избранный прямым голосованием. Чтобы был народный мандат, а иначе в условиях нынешней децентрализации страну не собрать.

После этого, как бы спонтанно, прозвучало явно продуманное накануне предложение:

— Вообще, думаю, выбирать президента, чтобы остановить процесс дезинтеграции, надо как можно скорее. Ельцин, правда, советует подождать с выборами до конца 1992 года. Но я думаю, откладывать не нужно — подпишем Союзный договор и будем выбирать.

Чувствовалось, что, кроме заботы о судьбе Союза, им двигало, увы, запоздалое осознание того, что ему необходимо срочно выравнять статус по отношению к республиканским президентам. Среди них он один не имел статуса народного избранника.

Встревоженные этим неожиданным предложением, осуществление которого в условиях стремительного падения популярности президента могло только ускорить его уход, помощники бросились уговаривать его не торопиться. Надо дать «выгореть» амбициям республиканских вождей, предоставить им возможность проявить себя на деле. Пусть сами попробуют сделать что-то реальное, иначе будут снова кивать на центр, который, дескать, только мешает заниматься делом. Когда окажутся лицом к лицу с настоящими проблемами, выяснится их истинная цена и в глазах населения, ведь им на руку сейчас облик героев, страдающих от центральной власти.

Горбачев отреагировал осторожно.

— Ельцина сейчас надо поддержать — все равно придется ускорить реформу. Если не сделать этого в ближайшие месяцы, правительству придется уйти — а это откроет прямую дорогу к диктатуре. Значит, надо

двигаться не откладывая, хватит переминаться с ноги на ногу.

Казалось, подобные решительные слова дают ему ощущение решительных поступков. Что касается отсрочки выборов президента, то было видно, что он дал себя уговорить, и больше к этой теме не возвращался.

Тем временем состоялись другие мероприятия, явно нацеленные на укрепление его «тылов» в обществе.

В конце сентября в Кремль пригласили членов будущего совета по предпринимательству, который президент задумал образовать при себе. Около 30 человек — биржевики, новоиспеченные бизнесмены, владельцы частных фирм. Приведший в Кремль эту необычную для его стен группу Аркадий Вольский[1] сказал, что они представляют не менее 4/5 новых советских предпринимателей, которых не стыдно было пригласить.

Горбачев тут же поинтересовался: «Чтут ли они уголовный кодекс?» В ответ услышал предложение поскорее закрепить законодательным путем статус и права предпринимателей, а также поскорее отменить введенные им самим по наущению бывшего премьера Валентина Павлова указы, ограничивающие свободу пред-

---

[1] В дни путча Вольский, закаленный опытом своего трехлетнего «губернаторства» в Нагорном Карабахе, вел себя последовательно и достойно. Как оказалось, он был последним из «москвичей», кому Горбачев успел позвонить в роковое воскресенье 18 августа, до того как к нему явилась депутация путчистов. Он рассказал мне об этом телефонном разговоре 20 августа, когда, преодолев заслоны из расставленных по московским улицам военных патрулей и танков, я смог наконец добраться в Москву из загорода.

Главное, что меня тогда интересовало, — когда состоится чрезвычайный Пленум ЦК КПСС, на котором можно было бы дать политическую оценку попытке государственного переворота. (Я предупреждал об этой опасности в своем выступлении на Пленуме в июле под шум и свист в зале ЦК.)

По словам Вольского, Горбачев был в ровном расположении духа и жаловался лишь на не вовремя разыгравшийся радикулит. Этот телефонный разговор превращал Вольского в ключевого свидетеля, способного своим рассказом опровергнуть главный «правовой» довод путчистов — «неспособность Президента СССР выполнять свои обязанности из-за болезни».

Мы обсудили с Аркадием Ивановичем, как представить эту информацию на экстренном Пленуме ЦК или на заседании Верховного Совета, где можно было добиться отмены решений ГКЧП, однако уже на следующий день Вольский рассказал об этом на пресс-конференции, созванной на Старой площади в помещении возглавлявшегося им Промышленного союза.

принимательства. Его просили устранить валютные поборы и отменить позорные меры контроля со стороны КГБ за документацией, выручкой и содержимым их сейфов. Президент с готовностью обещал это сделать. Сожаления или раскаяния по поводу содеянного год назад не высказывал.

Осмелевшие бизнесмены вошли во вкус и обозначили свои политические интересы.

— Мы очень испугались 19 августа, — сказал один из приглашенных. — И мы не хотим, чтобы нас еще раз так пугали. Если вы хотите стабильности общества и стабильности президентской власти — поддержите и защитите собственника. Назовите нас, как раньше российских купцов, по имени-отчеству, и вы увидите, как много мы можем сделать для этой страны.

Горбачев сказал, что этой встречей и намеревался подать сигнал всему обществу. Он пообещал поставить вопрос о содействии предпринимательству на одном из заседаний Госсовета и рассказал о ходе работы по созданию нового единого государства[1].

По словам президента, уже 8 республик высказались за скорейшее подписание нового Союзного договора на основе текста, подготовленного им совместно с Президентом РСФСР Б. Ельциным. «Мы начнем подписание, — сказал президент, — с любого, даже минимального количества республик — даже если их будет всего две».

В эти дни ему казалось, что перед ним и его страной открывается ясная и обнадеживающая перспектива. Происходило все это через месяц после августовского путча... и за 3 месяца до официальной ликвидации Союза ССР.

ПОМОЩЬ СО «ВТОРОГО ФРОНТА»

Пора было вновь развернуть поникшее президентское знамя и на международном фронте. В конце концов, ведь именно здесь были одержаны самые блиста-

---

[1] Как раз в этот день Горбачев получил информацию о том, что представители всех республик (кроме Украины) согласились заключить договор об экономическом сообществе, одобрив вариант, подготовленный группой Явлинского. На 3 октября была назначена встреча премьер-министров для подписания этого соглашения в Алма-Ате.

тельные победы перестройки и нового политического мышления, здесь, а, увы, не дома должным образом оценивали и по-настоящему понимали его политику, включая и внутреннюю. Именно отсюда должна была поэтому прийти столь необходимая Горбачеву в тогдашней ситуации поддержка, как это случилось в 1990 году в виде Нобелевской премии мира.

Теперь уже только в сфере международной деятельности — при приеме зарубежных коллег, иностранных делегаций, во время собственных визитов за границу — Горбачев ощущал себя столь же неоспоримым Президентом, как в такие далекие доавгустовские дни.

Отсутствие Ельцина в Москве позволяло избежать протокольной и политической двусмысленности, когда зарубежные гости, путаясь в расписании, наносили визиты поочередно обоим президентам, а протокол с трудом освобождал единственный подходящий для официальных переговоров величественный Екатерининский зал.

Простодушные и прагматичные американские журналисты, снявшие совместные интервью обоих президентов для Си-Эн-Эн, вновь и вновь предлагали «спаренное» появление Горбачева и Ельцина на своих экранах. Доходило до того, что в западной прессе всерьез толковали о возможности совместных поездок обоих президентов за рубеж — то ли для участия в сессии НАТО, то ли для парного выступления с трибуны ООН. И хотя эту несуразную ситуацию приходилось пока терпеть, было ясно, что уступать свои законным образом завоеванные позиции ведущего мирового лидера или делить их с напористым, но, по его мнению, явно не подходящим для этой роли российским собратом Горбачев не собирался.

Была еще одна, чисто личная причина, по которой президент охотно шел на встречи с зарубежными гостями — как официальными деятелями, так и прессой. Будучи человеком преимущественно речевой культуры, он чувствовал, что глубже мыслит, острее реагирует и точнее формулирует свои мысли в процессе беседы — именно в эти моменты он находил наиболее удачные аргументы, емкие формулы и парадоксальные сравнения. Такое общение, все чаще заменявшее дискуссии с

противниками и даже соратниками, позволяло ему в процессе разговора лучше осмыслить меняющуюся ситуацию.

Убедившись в том, что Горбачев не только уцелел после августовского путча, но, как это бывало и прежде, сумел обратить встреченные трудности себе на пользу, его зарубежные партнеры с чувством облегчения и запоздалым энтузиазмом открыли «второй фронт» в его поддержку. Выражения политической солидарности и заверения в личной дружбе были тем более сердечными, что нередко компенсировали растерянность, а то и заурядный политический оппортунизм, проявленный рядом западных лидеров в первые часы и дни августовского путча.

Запоздалая, а то и двусмысленная реакция в крупнейших мировых столицах на новости, поступившие из Москвы утром 19 августа, объяснялась, разумеется, традиционным принципом «реалполитик» и подспудным неверием в то, что в лице Советского Союза, даже прошедшего через «пятилетку» реформы Горбачева, они имеют дело с принципиально изменившимся обществом и государством. В этом смысле августовский мятеж военно-партийной бюрократии, о приближении которого свидетельствовали самые явные признаки, рассматривался многими политиками на Западе как нечто значительно более органичное и по-своему естественное для этой страны явление, чем оптимистический вариант безболезненного продолжения реформ, в возможности которого их пытался уверить Михаил Горбачев.

Вот почему внутренне, пусть подсознательно, многие западные коллеги Горбачева, ставшие не только его поклонниками, но и искренними друзьями, были готовы принять коммунистическую реставрацию как неизбежность и восприняли путч как подтверждение своих прогнозов. Соответственно поначалу и их реакция на него была почти такой, на какую рассчитывали путчисты, да, видимо, и не вышла бы за эти рамки, не прими развитие событий в Москве столь неожиданного оборота.

Теперь же, после того как качественные изменения в советском обществе прошли суровую проверку на

улицах Москвы, после того как Горбачев дважды подтвердил свою кредитоспособность — и в качестве лидера политического процесса, приведшего к необратимой трансформации страны, и в роли поразительно искусного тактика, вновь оседлавшего чуть было не сбросившего его со спины тигра, — он, безусловно, заслуживал самых пышных заверений в лояльности и поддержке Запада.

Побывавший в очередной раз в Москве Дж. Бейкер в разговоре с президентом сказал с извиняющимися интонациями:

— Только теперь, после путча, мы в полной мере осознали масштаб трудностей и опасностей, с которыми вам пришлось ежедневно сталкиваться, и причины озадачивающей и тревожащей Запад, но оправдавшей себя тактики, избранной вами для нейтрализации консервативных сил в вашей стране.

Горбачев с удовлетворением принимал фактические извинения западных политиков, которые совсем недавно, во время заседания «большой семерки» в Лондоне, недоверчиво выслушивали его ссылки на правую опасность, рассматривая их как попытку завысить свои ставки в торгах с Западом, и воспринимал как должное комплименты прессы, три месяца назад не постеснявшейся назвать его нобелевскую лекцию «шантажом Запада».

На открытии конференции по гуманитарному измерению в Москве он выступил как истинный лидер нового «свободного мира», возникшего прежде всего благодаря его усилиям на востоке Европы. В его приемной сменяли друг друга министры иностранных дел и послы зарубежных стран.

Постепенно восстанавливался прежний режим и ритуал общения на высшем политическом уровне. При этом отсутствие Ельцина в Москве помогало и Горбачеву, и его зарубежным партнерам закреплять представление о том, что в формулу «высший уровень» вовсе не обязательно включать российского президента, как это было в первые дни и недели после провала путча.

Наиболее весомый политический подарок Горбачеву преподнес в эти дни «дорогой Джордж» — Прези-

дент США Буш. Утром 27 сентября американский посланник в Москве срочно, через помощника Горбачева Анатолия Черняева, сообщил ему, что хочет передать важную информацию от американского президента. Как оказалось, речь шла о важном политическом заявлении по вопросам ядерного разоружения, с которым Дж. Буш намеревался выступить вечером этого дня. Накануне выступления он хотел поговорить с Горбачевым.

И хотя Буш предполагал позвонить по этому же поводу и на юг Ельцину, было очевидно, что обращается он со своей инициативой к Горбачеву и именно от него как от союзного президента и верховного главнокомандующего, а не от Ельцина он будет ждать ответ на свои предложения.

Собранный в тот же день в срочном порядке синклит военных и политических советников помог Горбачеву подготовиться к ответу на американские инициативы, и к моменту звонка Буша президент был во всеоружии. Разговор «Майкла» и «Джорджа» означал не просто подведение черты под периодом неясности и двусмысленности в послеавгустовских отношениях двух президентов, но и ставил обратно на рельсы локомотив советско-американского стратегического сотрудничества, в кабине которого было место только для двух президентов — американского и советского.

Горбачев поддержал инициативу Дж. Буша, воздержавшись в то же время от ее более конкретной оценки. Советский ответ, обещал он Бушу, будет сформулирован в ближайшее время и «не уступит» по масштабу и смелости предложениям и односторонним шагам американцев.

Разговор с Бушем стал как бы подтверждением того, что последняя пробоина в борту президентского корабля заделана, течь прекратилась, и его можно вновь выводить в открытые международные воды.

В этот день Горбачев принимал в Кремле очередного визитера — египетского президента Хосни Мубарака. Разговор, естественно, зашел о путче и причинах его провала. По словам Мубарака, переворот был задуман как повторение антихрущевского заговора в 1964 году, который в те годы удалось осуществить безболез-

ненно, поскольку в стране не было демократии. Нынешние же путчисты не учли силу демократического процесса, развернувшегося по инициативе Горбачева.

Соглашаясь с Мубараком, Горбачев заметил:

— Некоторые задают вопрос: почему Горбачев не предотвратил переворот, неужели он его не предвидел? На самом деле подобное развитие событий легко было вычислить — достаточно было в полной мере оценить задуманный масштаб преобразований. Ведь цель процесса, начатого в 1985 году, — решительное изменение всей политической структуры и соответственно системы власти в стране. Необходимо было отобрать ее у партии, которая монопольно правила, не имея на то полномочий от народа. А разве можно освободить экономику от бремени милитаризации, не задев армии, то есть не изменив положение миллионов людей, включая огромный офицерский корпус? Партия плюс армия, плюс военный сектор экономики, на который работало 70% нашей науки, — все это массы людей, огромные вложения, лучшие условия работы и жизни.

В этих условиях, — объяснял собеседнику Горбачев, — я видел свою задачу в том, чтобы, используя демократические методы, максимально ускорить преобразования до такой стадии, когда любая попытка реакционного переворота была бы обречена. Произойди переворот всего лишь один-полтора года назад, он мог бы иметь успех. Сегодня же у путчистов не было шансов.

К сожалению, это вовсе не означает, что, разгромив путч, демократические силы решили все проблемы, — опять началось выяснение отношений, споры о том, кто кого демократичнее, — все это вместо того, чтобы объединиться ради конкретного дела.

Мубарак завершил разговор:

— Мы восхищаемся вашей победой. Советский Союз спасла его новая свобода...

* * *

Через три дня Горбачева посетил австрийский канцлер Враницкий, прибывший в Союз для участия в церемонии запуска космического корабля с австрийским

космонавтом. Эта встреча дала возможность Горбачеву «выровнять фронт» на важном участке европейской и международной политики — в вопросе о Югославии.

Он считал это необходимым по двум причинам: во-первых, СССР как европейская и мировая держава не мог длительное время даже перед лицом собственных драматических проблем оставаться в стороне от поиска путей мирного урегулирования в Югославии. Очевидно, что на фоне активности Европейского Сообщества и особенно Германии, а также намерений США присоединиться к этому процессу, отсутствие Советского Союза не могло не наносить урона его статусу великой державы.

Во-вторых, и даже главным образом, Горбачев хотел использовать изложение своей позиции по отношению к югославскому кризису как дополнительный аргумент в поддержку сохранения единого государства у себя дома. Устрашающий призрак Югославии, возведенной в 12- или 15-кратную степень в рамках Союза, должен был, по его мысли, остудить наиболее отчаянных сепаратистов в республиках, напомнить местным политикам об ответственности перед своими народами.

Позиция президента по югославскому вопросу имела, кроме внутреннего, и внешний адрес — призыв Горбачева не вмешиваться во внутренние дела Югославии и не поощрять ее распада должен был послужить предостережением любым западным охотникам запустить руки в обостряющиеся внутрисоюзные проблемы. Такое предостережение адресовалось в первую очередь Германии из-за ее открытой поддержки хорватских и словенских сепаратистов. Трудно было придумать более удачный канал для посылки такого сигнала, чем австрийский канцлер.

В разговоре с Враницким Горбачев весьма напористо высказался за соблюдение принципов хельсинкского процесса и положений Парижской хартии, настаивая на том, чтобы «ни одна из сторон, вовлеченных в противоборство внутри Югославии, не могла опереться на поддержку извне».

Несколько дней спустя Горбачев направил политическому и военному руководству Югославии призыв прекратить кровопролитие, а затем предпринял и лич-

ную попытку примирить враждующие стороны, пригласив в Москву лидеров Сербии и Хорватии. Увы, его попытка потушить огонь у соседа, чтобы предотвратить пожар в собственном доме, не принесла результатов. Кошмар Югославии не давал ему покоя еще два следующих месяца, до тех пор, пока не отступил на второй план, оттесненный кошмаром развала его собственной страны...

В эти дни Горбачева мучил вопрос о возможности взаимосвязи экономического Содружества с политическим Союзом. Поначалу, сразу после августа, он был готов принять более неторопливую формулу: сначала экономическое Содружество (с помощью этого выгодного для всех и политически нейтрального проекта он рассчитывал остановить процесс дальнейшей дезинтеграции государства), а затем, хоть и с некоторым отставанием, но все-таки «в затылок» ему, — политический договор. Соответствующие указания давались и Григорию Явлинскому, который методично «лепил» план экономического Содружества, прижимая своих республиканских партнеров лопатками к земле доводами из их собственной экономической реальности.

И вдруг, когда соглашение об экономическом Содружестве было почти готово, — неожиданный поворот:

— Надо форсировать политический союз. Без него — все равно упремся в тупик, в том числе и в экономике.

Трудно сказать, кто или что повлияло на президента в эти дни. Быть может, неожиданное приглашение Назарбаева руководителям правительств собраться в Алма-Ате (без «центра») для подписания договора об экономическом Содружестве и впервые мелькнувший на горизонте призрак Содружества без президента. Или прямо противоположный сигнал — обнадеживающая готовность Ельцина поддержать идею политического Союза.

А может быть, и то, и другое, и, наконец, третье и главное: инстинкт опытного политика, понимающего, что уходит время, а вместе с ним его главное оружие — политическая инициатива, которая до сих пор всегда выручала, спасая его в, казалось бы, самых безвыходных ситуациях.

Возглавить битву за политический Союз, за восстановление распадающегося государства — значило вернуть реформу в русло управляемого процесса, давало возможность, опираясь на результаты весеннего референдума, выступить в роли выразителя воли народа и тем самым сформулировать убедительную предвыборную программу. Это позволяло одновременно откликнуться на тревогу западных партнеров, озабоченных угрозой «новой Югославии», и перехватить у правых популярную в народе идею государственности, «спасения отечества и державы», придав ей демократический, современный облик. Но это же означало и неизбежное обострение конфликта со следующим эшелоном власти — республиканскими президентами, отведавшими вкус суверенитета, независимости от центра и не намеренными ими поступаться.

Дорога в доавгустовское Ново-Огарево, где они заключили союз с Президентом СССР против реально угрожавших их местному всевластию имперски настроенных консерваторов, была закрыта. Этот Союз был им больше не нужен, ибо уже не было врага, так напугавшего многих из них в первые дни путча. А значит, не нужен был и союзник в лице Президента СССР. Ему предстояло либо принять условия республиканских «бояр» и согласиться играть представительскую роль в фиктивном Союзе, либо уйти.

Так, бросив вызов республиканской бюрократии, отклонив выдвигаемые разными «советчиками» рецепты образования конфедерации как «капитулянтские» и сделав решительный выбор в пользу сохранения единого государства, Президент СССР подписал политический приговор себе... и самому Союзу. Отныне второй путч стал неизбежен.

Однако в начале октября исход этого конфликта не был ясен еще ни одному из его участников. Как не ясны были ни соотношение сил, ни возможная тактика борьбы. В своем стремлении сохранить Союз президент рассчитывал на общественное мнение внутри страны и на политическую поддержку извне. Перед лицом реальной угрозы распада страны и связанной с этим неопределенности и нестабильности Запад, именно Запад должен был прийти на помощь союзному пре-

зиденту, обусловив свою экономическую помощь сохранением в какой-то форме центральной политической структуры, ответственной за поведение этого погибающего монстра.

В этой драматической ситуации «большая семерка» и Европейское Сообщество были готовы предоставить помощь, уточнив (или оговорив) главные направления ее использования. По мнению Мейджора, тогдашнего координатора «семерки», и Делора, помощь не должна была носить чисто филантропический характер, а служить реальным сдвигам в экономике. Только так можно будет «продать» эту беспрецедентную программу правительствам, законодателям и общественному мнению в развитых странах Запада.

Запад явно давал понять, что готов протянуть Горбачеву шест экономической помощи, превратив его в своего привилегированного партнера, гаранта и распределителя помощи между отдельными республиками и регионами. В условиях стремительно ухудшавшейся экономической обстановки в СССР и надвигающейся угрозы хаоса и «семерка», и сам Горбачев пытались нагнать время, упущенное летом, когда и той, и другой стороне было трудно поверить в неотвратимость катастрофы.

Горбачев приехал тогда в Лондон без Явлинского, в очередной раз, как это было в случае с проектом программы «500 дней», попытавшись трансформировать согласованную им в общих чертах с Западом программу «Шанс на согласие» в нежизнеспособный гибрид, чтобы умиротворить своего тогдашнего премьера Павлова. Запад воспринял это как очередное уклонение от решительного выбора между рыночной и административной экономикой и ограничился вежливым выслушиванием заявления Горбачева о благих намерениях. Прямые или косвенные ссылки президента на то, что это не он, а само общество не созрело для такого выбора и не готово сделать или поддержать решительный шаг, уже перестали кого-либо убеждать, кроме самого Горбачева. Тем более что за кулисами его осмотрительной политики явно засучивали рукава павловские администраторы, а Павлов, бесцеремонно повышая

голос на самого президента, требовал для правительства чрезвычайных полномочий.

Только после путча Запад убедился в том, что угроза спровоцировать выступление правых, которого пытался избежать своими компромиссами Горбачев, была не выдуманной им, а вполне реальной. Сам же он наконец уверился, что тактика умиротворения политических противников в его собственном окружении себя явно исчерпала, тем более что после путча умиротворять больше было некого. Обе стороны теперь бросились навстречу друг другу, однако похоже было, что их встреча состоялась на уже опустевшей платформе.

Это подтвердил и состоявшийся через несколько дней прием Горбачевым директора-распорядителя Международного валютного фонда Мишеля Камдессю. Казалось, мнением отсутствовавших партнеров Горбачева по внутриполитическим баталиям — республиканских лидеров — можно пренебречь. Увы, это оказалось иллюзией.

Камдессю прибыл в Кремль 5 октября с заранее заготовленными текстами писем о намерениях его организации и советского руководства развивать сотрудничество в соответствии с уставными положениями Фонда. Подписание этих писем должно было открыть Советскому Союзу дорогу к будущему членству в МВФ, а стало быть, и доступ к его кредитам. Поскольку СССР не имел возможности в короткий срок выполнить достаточно суровые условия вступления в МВФ, переводящие экономику страны под жесткий международный контроль, для Советского Союза было решено сделать исключение — ввести промежуточный статус ассоциированного члена. (Эта оговорка, действовавшая во времена Горбачева, в дальнейшем была без долгих проволочек снята по отношению к правительствам Ельцина и других бывших советских республик, хотя они вряд ли могли в большей степени, чем их союзный предшественник, претендовать на соответствие формальным критериям МВФ. Одно из объяснений состоит, по-видимому, в том, что перед лицом угрозы стремительного распада всех экономических и социальных связей в стране, погружающейся в пучину экономического хаоса, западные лидеры решили действовать, как

пристало добрым христианам, чтобы избежать упреков в немилосердии.)

В беседе с Камдессю Горбачев по уже укоренившейся привычке размышлял вслух, развивая собственные идеи:

— Мы заинтересованы в серьезных преобразованиях. Для радикальных перемен нам необходимо сотрудничество с развитыми странами Запада. Только во взаимодействии с вами мы сможем добиться положительных результатов. (Присутствовавший на встрече Г. Явлинский не мог не отметить, что многократные его дискуссии с президентом трансформировались в аргументы, а может быть, и убеждения последнего.)

Ободренный успехом соглашений об экономическом содружестве, «выбитых» Явлинским в Алма-Ате и подтвержденных на Госсовете, Горбачев выступал с былой убежденностью и убедительностью:

— Мы подтверждаем на политическом уровне все наши международные экономические обязательства. Соответствующие указания уже направлены послам. Это, думаю, наконец внесет ясность в вопрос, которым постоянно задаются на Западе: с кем иметь дело в Советском Союзе? Есть Межгосударственный экономический комитет, есть его руководитель — И. Силаев, есть соответствующие структуры, признанные всеми республиками.

От упоминаний о разноголосице в позициях отдельных республиканских представителей, выезжающих за рубеж, Горбачев отмахнулся:

— Я понимаю, что на Западе изумляются, когда видят, сколько различных просителей бродит по миру от имени Советского Союза. Но это пройдет.

Президент был явно воодушевлен:

— Наши шаги в отношениях с «семеркой» согласованы между всеми республиками. Имейте в виду, что само Соглашение об экономическом содружестве парафировали 12 республик, а руководители трех из них его уже подписали. Сегодня парафированный Россией текст Соглашения отправлен на окончательное одобрение Борису Николаевичу. Думаю, не позднее 15 октября мы сообща сможем ответить на главный вопрос —

как строить будущий общий мост: вдоль реки или все-таки поперек.

Для него самого ответ казался очевидным, как все, что укладывается в рамки здравого смысла. Однако столь умудренный политик не должен был принимать соображения здравого смысла за глобальный императив и тем более брать на веру то, во что очень хочется верить.

Уступая напору президентской веры и картезианской логики, Камдессю с воодушевлением откликался:

— Наш Фонд, созданный специально для оказания помощи странам, переживающим процесс перемен, никогда еще не имел перед собой более дерзкой и впечатляющей миссии. Для решения ваших проблем понадобятся не века, а считанные годы, по прошествии которых ваша страна вполне может стать одной из величайших экономических сверхдержав. Вы можете рассчитывать в этом на помощь остального мира. Единственное, что потребует от нас при принятии решения о такой помощи руководство ведущих индустриальных стран, — это анализ того, чем вы располагаете, и подтверждение адекватности ваших действий. Я уверен, что и то и другое вполне осуществимо.

Увы, всей убежденности и многоопытности руководителя Международного валютного фонда, осуществляющего свои проекты в 150 странах мира, оказалось недостаточно, чтобы вообразить, какой оборот всего лишь через два месяца после его встречи с президентом Горбачевым примут дела в той стране, которой он сулил блестящее будущее мировой сверхдержавы.

Вот одно из объяснений этого кажущегося парадокса: даже если отвлечься от игры политических сил и амбиций, которая в конечном счете подмяла под себя политическую рациональность, даже в нейтральной сфере чисто экономических понятий собеседники, употребляя одинаковые по звучанию термины, разговаривали, по существу, на разных языках. Так, например, выяснилось, что, когда в Алма-Ате при обсуждении соответствующего раздела Соглашения речь зашла о создании в будущем содружестве Федеральной резервной системы (по типу американской), высший правительствен-

ный чин одной из республик после многочасовых дебатов воскликнул:

— Не хватит ли обсуждать резервную систему? Давайте наконец перейдем к основной!

Точно такой же разрыв, но уже не в понятийном, а в нравственном смысле употребляемых слов обнаружился, когда новые лидеры суверенных государств встретились с западными коллегами для обсуждения проблемы внешнего долга бывшего СССР. Понадобилось несколько дней переговоров и ультимативная угроза с западной стороны вообще прервать дальнейшие переговоры о помощи, чтобы республиканские лидеры согласились наконец рассмотреть вопрос о выплате долгов, отнюдь не потому, что их принято отдавать, а лишь для того, чтобы получить новые кредиты.

Пожалуй, все-таки только Горбачев продолжал в эти дни единолично играть роль моста, не через реку — через пропасть, которая до сих пор отделяет советский «затерянный мир» от остальной цивилизации. Он исполнял эту роль не столько по должности, еще меньше по обязанности, сколько из-за страстного желания добиться наконец соединения этих столь разделенных миров и почти религиозной веры в то, что это возможно. Может быть, как никто другой, он осознавал масштабы гигантского исторического и психологического пространства, которое придется перекрыть пролетам задуманного им моста. И, осознавая весь масштаб поистине Гераклова труда, необходимого для достижения этой цели, он не терял оптимизма.

— Прошу вас, — сказал в заключение беседы Горбачев, — учесть одно пожелание. Сейчас мы находимся накануне самых глубоких реформ в нашей стране. Речь идет о конкретной стране с ее реальными особенностями — ведь хотя мы все пользуемся одними нотами, каждый сочиняет свою песню. Мы будем действовать настолько решительно, насколько способно выдержать наше общество. В то же время мы не имеем права сорваться и тем самым поставить все под угрозу.

В этом объяснении Горбачев видел оправдание той политики, которая так озадачивала многих его западных партнеров.

— Однако, — продолжал он, — мы не отчаиваемся,

и я предлагаю вам тоже не отчаиваться. Вспомните, ведь всего год назад одно лишь упоминание о рынке и тем более о частной собственности превращало любого из нас в глазах значительной части общества в предателя. Сегодня же у нас миллионы людей уже живут по законам рынка, то есть складывается новый слой в обществе. Наилучшим объективным показателем того, что общество изменилось, было его поведение в дни августовского путча. Ведь если бы он произошел 1—2 года назад, то вполне мог оказаться успешным и мы получили бы настоящую диктатуру.

— Ну, уж тогда-то я бы здесь не сидел, — отреагировал Камдессю.

— А уж я-то точно сидел бы в другом месте, — подхватил Горбачев. — Моя задача состояла в том, чтобы дотащить общество до такой стадии, когда любая попытка реставрации была бы обречена на неудачу. Мы понимаем, что в МВФ существуют жесткие правила и критерии отбора. Однако имейте в виду, что реальность иногда бывает еще более жесткой.

Камдессю по-фехтовальному отпарировал:

— Среди 155 стран, в которых мы работаем, нет ни одной похожей на другую. Очевидно, что мы не намерены предлагать вам пакет стандартных решений, однако не забывайте, что на учет ваших особенностей у вас остается не так уж много времени.

Видимо, он и сам не представлял, насколько точно попал своей репликой в точку. Горбачев откликнулся немедленно:

— Время — наш самый главный дефицит. Если в самое ближайшее время люди не увидят позитивных последствий от начатых реформ, наступит быстрое разочарование. Я, разумеется, напоминаю о реальности не для того, чтобы опять переминаться с ноги на ногу и оттягивать принципиальные решения. Однако потребуются и маневры. В любом случае мы не намерены долго болтаться между системами и понимаем, что, уйдя из одной, нельзя не входить в другую.

Собеседники обменялись рукопожатиями и подписанными письмами, после чего Советский Союз превратился в призрачного ассоциированного члена МВФ, для того чтобы два месяца спустя, подобно призраку,

исчезнуть из его списков вместе с самой этой категорией, специально придуманной для него и... для Горбачева.

* * *

Вся первая декада октября у Горбачева была заполнена разнообразными встречами, совещаниями, переговорами. Казалось, он стремился продемонстрировать стране, миру и, похоже, самому себе, на что способен и для чего нужен этой стране президент — современный, широко мыслящий и демократически настроенный, влияющий на решение наиболее сложных политических и социальных проблем, открытый для общения и контактов и с прессой, и с представителями советской и зарубежной общественности.

Ядерная инициатива Дж. Буша давала возможность Горбачеву в полной мере проявить себя не только в качестве адекватного партнера в уникальном «дуэте» двух мировых сверхдержав, но и выступить в роли верховного главнокомандующего той переходной структуры, которую представлял собой Союз Суверенных Государств в послеавгустовский период.

Для выработки «достойного» ответа американцам была образована комиссия во главе с И. С. Силаевым. В нее вошли руководители союзного МИДа, Министерства обороны и КГБ, а также (новый штрих, отразивший существенный политический нюанс ситуации) такие политические советники президента, как А. Яковлев и Ю. Рыжов, которые должны были служить «демократическим противовесом» ведомственным интересам военно-промышленного комплекса. Выработанная позиция была «проконсультирована», то есть попросту доведена до сведения руководителей четырех ядерных республик (с этой целью, в частности, на юг к Б. Ельцину специально летали маршал Е. Шапошников и заместитель министра иностранных дел В. Петровский).

Тем не менее главные параметры политического ответа Президенту США Горбачев сформулировал сам в телевизионном выступлении в форме ответов на мои вопросы. У него не было заранее подготовленного

текста, если не считать нескольких листков бумаги с пометками, сделанными во время телефонного разговора с Бушем. У меня же не было ничего — в том числе и четкого представления о содержании американской инициативы. Горбачев тремя фразами ввел меня в курс дела, импровизированная беседа началась. Политическая сторона дела была ясна — ответ Горбачева, содержавший высокую оценку инициативы Президента США, давал возможность напомнить о том, кто на деле сдвинул с мертвой точки застрявшие несколько лет назад переговоры о ядерном разоружении и сформулировал перспективу безъядерного мира, охарактеризованную в свое время как мечта и утопия.

Выступление Горбачева было записано вскоре после телефонного разговора с Бушем, однако на следующий день решили передать его по телевидению «не слишком рано». Надо было убедиться, что в официальном тексте выступления Буша «в последнюю минуту» не произошло изменений по существу. Кроме того, сказал президент, «не будем суетиться, пусть считают, что мы задумались».

Всю последующую неделю президента и его пресс-службу осаждали журналисты. Американская пресса пыталась истолковать отсутствие немедленного официального ответа как колебания, связанные с сопротивлением военных масштабным встречным инициативам с советской стороны. Некоторую нервозность продемонстрировал и Пентагон; его шеф в своих публичных выступлениях начал намекать на то, что при отсутствии адекватной советской реакции некоторые американские решения могут быть взяты назад.

Советская пресса, не слишком «вгрызаясь» в военно-технические и стратегические аспекты новой ситуации, использовала создавшуюся паузу для политических боев с президентом. «Правда» заранее обвинила его в намерении в угоду американцам растранжирить, как Иванушка-дурачок, нажитое народом добро в виде ракет, подводных лодок и самолетов, левые клевали за то, что он ведет себя уклончиво и тянет с ответом на историческую инициативу Дж. Буша.

5 октября, после последнего «прогона» текста своего заявления в комиссии Силаева, дав возможность по-

дробно высказаться и поспорить всем сторонам, Горбачев внес в него последние коррективы перед выступлением по телевидению. По одному из вопросов, несмотря на ожесточенный спор между военными и «демократами», он в итоге взял сторону Е. Шапошникова. «Не надо осложнять жизнь новому министру обороны, ему и так трудно», — прокомментировал он свое решение.

Зашел разговор о новой советско-американской встрече в верхах. Кто-то предложил даже назвать срок и место ее проведения. Другие возражали, ссылаясь на то, что американцы еще не готовы к «новой Мальте», ибо для них это означает демонстративно «принести в жертву» Ельцина.

— Оставим конкретику за Бушем, — решил президент. — Давайте я ему сейчас позвоню.

Буша довольно долго разыскивали телефонисты и переводчики. «Ищут Скаукрофта», — предположил Черняев. Наконец «Джордж» объявился. Горбачев пересказал ему главные моменты своего предстоящего Заявления, закончив предложением провести новый «саммит». Буш весьма тепло отреагировал на советский ответ, назвал его выдающимся и промолчал насчет встречи в верхах.

Американцы и позже не затронули те моменты в Заявлении Горбачева, которые выходили за рамки, очерченные ими для себя, — ни предложение отказаться от доктрины первого ядерного удара, ни очередной призыв советской стороны присоединиться к новому мораторию на испытания ядерного оружия, объявленному Горбачевым с 5 октября.

С самим же мораторием произошел курьезный, хотя и по-своему закономерный казус: несколько недель спустя мораторий — на этот раз исключительно на территории России — был объявлен Борисом Ельциным. Пресса, в том числе и советская, с восторгом сообщила об этом читателям, забыв, очевидно, как, впрочем, и сама российская власть, что такой мораторий с ее согласия уже действует на всей территории тогдашнего Советского Союза...

Продолжалось «осеннее наступление» президента и на внутреннем фронте. Вслед за совещанием с деловы-

ми людьми он провел в Кремле встречу с сельскими предпринимателями, посвященную активизации аграрной реформы. Заслушал отчет Комитета по оперативному управлению хозяйством о его работе по обеспечению страны продовольствием, принял Комитет солдатских матерей. Направил своих личных представителей в разные регионы страны: А. Собчака и Е. Велихова в Таджикистан — разобраться с обострившейся политической обстановкой в республике; А. Яковлева в Киев — принять участие в мероприятиях, посвященных 50-летию трагедии Бабьего Яра.

В принципе он все делал правильно, нащупывая и обозначая те сферы общественного интереса, на которые безусловно должны были распространиться и внимание, и власть президента. С единственной, но весьма существенной оговоркой — слишком поздно.

Его попытки восстановить контакт с обществом, в частности с его демократическими силами, наталкивались на предубежденность, апатию и недоверие. С другой стороны, после августа Горбачев оказался лишенным прежних рычагов власти, которой привыкло следовать это общество: основные властные структуры, и прежде всего партия, были уничтожены или устранены, а сама власть переместилась из центра в руки республиканских вождей. Из самодержца, олицетворяющего власть, он превратился в Президента Лира, отлученного от нее и вынужденного, несмотря на свою корону, вновь ее завоевывать.

Его безусловно эффективная публичная дипломатия, постоянное присутствие в прессе и на телеэкране, конечно, работали на него, позволяя с каждым днем все заметнее избавляться от последствий «контузии», перенесенной в августе. Это не могло не вызывать подозрений и не усиливать раздражения у тех республиканских руководителей и, главное, их окружения, которые, отведав после августа «самостийности», не собирались вновь уступать центру завоеванную независимость.

Президент же тем временем либо не замечал этого, либо, наоборот, веря в то, что он в конце концов сможет второй раз войти в ту же реку, подвижнически трудился, методично добиваясь расширения политичес-

кой и общественной поддержки своему проекту создания добровольного экономического и политического сообщества наций на месте прежнего Союза. Даже сам термин «сообщество», как, впрочем, и «содружество», его не устраивал — он верил и надеялся, что хотя бы по названию сможет спасти Союз.

2 октября Горбачев имел телефонный разговор с Г. Колем, приуроченный к годовщине воссоединения Германии. В этот же день он принял делегацию Совета американских организаций в поддержку советских евреев во главе с Шошанной Карден. Разумеется, встречаясь с этими представителями влиятельного в США еврейского лобби, Горбачев прежде всего рассчитывал подключить могущественный еврейский капитал к решению острых проблем советской экономики.

Тема помощи была главной и на состоявшейся 8 октября встрече Горбачева с председателями пенсионных фондов США — могущественной финансово-инвестиционной структуры Америки. Американцы в очередной раз пытались добиться от президента определенности в вопросе о сроках преодоления экономической анархии в стране, перехода к конвертируемому рублю и создания стабильных условий для иностранных вкладчиков. При этих условиях они обещали невиданный объем капиталовложений, быстрое решение вопроса о предоставлении Советскому Союзу режима наиболее благоприятствуемой нации и практическую помощь в развитии мелкого и среднего бизнеса.

Горбачев в ответ заверил их в одном.

— Комфорта не будет. Главное — стремление к общей выгоде и потенциал для сотрудничества с обеих сторон. Остальное — риск, и ваш, и наш. Я понял, — продолжал он, — что у вас самые большие капиталы, но одновременно и самые осторожные. Ну что же, решайте сами, как вам быть.

При всех богатствах у нас ненормальная экономика Возьмите парадоксы рубля. Сегодня его называют «деревянным», но, с другой стороны, за 70 рублей можно купить тонну нефти, а это 120 долларов. Получается, что 1 рубль равен 2 долларам. А современный истребитель МИГ-29, который стоит 39 млн. долларов, у нас оценивается в 2 млн. рублей. Автозавод КамАЗ по

нашим ценам стоит 4 — 5 млрд. рублей, а оценщики нью-йоркской биржи оценили его в 12 млрд. долларов. Получается, что при нынешнем обменном курсе, когда 1 доллар стоит 40 рублей (за время после октября курс рубля упал в несколько раз), этот завод кто-то сможет купить за 300 млн.

Ошеломив американцев еще несколькими парадоксами такого же рода, Горбачев завершил:

— Вот почему нам так нужен рынок, который все расставит по местам.

И, оставив малоинтересные ему подсчеты, перешел к общим размышлениям:

— Меня беспокоит, что у нас с США очень слабые экономические связи. Если отбросить зерно, почти ничего не остается. Я говорил Бушу: мы хотим, чтобы вы от нас, как и мы от вас, как можно больше зависели, — тогда будем более предсказуемы.

Закончил президент неожиданной цитатой из Пушкина:

— «Надежды юношей питают». Я, правда, не юноша, но тоже надеюсь.

И продолжил разговор уже как бы с самим собой.

— Пока не умерла надежда, все возможно.

И еще одна встреча в этот же день — с делегацией итальянских промышленников из Конфиндустрии. Горбачев, видимо, торопился, потому сразу перешел к делу:

— Я рассчитываю, что вы подключитесь к развитию малого и среднего бизнеса у нас в стране — без него нам не заполнить нишу на рынке производства товаров и услуг.

Итальянцы, представлявшие 130 тысяч фирм, темпераментно обещали предоставить в распоряжение советских партнеров весь свой опыт — ведь в трудные годы оккупации Италию спасли именно малые предприятия. Ставили вопрос о том, чтобы партнерство развивалось не через центральные бюрократические структуры, а от фирмы к фирме.

С итальянской стороны прозвучали привычные жалобы на то, что в стране даже проработанные и готовые проекты почему-то затормаживаются и никто не может объяснить причину.

Ответ Горбачева:

— Да, необходимо действовать решительно.

На этом и расстались: итальянцы, воодушевленные очередными обещаниями, что им будет оказано всяческое содействие, а главным образом тем, что побывали у самого Горбачева, президент — тем, что провел время с пользой, воодушевив еще одну группу влиятельных друзей его страны на то, чтобы не опускать руки перед лицом творящейся в ней фантасмагории. Самого его в этом убеждать было некому.

ЯМА С ПЕСЧАНЫМИ КРАЯМИ

Приближалось заседание Государственного совета, назначенное на 11 октября. После августовского политического половодья оно должно было подтвердить не только наличие, но и работоспособность новой государственной структуры — пусть даже переходной.

Смысл политического сигнала обществу, который должен был от него исходить: показать, что процесс дезинтеграции страны приостановлен, «разбегание» советской галактики, спровоцированное августовским взрывом, прекращено и начался этап структурирования хаоса одновременно в экономике и политике.

Кроме того, поскольку заседание созывалось Президентом СССР и, естественно, под его председательством, оно означало наличие в стране двух реальных уровней власти: верховного — союзного президента — и республиканского. Вернувшемуся из отпуска Ельцину предстояло сесть на скамью для республик, пусть по правую руку от Горбачева, но не во главе стола.

В дни, предшествовавшие заседанию, президентом овладела мания встреч. Он почти никому не отказывал. Создалось ощущение, что он хотел бы одновременно находиться в разных местах, выступать перед всеми аудиториями (в этом ему помогали почти ежевечерние показы по телевидению) — одним словом, заполнить собой все политическое пространство. Действовал он так скорее импульсивно, чем продуманно, не отдавая себе отчета в том, что его всеядность при подборе участников встреч и постоянное присутствие во всех сводках новостей «перекармливают» общество, деваль-

вируя его имидж, и, безусловно, провоцируют раздражение и желание «поставить на место» в стане его теперь уже непримиримых противников.

К многочисленным встречам Горбачева, судя по всему, подталкивали два мотива. Один — рациональный: будучи по природе пропагандистом, педагогом, он искренне верил, что в конечном счете всех его собеседников можно убедить, «уговорить» вести себя разумно, ответственно и здраво (разумеется, в соответствии с его собственными представлениями об этом). Другой — иррациональный, подсознательный, отражавший его внутреннюю неуверенность, неулегшееся смятение, ту внутреннюю тревогу, которая поселилась в нем со времени путча и от которой он не мог избавиться.

Освободиться от непривычного для него ощущения внутренней слабости можно было только на людях, с их помощью, постоянно представая перед ними прежним и одновременно новым, их Президентом.

* * *

Заседание Госсовета 11 октября началось в обстановке нервного возбуждения. До самого конца было не ясно, явятся ли в Кремль, в так называемый зал заседаний Политбюро, все приглашенные члены совета, и главное — Ельцин. Ощущая переломный характер ситуации, Горбачев в последний момент решил пригласить на заседание еще одного участника, на которого хотел опереться, — общественное мнение. С этой целью в зал внезапно в последний момент было приглашено телевидение, готовое к прямой трансляции заседания.

Начать работу Горбачев решил с тревожного политического заявления, которое должно было напомнить собравшимся в зале республиканским вождям об их ответственности перед страной и собственными народами.

Все уже собрались и расселись за столом, озираясь на провода и телекамеры, а Ельцина все не было. Подождав минут пять и решив, видимо, что он уже не придет, Горбачев решил начинать. Зажглись софиты, и

президент, почти не заглядывая в текст и обращаясь не столько к залу, сколько к телекамерам, огласил свое заявление:

— Хотел бы нынешнее заседание Госсовета СССР, которому придаю исключительное значение, открыть кратким вступительным словом. Меня побуждает это сделать серьезная обеспокоенность тем, как развивается ситуация в обществе и как действуем мы с вами...

Он напомнил, что на V Съезде народных депутатов перед угрозой распада государства и дезинтеграции общества руководители республик и президент сумели предотвратить худшее. «Удалось добиться принятия принципиальных решений. У людей появилась надежда».

Горбачев перечислил эти решения — о подготовке Договора о Союзе Суверенных Государств, заключении Экономического соглашения, сохранении единых Вооруженных Сил и проведении военной реформы, — которые «дали толчок демократическим реформам»... Сказал, что можно говорить о серьезных переменах в позиции Запада по отношению к Союзу.

— Это — наш позитив. Но теперь, когда мы подошли к реальному воплощению принятых на съезде решений в таких фундаментальных документах, как Экономическое соглашение и Союзный договор, без чего немыслимы преодоление кризиса и продвижение реформ, повторяю, как раз теперь возникла опасность расхождений и отката назад.

Надо быть откровенным. Все мы чувствуем сильное давление, причем с разных сторон и с разных позиций. Есть попытки столкнуть между собой членов Госсовета, посеять подозрения по отношению друг к другу, всячески затормозить принятие документов, которые подготовлены на базе согласованных позиций на съезде. Но ведь это таит в себе огромную опасность. Терпение людей на пределе.

Вот почему нынешнее заседание Госсовета приобретает исключительно важное значение. У меня такое ощущение, что, не приняв сегодня решения по главным вопросам, Госсовет не вправе разъезжаться...

Когда он уже заканчивал, в зал вошел Ельцин, бормоча какие-то объяснения насчет опоздания и насуп-

ленный больше обычного из-за того, что попал в разгар какой-то явно не согласованной с ним церемонии.

Закончив свое заявление, Горбачев, как и было задумано, спросил, не стоит ли продолжить телевизионную трансляцию. Члены Госсовета, и без того ощущавшие себя в телевизионной ловушке, дружно замотали головами, и общественное мнение вместе с телекамерами выкатили из зала.

После небольшого препирательства о повестке дня (Горбачев, к явному неудовольствию Ельцина и Кравчука, предложил ввести вопрос о Союзном договоре) перешли к обсуждению главного вопроса — о создании экономического Сообщества. (Верховным лидерам республик предстояло ратифицировать текст, уже подписанный их премьерами и даже тремя президентами.) Докладчиком был приглашен автор уже парафированного 12 республиками текста Явлинский. Его выступление было построено как последовательный разбор доводов тех, кто возражал против самой идеи Сообщества или сомневался в возможности его образования.

Явлинский то сухо и рационально, то патетически обосновывал преимущества Сообщества и общего экономического пространства, последовательно, методично и, как ему представлялось, неопровержимо отметая доводы оппонентов, большая часть которых сидела перед ним в зале Госсовета:

— Некоторые утверждают, что из нынешнего сложного положения легче выйти поодиночке из-за того, что страна «слишком разная». Однако не только прогнозы, но и подсчеты показывают, что цена обособления будет крайне высокой. При этом платить будут не политики, а люди. Результатом раздела страны станет падение производства, безработица, распад денежной системы.

Чем шире и свободнее внутренний общесоюзный рынок, тем легче экономике пережить реформу, ибо другого, внешнего рынка у нее нет. Борьба же республиканских политиков между собой обернется войной с собственными производителями.

Сегодня каждая республика считает себя ограбленной и подсчитывает, кто живет за ее счет. Но ведь всех в равной степени грабит система. При общем рынке,

свободных ценах и отсутствии таможенных барьеров грабежа больше не будет.

Декларация Явлинского звучала убедительно, аргументы казались неопровержимыми:

— Новый центр не будет больше инструментом тоталитаризма, а превратится в координирующий орган — механизм управления рублевой зоной.

— Разумеется, Сообщество будет накладывать определенные обязательства на своих членов, но ведь и в мировом сообществе международные обязательства стоят выше, чем национальные решения.

— В конце концов, каждый имеет возможность защитить свой суверенитет политически, не воюя с экономикой.

Видимо, отдавая себе отчет в том, что аргументов из сферы «чистого экономического разума» для данной аудитории недостаточно, Явлинский закончил публицистикой:

— Как известно, любые, даже самые затяжные войны заканчиваются мирными договорами. Давайте же хоть раз попробуем начать с договора, не объявляя друг другу войны.

В помощь себе он призвал и историю. Первая мировая война в Европе началась, по его словам, после срыва экономического соглашения в Австро-Венгрии, а в США символом прекращения Гражданской войны стало создание Федеральной резервной системы.

Красноречие Явлинского произвело благоприятное впечатление, однако главным образом на тех, кого не надо было убеждать. Скептики отмалчивались, выжидая, не придет ли им поддержка со стороны труднопредсказуемой России. Все, включая Горбачева, ждали реакции Ельцина. Тот в своей обычной категоричной манере отрубил:

— Договор Россия подпишет, однако не ратифицирует, пока не будут готовы основные экономические соглашения по конкретным вопросам. И сразу, — тут он поднял палец, — прекратим финансирование тех центральных органов, которые не предусмотрены этим Договором.

После этого выступления итог заседания стал очевиден. Горбачев попросил участников высказаться «по

кругу». Кравчук подтвердил, что Украина будет готова к подписанию 15 октября, если примут во внимание ее поправки. Назарбаев, выступая от имени трех республик, которые уже подписали договор в Алма-Ате, не отказал себе в удовольствии «порадоваться тому, что услышал от Бориса Николаевича». По его словам, если бы на этом заседании Госсовета главы республик не пришли к соглашению и начали все сначала, «неудобно было бы выходить из этого здания. В конце концов, пусть подпишут те, кто готов, неважно, сколько нас будет — 8, 5 или 4».

После того как высказались «гранды», можно было подводить итог. Однако взявший слово президент Азербайджана Муталибов выдвинул свои условия. Азербайджанский народ, по его словам, «находясь в отчаянии», проголосует против любого договора, который не защитит его от агрессии со стороны Армении. Нынешняя обстановка не располагает к укреплению союзных отношений. Решение вопроса об участии его республики в экономическом и политическом договорах он поставил в зависимость от выделения Азербайджану «достаточных вооруженных сил для организации обороны».

Однако его замечания, как и оговорки узбекского лидера Каримова, не могли повлиять на результат обсуждения. В итоге все члены Госсовета расписались на отдельном листке бумаги, подтвердив, что главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РСФСР, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины условились до 15 октября с. г. подписать парафированный в Алма-Ате Договор об экономическом Сообществе с учетом предложений, высказанных на заседании Госсовета СССР. Рабочим группам полномочных представителей суверенных государств было поручено в течение месяца подготовить соглашения, необходимые для ратификации Договора.

Обсуждение в очередной раз показало: стратегический «альянс» Горбачева, Ельцина и Назарбаева, обладая неоспоримым авторитетом среди членов Госсовета, гарантирует безболезненное одобрение любых согласованных между ними решений.

Объявив перерыв, Горбачев увел республиканских лидеров на обед для закрепления консенсуса. Ведь предстояло обсуждение более деликатных вопросов, и главное — Союзного договора.

После перерыва начали с обсуждения доклада И. Си лаева о продовольственном соглашении на конец текущего и на предстоящий год. При этом никого не смущало то, что и логика, и административный пафос обсуждавшегося соглашения прямо противоречили всей рыночной философии только что одобренного проекта Договора об экономическом Сообществе.

В зале торжествовала привычная для всех бывших партийных секретарей, включая Горбачева, атмосфера распределительной деловитости. Считали республиканские квоты, отчисления в централизованные фонды, объемы поставок, устанавливали санкции за их невыполнение. Цены имелось в виду поддерживать стабильные и согласованные. Новизна состояла в том, что штрафы за невыполнение взаимных обязательств предлагалось взимать в долларах, а вся утверждаемая система поставок уже не отражала прежнюю волюнтаристскую власть центра, а была всего лишь имитацией власти — формой регистрации соглашений, которые республики уже заключили между собой. В конце концов вымученность всей этой конструкции стала очевидной для Горбачева, и он предложил обсуждать только вопросы, относящиеся к централизованному импорту продовольствия и объему общесоюзного фонда, необходимого главным образом для содержания армии.

Наконец, дело дошло до главного: президент предложил в недельный срок представить замечания от республик и собраться всем на новое заседание Госсовета для коллективного обсуждения текста. «Прошу высказаться».

Наступило неловкое молчание. Республиканские лидеры сидели потупившись, как на сдаче зачета у строгого преподавателя — никто не хотел тянуть билет первым. Большинство ждало, чтобы и по этому вопросу Ельцин задал ноту «ля», однако он загадочно молчал.

Узбекский лидер Каримов попробовал «распасо-

вать» мяч, оказавшийся на стороне поля республиканцев. Сделав вид, будто впервые слышит о договоре, он поинтересовался, о каком, собственно, проекте идет речь — том, что обсуждали до августа, или совершенно новом?

Горбачев был категоричен:

— На съезде этот вопрос стоял. Принято соответствующее решение. Проект, который мы совместно с Борисом Николаевичем разработали, вам разослан. Давайте его обсудим.

Опять молчание. Никто из республиканских вождей не был готов взять на себя инициативу бросить вызов Президенту СССР, тем более что это означало бы поставить вопрос о пересмотре решений съезда. Кроме Кравчука. Не глядя на Горбачева, он сообщил, что Верховный Совет Украины принял решение до 1 декабря — даты будущего референдума о независимости — не принимать участия в работе над Союзным договором. Сказал он об этом, как бы извиняясь за свой парламент, который лишил его возможности делать то, чего он бы хотел больше всего на свете.

Позиция Кравчука, выделявшая его из единого фронта остальных республиканских руководителей и ставившая в более привилегированное по сравнению с ними положение, не могла не вызвать у них раздражения. Горбачев это тотчас почувствовал:

— Знаете что, давайте от имени всех членов Госсовета обратимся к Украине с просьбой пересмотреть прежнее решение. Мало ли что было принято тогда, после ГКЧП, под горячую руку, а сейчас наступает нормальная жизнь. Вот только надо решить, к кому обратиться, — наверное, к народу, а не только к трудящимся.

Неожиданно прервал молчание Ельцин:

— Надо обратиться к Верховному Совету, к тем, кто принимал решение.

Чувствовалось, что и ему, видимо, хотелось выровнять республиканский фронт, однако своим замечанием он сразу усилил позицию Горбачева.

В возражения Кравчука о том, что такое обращение может иметь обратный эффект, уже никто не вслушивался. Тандем Горбачев — Ельцин явно обладал кон-

трольным пакетом акций Госсовета. Решение обратиться к Верховному Совету Украины одобрили все при насупившемся, но молчавшем Кравчуке.

Перевалив через вопрос Союзного договора, заседание покатилось под горку. Оставшиеся вопросы — о деятельности Гостелерадио и даже такой неординарный, как реформирование прежнего КГБ, воспринимались как рутинные. Революционный проект трансформации этой некогда всемогущей структуры, представленный Бакатиным, был вежливо выслушан и одобрен после минимального обсуждения.

Отныне КГБ должен был разделиться на три самостоятельных ведомства — центральную службу разведки (во главе с Примаковым), контрразведку (которую должен был возглавить сам Бакатин) и пограничные войска. В своем докладе, впервые содержавшем цифры общей численности штатных сотрудников этого сталинско-брежневского монстра, пережившего нескольких генеральных секретарей и чуть не погубившего последнего из них, Бакатин брал на себя обязательство не только максимально децентрализовать структуру прежнего комитета с учетом новой реальности Союза Суверенных Государств, но и обеспечить его деидеологизацию, строгое соблюдение законности, открытости и, разумеется, отказ от политической слежки.

В возможность этих беспрецедентных перемен вряд ли кто-либо мог поверить еще пару месяцев назад. Сейчас же они воспринимались как деловая рутина. Из-за этого историческая фраза, записанная в решении заседания Госсовета СССР от 11 октября: «Упразднить КГБ СССР...», осталась едва замеченной прессой и общественным мнением, ибо, как в случае с многими другими его решениями, она не создавала новую реальность а лишь регистрировала ее...

Ободренный благополучно закончившимся заседанием Госсовета, президент решил не сбавлять взятого темпа. Уже в понедельник 14 октября он изложил своим советникам план наращивания политической инициативы. К этому времени стало ясно, что подписать, как было обещано, 15 октября Договор об эконо-

мическом Сообществе не получается: ближайший возможный срок — 18-е, разница несущественная. Важно было торжественно и впечатляюще обставить это событие, свидетельствующее о рождении де-факто (в ожидании юридического закрепления этого политическим договором) нового Союза.

Тем временем после долгих проволочек и отсрочек должна была наконец открыться сессия Верховного Совета. Новому парламенту СССР предстояло явить стране и миру новый облик необычного супергосударства — конгломерата «суверенных и независимых» государств, объединенных несчастным прошлым и страхом перед неопределенным будущим.

По представлениям Горбачева, наряду с союзным президентом именно парламент должен был стать еще одним фактором объединения дезориентированного и распадающегося общества. Для этого следовало предложить ему конкретную программу работы.

Неожиданным толчком к формированию его позиции послужила статья в «Независимой газете», автор которой высказал, по всей видимости, то, что Горбачеву хотелось услышать. В статье утверждалось, что, оказавшись лицом к лицу с реальными проблемами общества и взяв на себя ответственность за руководство им, администрация Ельцина «спасует» и не отважится приступить к реализации собственных, уже разрекламированных планов реформы, поскольку это будет неизбежно связано с непопулярными мерами. «Будучи по природе популистом, — объяснял автор статьи, — Ельцин не сможет преодолеть себя и пойти на риск утраты своей популярности». Такая ситуация, безусловно, открыла бы перед Горбачевым, превращенным из правящего президента в царствующего, великолепную возможность отыграться за все предыдущие наскоки радикальной оппозиции и самому выступить от имени общества, настойчиво требующего перемен.

Горбачев уже нетерпеливо заглядывал за горизонт еще не подписанного экономического договора: надо предложить всем республикам программу взаимоувязанных шагов. Однако главное не это, а инициатива в политическом процессе.

— В народе ждут ответа на вопрос, куда идти, — рас-

суждал он вслух. — Больше нельзя выезжать на общих фразах.

Лучшая возможность для этого — открытие сессии Верховного Совета. По его замыслу, речь президента должна была прозвучать программно, конкретно и радикально. Главный упор — на углубление экономической реформы. Ускорить этот процесс создания смешанной экономики, двинуть вперед земельную реформу, поддержать предпринимателей. «Хватит переминаться с ноги на ногу». «Надо честно сказать народу, что его ждет этап тяжелых решений, откладывать их больше нельзя». «Шанс, который открылся в августе, надо использовать незамедлительно».

Настраивая самого себя на эту речь, готовясь предстать перед парламентом и перед обществом в новом, непривычном для себя облике радикала, он в то же время ни разу не задался мыслью о том, как и кем, собственно, будут проведены в жизнь такие революционные шаги. В его представлении, это должно было сделаться как-то само собой — решениями союзного парламента, распоряжениями республиканских правительств, стихийными действиями перевоспитанных людей.

Он оставался воспитателем общества, человеком, способным менять психологическую, духовную и, разумеется, политическую реальность и всякий раз останавливавшимся перед необходимостью воздействовать на реальность материальную — экономическую, социальную, кадровую. В этом были одновременно и его уникальный дар, и слабость как преобразователя, и трудно было определить, что нужнее вздыбленному им обществу в каждый из моментов его новой истории.

По своему обыкновению Горбачев продолжил свои размышления, принимая очередного зарубежного гостя. На этот раз им оказался японский министр иностранных дел Таро Накаяма. В очередной раз вернувшись к оценке последствий путча, Горбачев заметил:

— После разгрома путча кончились одни проблемы, начались другие. Путчисты подтолкнули процесс дезинтеграции страны — последовал целый ворох деклараций о независимости.

Президент объяснял гостю, что в августе централь-

ные структуры по сути обвалились, однако в этот момент в обществе сработали механизмы самозащиты, опираясь на которые удалось приостановить процесс распада страны.

— 18 октября состоится подписание Договора об экономическом Сообществе. Через неделю руководители республик выскажут отношение к проекту Союза Суверенных Государств. Это будет принципиально новое союзное государство с серьезным перераспределением полномочий между республиками и центром. Центр новый, демократический, но не аморфный, а сильный, нужен для выполнения общих функций: способствовать образованию единого экономического пространства, контролю за объединенными вооруженными силами.

Сейчас мы переживаем самые ответственные дни и недели.

Вежливый Накаяма кивал практически при каждом слове переводчика. Потом достал послание от своего премьер-министра Кайфу. Горбачев неторопливо вскрыл конверт, повертел послание — «хорошая бумага, но мнется» — и принялся читать.

Японец привез две новости — сообщение о помощи Союзу в размере 2,5 млрд. долларов и очередной нюансик в позиции по вопросу о пресловутых Курильских островах. В ответ Горбачев продемонстрировал виртуозность дипломата, способного сымитировать значительный шаг навстречу партнеру, не сдвигаясь даже на миллиметр.

Советский Союз, по его словам, за ускорение работы по подготовке Мирного договора. Однако для этого надо создать новую атмосферу вокруг Курильских островов. Это не хитрость и не отговорка — просто надо постепенно менять ситуацию.

— Вы ведь сами видите, что это болезненный вопрос для нашего общественного мнения. Убежден, — сказал он далее, — что за полгода после моего визита в Японию мы смогли бы пройти больший путь в нужном направлении, чем за предыдущие 10 лет.

Ему нравилось приводить в назидание японцам параллель с разрешением германского вопроса — разве мог кто-то заранее предвидеть, что он получит такое ускорение. Так и здесь:

— ...Убежден, что процесс будет идти быстрее, чем мы думали во время моего визита в вашу страну. Количественные перемены неизбежно приведут к качественным сдвигам.

Когда японец попросил расшифровать эти обнадеживающие формулировки, Горбачев отшутился:

— Внимательно перечитайте ваши записи — вы найдете ответ на ваш вопрос в том, что я сегодня сказал. Убежден, в следующий раз смогу сказать что-нибудь новое. А вообще моя интуиция мне подсказывает, что советско-японские отношения скоро по динамике превзойдут все другие.

Встреча закончилась; обнадеженный скорее интонацией, чем содержанием беседы, Накаяма отправился перечитывать свои записи. Горбачев, проводив его, сказал с лукавой усмешкой:

— За семь многочасовых сеансов обсуждения, которое они мне устроили в Токио, да еще вокруг одного слова, я тоже кое-чему научился...

* * *

Относительный успех Госсовета придал Горбачеву и уверенность, и новую энергию. Похоже, его политическая стратегия начала себя оправдывать. Страна увидела президента в роли неоспоримого руководителя приструненных республиканских вождей. Даже Ельцин, похоже, не оспаривал особой роли союзного президента.

— Когда с ним встречаешься один на один, — уверял Горбачев, — почти обо всем можно договориться. Правда, это может рассыпаться, как только он выйдет из комнаты и попадет под влияние своего окружения.

Пока что все выглядело обнадеживающе. Договор об Экономическом Сообществе был, можно сказать, в кармане. Текст Союзного договора, которым удалось «повязать» Ельцина, разослан по республикам. На подходе было открытие сессии Верховного Совета, от которого не приходилось ждать сюрпризов. Президент все энергичнее брал ручку управления страной «на себя».

Настало время послать сигнал о выходе президент-

ского самолета «из пике» и внешнему миру. Повод для этого представила в очередной раз обстановка в Югославии. После неудачных попыток сначала госсекретаря США, а затем и Европейского сообщества затушить разгорающийся там пожар стоило сделать попытку со «славянского угла», тем более что немецкая дипломатическая машина, управляемая Геншером, продолжала методично таранить ворота югославской федерации.

В результате в середине октября советская внешняя политика, о существовании которой все начали постепенно забывать, неожиданно заявила о себе сообщением о том, что в Москву по приглашению Президента СССР прибудут для переговоров лидеры Сербии и Хорватии. Первоначально имелось в виду провести их отдельные беседы с Горбачевым. На возможность совместной «тройственной» встречи боялись надеяться — настолько были обострены к тому времени отношения и между республиками, и между их лидерами

В ответ на мой вопрос, не стоит ли предусмотреть совместный «выход к прессе» в случае удачного хода переговоров, Горбачев суеверно замахал руками:

— Подождем, как все пойдет, позвать журналистов всегда успеем.

Инициатива МИДа застала врасплох и помощников президента, с которыми этот приезд не был согласован. Затея казалась рискованной, шансов на успех было немного, а провал этой почти безнадежной миссии мог обернуться политическими издержками для президента. Кроме того, на фоне полыхающих внутренних конфликтов, в частности в Карабахе, в Грузии и других регионах страны, было непонятно, почему Горбачев должен отдать приоритет тушению чужих пожаров. Однако решение президента на этот счет состоялось, приглашения Милошевичу и Туджману были направлены, и, что удивительно, оба лидера сразу согласились приехать.

В этой ситуации для того, чтобы парировать внутреннюю критику, было решено дать сообщение о намерении президента в предстоящие дни встретиться не только с югославами, но и с лидерами сторон, вовлеченных в карабахский конфликт, — Тер-Петросяном и Муталибовым. Встреча эта по неизвестным причинам

так и не состоялась, но Горбачев, в сущности, и не вспоминал о ней, видимо понимая, что реальных результатов от нее ждать не приходилось. А может быть, и не состоялась она из-за того, что руководители Армении и Азербайджана почувствовали, что, не будь югославов, о них в этот раз бы и не вспомнили.

Уже сам график прилета югославских лидеров в Москву и их прибытия в Кремль привел в ужас президентскую охрану и протокольную службу, поскольку необходимо было «развести» две «воюющие стороны» и в зале для почетных гостей на аэродроме, и в коридорах Кремля. И все же очередной «мини-триумф» Горбачева состоялся. После нескольких часов терпеливого выслушивания обоюдных претензий сербского и хорватского лидеров, а затем столь же терпеливых уговоров каждого из них была достигнута договоренность о «тройственной» встрече. Она быстро переросла в протокольный ужин, а тот в свою очередь — в типичное славянское застолье с воспоминаниями о прошлых — еще в молодые годы — приездах обоих гостей в Союз, об их многочисленных московских друзьях, и с исповедальными тостами.

Горбачев, перемешивая дипломатию и радушие гостеприимного хозяина, умело подогревал атмосферу ужина, происходившего в мидовском особняке на ул. Алексея Толстого, рассчитывая на то, что ему-таки удастся растопить лед отчуждения, разделявший сидевших напротив друг друга противников. Весьма к месту он вспомнил эпизод из своей студенческой жизни, рассказав, как «один югослав — то ли серб, то ли хорват» — всерьез взялся ухаживать за Раисой Максимовной и «даже рассчитывал на успех». Его рассказ создал за столом почти семейную атмосферу.

Главные же аргументы Горбачева на первый взгляд не относились к ситуации в Югославии. Он рассказывал гостям о перестройке — ее драмах, конфликтах, поражениях. И еще — о своей политической тактике: трудностях поиска компромиссов, нетерпимости политических противников и агрессивности республиканских вождей. Все это как бы само собой накладывалось на югославский конфликт и, быть может, против воли

сидевших за столом Милошевича и Туджмана подталкивало их навстречу друг другу.

Авторитет Горбачева-политика, умудрившегося почти бескровно (во всяком случае, без полномасштабной войны) реформировать значительно более пестрое и сложное государство, чем Югославия, для каждого из них был неоспорим. Когда я повторил за столом вопрос, заданный мне на только что прошедшем брифинге: «Какой, собственно, совет может дать Югославии Президент СССР, ведь у него за спиной такое количество конфликтов?» — оба югославских лидера встрепенулись и каждый по-своему выразил одну и ту же мысль:

— Именно благодаря своему уникальному и трудному опыту перестройки, Горбачев имеет и опыт, и моральное право для того, чтобы высказать нам свои рекомендации. И именно от него мы готовы принять советы.

Поданный в соседнем зале кофе позволил перейти к заключительной фазе встречи — выработке совместного коммюнике. Его писали по-русски и отдельными фразами медленно зачитывали югославам, которые переводили друг другу неясные слова на сербско-хорватский. Попутно объясняли, чем сербский вариант этого языка отличается от хорватского. Выяснилось, что масштаб различий не может служить основанием для войны.

Когда наконец очередное и, как скоро выяснилось, увы, не последнее соглашение о прекращении огня было выработано и подписано всеми тремя, Горбачев жестом священника, совершающего свадебный обряд, соединил руки серба и хорвата в своей:

— А теперь пойдем к прессе.

Так мир узнал о «новом шансе» на восстановление мира в Югославии, родившемся в Москве. К сожалению, просуществовал он, по-видимому, только в течение того времени, когда оба югославских лидера находились «под присмотром» Горбачева.

Прямо из особняка все разъехались в разные стороны — один на аэродром, другой — ждать встречи с Ельциным. Горбачев — к себе на дачу. Совесть его была чиста — он в очередной раз сделал то, что должен был в

подобной ситуации сделать мировой лидер, Президент Советского Союза. И вряд ли кто-либо другой сумел бы в сложившейся ситуации сделать это лучше его.

ПРЕЗИДЕНТ ЛИР

Специфика политического рельефа состоит в том, что его истинные очертания — высоту его перевалов и вершин, как и крутизну спусков и глубину пропастей — можно определить только задним числом, после того как политика застынет в виде истории. Пытаться делать это по ходу течения реальной жизни — занятие рискованное и малопродуктивное, все равно что зарисовывать поток раскаленной лавы, стекающей по склону вулкана.

Никто из организаторов и даже участников состоявшегося 18 октября в Георгиевском зале Кремля подписания Договора об экономическом Сообществе не отдавал себе отчета в том, что речь шла о последнем успехе политического курса, ведущего отсчет от марта 1985 года, о торжественной церемонии проводов перестройки — и как термина, вошедшего в языки всех народов мира, и как самого понятия, — о прощальном всплеске надежды на то, что выход народов, составляющих советскую империю, из тоталитарного прошлого произойдет на основе рациональности, в рамках единого трансформируемого государства.

Исторический импульс, сообщенный развитию страны революционным реформаторством Горбачева, исчерпал себя, не выдержав столкновения с теми наиболее темными общественными силами, сопротивление и мятеж которых он сам спровоцировал. После августовского столкновения инерция предшествовавшего ему политического процесса еще в течение двух месяцев влекла потерявшую управление машину унитарного государства, позволив ей подняться до отметки пусть усеченного, но все-таки добровольного экономического союза, после чего она окончательно замерла, уткнувшись в завал, образованный глыбами преградившей ей путь республиканской бюрократии.

Не ведал, разумеется, этого и сам Горбачев, явившийся с утра в Георгиевский зал как бы для того, чтобы

ознакомиться на месте с предлагаемым протоколом и сценарием церемонии, а на самом деле — чтобы растянуть торжество, посмаковать ощущение заслуженного триумфа.

Комендатура Кремля, протокол и пресс-служба доложили диспозицию, показали, где будут стоять камеры, а где флаги государств-подписантов. Выбрали нужный ракурс для того, чтобы «картинка» с Президентом СССР накладывалась на государственный флаг СССР, посовещались, не стоит ли флаг Союза сделать крупнее, чем флаги входящих в него республик.

Оживленно обсуждался вопрос о том, удобно ли на глазах прессы и телезрителей подносить участникам церемонии шампанское. Несмотря на некоторые сомнения президента, собравшиеся убедили его в том, что значение предстоящего события не только оправдывает, но и требует праздничной атмосферы. Всех убедил довод: хватит стесняться нормальных человеческих эмоций и церемоний. На этом и порешили, после чего хозяйственники повлекли Горбачева в Екатерининский зал, где предстояло накрыть стол для торжественного банкета.

Сделав несколько замечаний насчет схемы рассадки и покритиковав слишком «казенные» стулья, удовлетворенный президент пешком отправился в свой рабочий кабинет, что позволило ему в очередной раз пройти по кремлевскому дворцу через толпу не поверивших в свое счастье итальянских туристов и «поговорить с людьми» из Зауралья, приехавшими в Кремль на экскурсию.

Подписание договора выглядело значительно и торжественно. После того как текст с подписями восьми руководителей суверенных государств, совершив круг, достиг Горбачева и он, не торопясь, давая время для съемки фотокорреспондентам и телевидению, расписался на документе, у многих присутствующих возникло ощущение, что тем самым ставится точка в истории смут и раздоров и девять заключивших союз руководителей, чокающихся бокалами с шампанским, берут на себя торжественное обязательство дружно выводить уже утратившую надежду страну из тяжелого кризиса.

Это же впечатление подтвердила последовавшая за

подписанием договора пресс-конференция, в ходе которой республиканские руководители с оптимизмом говорили о неизбежности интеграции, о неразрывных связях республик и народов и выражали надежду на скорое присоединение к договору остальных бывших членов Союза. Что, кстати говоря, и произошло спустя некоторое время, когда к договору присоединились Азербайджан, Молдова и Украина. (Примечательно, что приехавший в Москву Л. Кравчук на этой дополнительной церемонии сам за стол не садился, предоставив почетное или рискованное — неизвестно, как дальше могли повернуться дела, — право подписи договора своему премьеру Фокину...)

Окрыленный успехом экономического договора, Горбачев планировал теперь переход в широкое политическое наступление. Трибуна Верховного Совета, заседание которого открывалось на следующей неделе, представляла, несмотря на досадное отсутствие Украины, прекрасную возможность для того, чтобы закрепить завоеванные позиции. Президент верил, что продолжает подъем, в то время как на самом деле уже на следующий день после триумфа в Георгиевском зале Кремля он ступил на склон, который поначалу незаметно, а потом все круче и круче вел его вниз.

Выступление в Верховном Совете, в которое он вложил «все запасы радикализма», оказалось неудачным. То есть оно не было хуже, чем многие его предыдущие выступления, а в чем-то шло много дальше того, что он до сих пор позволял себе говорить. Это касалось и необходимости полного разрыва с тоталитаризмом прошлой эпохи, и подлинного прорыва к рынку, и изменения отношения к предпринимательству, и необходимости ускорить действительно «радикальную земельную реформу». Президент рассчитывал, что его выступление будет воспринято как общенациональная программа действий, а не только как повестка дня сессии парламента. Он буквально заклинал общество, входящее в чреватый экономическими и социальными потрясениями период, «найти способ для того, чтобы эти радикальные перемены проходили в рамках закона, без

драматических конфликтов и потрясений, с учетом интересов всех социальных слоев, особенно тех, которые могут пострадать в результате быстрого развития рыночных отношений».

Однако его благой призыв не был, по-видимому, и не мог быть услышан. Ни парламентом, рассеянно его слушавшим, будучи больше обеспокоенным собственной судьбой, чем судьбой государства, которое он олицетворял, но которого на деле больше не существовало. Ни обществом, не готовым поверить в чудесное превращение Горбачева из человека трибуны и приверженца компромиссов в человека практического дела, решительного и волевого лидера, способного вести за собой общество, а не толкать его впереди себя.

Только однажды ему удалось создать о себе такое представление и в парламенте, и в обществе, когда после очередного «смазанного» выступления в Верховном Совете он за одну ночь под нажимом своего окружения переделал его в энергичную программу из двенадцати пунктов с конкретными сроками и обязательствами по их выполнению и предстал перед парламентом, как некогда де Голль, беря на себя чрезвычайные полномочия и всю полноту ответственности за управление страной. Тогда парламент, втайне тосковавший по «сильной руке», стоя приветствовал его. Однако после того, как минули объявленные сроки, а ничего так и не произошло, повторить этот «номер» еще раз было невозможно.

Невозможно и по другой, более существенной причине. Дело в том, что он перестал восприниматься как высшая власть не только из-за того, что за шесть лет своего правления ни разу не проявил себя властелином, но и потому, что после августа, сохранив корону, утратил державу и скипетр, то есть реальные рычаги власти.

В России же (а не только в Советском Союзе) такими инструментами власти, подлинным источником ее легитимности испокон века были не Конституция, не право и не народный вотум (у Горбачева к тому же из-за нерешительности, проявленной при введении поста президента, не было и этого мандата), а принуждение, зависимость и страх.

Он сам, собственными руками избавил страну от страха перед властью, а путч лишил его тех рычагов управления, которым она по инерции повиновалась, — армии, КГБ и, главное, партийного аппарата. Республики, воспользовавшись полученным шансом, превратили свои декларации о суверенитете в реальную независимость и перевели на себя оставшиеся атрибуты власти — финансы, кадры, прессу.

В результате президент остался без страны. Правда, пока это еще не означало, что страна уже осталась без президента. Во всяком случае, этого пока не осознали ни он сам, ни ее граждане, ни многочисленные зарубежные визитеры, которые продолжали посещать Горбачева в Кремле, видя в нем, особенно после успешного подписания экономического договора, Феникса перестройки, которому не может угрожать ее пламя, разожженное к тому же им самим.

* * *

Через несколько часов после выступления в Верховном Совете на прием к президенту прибыл министр внешней торговли и промышленности Японии Накао, который начал с привычных, усиленных японским этикетом реверансов в адрес «отца перестройки»:

— Вы лидер революции, позволившей вашей стране уйти от однопартийной тоталитарной системы. Вас в Японии считают не только советским, но и японским политиком, поэтому, пожалуйста, не выдвигайте себя на пост председателя либерально-демократической партии (разговор происходил в канун заранее анонсированной отставки Кайфу).

Горбачев отвечал, как обычно, в тон собеседнику:

— У меня до сих пор не сгладились впечатления от незабываемой поездки в вашу страну. Тот, кто предложил мне посетить Японию во время цветения сакуры, — гениальный человек. Мы с Раисой Максимовной часто просматриваем альбом с фотографиями, сделанными в Японии. Особенно мне нравится та, на которой она осваивает чайную церемонию. Я говорю ей — у тебя такой же разрез глаз, как у японки.

Обменявшись подобными церемонными компли-

ментами и наскоро «отметившись» по территориальной проблеме, собеседники перешли к серьезным темам, ради которых Накао приехал в Москву. Японец уже успел ознакомиться с речью Горбачева в парламенте и выделил из нее то, на что почти не обратили внимания сидевшие в зале, — решимость обеспечить ускоренное и необратимое движение к рынку.

Горбачев подтвердил правильность его вывода.

— Да, сегодня я чувствую больше, чем год назад, поддержку страны. Это дает мне возможность решительнее высказываться о различных аспектах реформы.

(Скорее подсознательно, чем сознательно, он ассоциировал решительность в политике с решительностью своих высказываний о политике.)

Японский министр достал из портфеля объемистый, детально разграфленный компьютером фолиант, содержащий несколько десятков проектов экономического сотрудничества с Советским Союзом. Основными областями такого сотрудничества должны были стать: конверсия оборонной промышленности, безопасное использование атомной энергии, поощрение мелкого и среднего предпринимательства. По оценке министра, вопрос о конверсии — самая большая проблема реформы советской экономики. Накао передал Горбачеву детально разработанный график действий японской стороны по осуществлению предлагаемых проектов.

Президент похвалил японцев за деловитость и поделился, как он сказал, своей навязчивой идеей.

— Я ее неоднократно высказывал Бушу: нам необходимо стать более зависимыми друг от друга. Тогда и мы будем более предсказуемы в своих поступках по отношению к вам, и наоборот.

Горбачев активно агитировал японцев осваивать «необъятный советский рынок», говорил, что рассчитывает на содействие с их стороны в разрушении мощнейшего пласта государственного монополизма.

— Сами мы этот монополизм не одолеем — это сверхмонополизм. Одними правовыми актами его не сломать. Вот почему мы надеемся на внешнюю поддержку. Пусть приходят и японский, и другой зарубежный капитал, берут в руки экономику, конкурируют и с

нашими, и с другими предпринимателями. Мы будем это приветствовать.

Заканчивая беседу, вернулся к советско-японским отношениям:

— Мы выделяем их среди всех остальных. Хотим наладить подлинно новые, открытые и искренние связи. Уже сейчас добились очень важных и, я думаю, необратимых сдвигов. В этом гарантия того, что кто бы нас ни сменил, будет обязательно продолжать начатое нами.

Эта учтивая фраза, которой вполне было уместно закончить беседу, неожиданно прозвучала как прощание. Хотя, пожалуй, ни произносивший ее, ни его собеседник этого не заметили...

Следующим крупным визитером у президента стал Г.-Д. Геншер. Горбачев уже некоторое время с ревнивой настороженностью приглядывался к повысившейся в последние месяцы активности шефа немецкой дипломатии.

Под его руководством внешняя политика объединенной Германии явно начинала теснить позиции сверхдержав и, уж во всяком случае, все демонстративнее подминала под себя остальных членов Европейского Сообщества. Наиболее отчетливо это проявилось в отношении к югославскому кризису, а в последнее время — и в зарождении американо-германской стратегии по новой концепции НАТО, сформулированной в совместном заявлении Бейкера — Геншера.

Считая себя истинным «отцом» германского воссоединения, Горбачев полагал, что вправе рассчитывать если не на особые отношения с тандемом Коль — Геншер, навсегда вошедшим благодаря ему в германскую историю, то хотя бы на политическую корректность в том, что касается его самого и интересов пока еще возглавляемой им страны.

Не одну только скрытую ревность, но и не очень скрываемое раздражение вызвали у Горбачева предпринятые Геншером без предварительного заезда в Москву (хотя бы «для соблюдения приличий») рекогносцировочные поездки в Киев и Алма-Ату. Сам факт этих «самостийных» поездок «при живом президенте» граничил с политической бесцеремонностью. Теперь, после успешной «реанимации» президентской власти в

Союзе, Горбачеву представлялся удобный повод дать это понять Геншеру.

Вот почему разговор двух хорошо знакомых политиков начался с шутливой, однако отнюдь не невинной реплики Горбачева:

— Почему-то в последнее время вице-канцлер предпочитает ездить по Союзу мимо Москвы. Не пора ли нам выпускать перехватчиков, чтобы его сюда заполучить?

Опытный немецкий дипломат сразу почувствовал, как надо себя вести в кабинете явно обретшего прежнюю уверенность Президента СССР. В его версии, состоявшаяся поездка по стране имела целью «не только слушать, но и высказываться самому», как бы «вразумляя» малоопытных республиканских вождей. Получалось, что он в известном смысле как бы оказывал помощь Горбачеву.

Короткой репликой, в которой он выразил надежду на то, что «присущее вице-канцлеру чувство взвешенности ему никогда не изменит», Горбачев дал понять, что принимает извинения Геншера и считает инцидент исчерпанным.

Теперь можно было переходить к «главному блюду». Для Горбачева это были вопросы, связанные с перестройкой единого союзного государства на новой основе. Он не преминул пожаловаться на своих политических партнеров:

— Сейчас, на переломном этапе, много суеты, непродуманности, проявлений мелкого, частного. Мои коллеги часто пребывают в плену то сепаратизма, то популизма. Нам же приходится думать о том, как двигать вперед этот огромный мир.

(Получалось, что думать президенту приходилось практически за всех.)

Чтобы развеять вероятные сомнения, накопившиеся у Геншера за время поездки, Горбачев рассказал о том, как завершается работа над экономическим договором: Украина рассматривает вопрос о присоединении к Сообществу. После двух дней «крика, гвалта и шума» Верховный Совет республики 284 голосами против 39 проголосовал за договор. Муталибов поклялся, что Азербайджан тоже подпишет.

1 ноября, после того как Явлинский представит все приложения к договору, соберутся премьеры и после обсуждения передадут текст в республиканские парламенты на ратификацию.

— Одним словом, — заключил эту часть своей информации Горбачев, — сегодня все республики, включая Россию, изучив ситуацию, приходят к выводу, что в одиночку никто из нынешнего кризиса выбраться не сможет.

Беседа с Геншером происходила в субботу 26 октября. Менее двух суток оставалось до выступления Ельцина в российском парламенте с программной речью, в которой он бросит вызов не только центру в лице Горбачева, но и остальным республикам бывшего Союза, только что подписавшим Договор об экономическом Сообществе. Надо думать, что ко времени встречи Горбачева с Геншером текст этого выступления был уже готов.

Однако в тот день в своем кремлевском кабинете Горбачев излучал уверенность, демонстрировал и безупречную логику, и такой оптимизм, что устоять перед его напором было невозможно. Геншер отозвался на эту тональность, что позволяло ему одновременно сгладить неловкое ощущение, оставшееся от начала разговора:

— Когда я был в Киеве, то убеждал своих собеседников. не идите назад. Мы в Европейском Сообществе из 12 рынков хотим сделать один. То же самое с валютами.

Горбачев с явным удовольствием подхватил эту тему:

— Я изучал ваш опыт и использую его как свои аргументы в разговорах и с Ельциным, и с другими руководителями республик, когда мы спорим насчет единого бюджета, общих налогов и так далее. Знаете, сейчас у нас многие проходят школу, занимаются ликвидацией политической неграмотности.

Следующим классом в этой школе по замыслу Горбачева должна была стать работа над проектом союзного договора.

— Будет единое союзное государство, — объяснял он Геншеру, — с единым рынком, обороной, внешней политикой.

Геншер уже не только кивал, но и поддакивал:

— Надеюсь, Ельцин скажет об этом своему министру иностранных дел.

Горбачев продолжал:

— Есть ряд республик, которые даже нынешний проект договора считают слишком аморфным. Например, Назарбаев требует ужесточить некоторые статьи. 11 ноября члены Госсовета соберутся уже для постатейного обсуждения.

В этот день в Кремле Горбачеву все казалось ясным: дорога к воссозданию на востоке Европы могучего и теперь уже демократического государства, тесно связанного привилегированными политическими и экономическими отношениями с новой, единой Германией, представлялась открытой. Пора было поговорить о европейской геостратегии.

Отчитавшись за работу по возрождению союза, Горбачев приготовился слушать разъяснения Геншера относительно предполагаемых перемен в стратегии Запада. Немецкий министр постарался развеять его опасение, сказав, что вместе с американцами они просто размышляют над тем, как конкретизировать тему политической безопасности в Европе в условиях, когда НАТО осталось единственной военно-политической структурой на континенте. В этом нет ничего, направленного против Востока.

Горбачев кивнул:

— Будем ждать итогов вашей римской встречи. Обнадеживает уже сам факт, что НАТО начало шевелиться.

После этого он вновь вернул Геншера к теме, которая ему в эти дни представлялась крайне важной:

— Когда у нас в стране разворачиваются такие сложные процессы, кое-кому за рубежом изменяет выдержка, начинается суета. Появляется соблазн поставить под сомнение принципы хельсинкского процесса, записанные в Парижской хартии. Некоторые считают, что европейские границы можно вновь обсуждать, размывается грань между вмешательством и невмешательством. Все это говорит о том, что даже у опытных политиков на Западе зачастую не хватает терпения, а то и способности осознать исторический характер перемен,

происходящих на Востоке. Но ведь именно к этим переменам мы все стремились. Понятно, что не все совпадает с начальными прогнозами, но разве возможно составить точный прогноз заранее?

Защищаясь от вежливых, но внятных упреков, вице-канцлер заверил Горбачева, что нерушимость границ остается для Германии «несущим элементом безопасности в Европе. Тот, кто хотел бы заняться изменением существующих границ, нанес бы тяжелейший удар по европейской стабильности. Обсуждать вопрос о границах можно бесконечно, так как у каждого свой атлас».

Горбачев развил эту тему границ:

— Я сторонник того, чтобы границ не стало, но в результате процесса интеграции, а не перекройки.

И опять с настойчивостью предостерег собеседника:

— Если на Западе будут торопиться с признанием независимости республик, возникнут проблемы. Ведь многих границ между ними реально не существует — они установлены решениями местных советов.

В качестве иллюстрации он привел пример с особенно беспокоившей его Украиной, границы которой неоднократно расширялись московскими властями: вначале путем присоединения восточных районов и Донбасса «для того, чтобы добавить голосов большевикам», а в 1954 году решением Хрущева о присоединении к Украине «исконно русского» Крыма. Но ведь все эти условные границы не создают проблем до тех пор, пока люди живут в едином государстве. А если начнется дележ?

В эту эмоциональную тираду Геншер вставил меланхолическую реплику, что раньше проблемы такого рода «решались с помощью браков между монархами». Однако, видимо почувствовав, что брака Ельцина с Кравчуком не предвидится, закончил более политически:

— Крайне важно, господин президент, чтобы вы лично довели до конца процесс заключения Союзного договора.

Собеседники расстались, произнося привычные комплименты, однако прежней сердечности в их прощальном рукопожатии не чувствовалось. Оба были слишком профессиональными политиками, чтобы не задавать про себя, глядя на партнера, вопросов, на ко-

торые — они это знали — не получат ответа, даже если зададут их вслух.

Горбачев мысленно спрашивал Геншера: «Неужели так быстро забыто все, чем обязаны мне и вы с Колем, и Германия, что не готовы помочь сейчас, когда мне так нужна эта помощь?»

Геншер же задавал вопрос не Горбачеву, а себе: «Приду ли я еще раз к этому человеку в его кабинет в Кремле и не настала ли пора прощаться с ним как с политиком и президентом?»

От этих вопросов каждому трудно было отмахнуться, и поэтому прощание вышло рассеянным и формальным.

Проводив гостя, Горбачев с лукавством сказал Черняеву.

— По-моему, «слон» все понял — и насчет Украины, и насчет Югославии, — недаром начал оправдываться. Ничего, ничего, а то даже странно, когда такой политик, как он, ведет себя неаккуратно.

...Суббота заканчивалась. В понедельник предстоял вылет в Мадрид. В воскресенье Горбачев был намерен готовиться к поездке и брал с собой на дачу объемистое досье: кроме участия в ближневосточной конференции, предстояли встречи с испанцами — Гонсалесом и королем Хуаном Карлосом, которым он весьма симпатизировал, а также, что особенно важно, с Бушем.

Перед самым отъездом пришло приглашение от Миттерана — залететь к нему для короткого разговора в его собственное поместье на юге Франции, недалеко от испанской границы. Это выглядело как знак особого расположения со стороны французского президента — он неохотно пускал посторонних в свой частный загородный дом. Горбачев оценил этот важный для него жест как подтверждение того, что сомнения насчет его дееспособности позади и что он больше не воспринимается как сиамский близнец Ельцина.

Впервые после августовского шока ему предстояло официально вернуться в клуб мировых лидеров. Он готовился к этим встречам с уверенностью и спокойствием — позади были трудные, но результативные месяцы. Корабль Союза вновь на плаву, и он — его капитан —

имел полное основание принимать знаки уважения и даже восхищения тем, что спас его от крушения.

На день отъезда было еще запланировано выступление в Верховном Совете с ответами на вопросы депутатов о чрезвычайном бюджете — взбунтовавшийся парламент не хотел санкционировать очередной кредит Госбанка СССР, без которого правительство не могло дотянуть до нового года, а также прием президента Кипра Василиу.

Ни то, ни другое не должно было отнять много времени.

...Прием Василиу пришлось провести в плохо приспособленном для этого помещении рядом с рабочим кабинетом Горбачева, поскольку официальный Екатерининский зал нельзя было в тот день использовать — в Большом Кремлевском дворце проходила сессия российского парламента, на которой должен был выступить Б. Ельцин. Неудобство, вызванное этим выступлением, раздражало — оно напоминало, что в Кремле как минимум два хозяина, но с этим приходилось мириться.

Оглядываясь назад, на понедельник 28 октября, легко стать суеверным, ибо в странных приметах этого дня можно обнаружить знамения, которые по какой-то случайности не привлекли ничьего внимания. Начать с того, что переговоры с президентом Кипра состоялись в декоративном, «фальшивом кабинете» Горбачева, специально оборудованном для телевизионных съемок. В нем стоял и рабочий письменный стол, и целая батарея телефонов, которые, однако, никогда не были включены.

По случаю приема киприота здесь была поставлена другая мебель, однако протокольная служба не успела все проверить, и в результате в самый разгар переговоров начала со зловещим скрипом открываться одна из входных дверей. Закрыть ее плотно не удавалось. Громкий скрип заглушал переводчиков, и у двери пришлось поставить одного из охранников, который в течение всего времени переговоров придерживал ее рукой.

В довершение всего, неожиданно, во время беседы из очков президента, видимо от резкого движения, выпало стекло. Его не смогли сразу найти и вставить на

место, и сидевшему рядом с Горбачевым Вольскому пришлось выйти в приемную, в очередной раз проскрипев дверью, для того чтобы попросить охрану принести запасные очки.

Несмотря на эти досадные мелочи, сами переговоры прошли тепло. Василиу давно стремился выразить Горбачеву свое восхищение. Он гордился тем, что уже в первые часы путча дал ему четкую политическую оценку и даже предрек его скорое поражение из-за того, что «Горбачев уже необратимо изменил свою страну»

Горбачев, к своему удовольствию, узнал, что Форос, ставший местом его заключения, по-гречески означает «маяк», что дало ему возможность к месту напомнить о связи Крыма не только с Россией, но и с Грецией, а стало быть, и с Кипром.

Вежливо-ритуальный разговор был недолгим — оба его участника помнили о предстоящем отлете Президента СССР в Мадрид. Горбачев пообещал Василиу поставить проблему Кипра в ходе его переговоров с Бушем.

— Новая ситуация на Ближнем Востоке позволяет оживить работу по разблокированию кипрской ситуации...

Переговоры закончились. Пройдя через свою приемную, Горбачев увидел на экране включенного телевизора Ельцина и попросил захватить текст его выступления в самолет. В этой речи российский лидер наряду с неожиданным объявлением о единоличном начале Россией радикальной экономической реформы и провозглашением себя собственным премьер-министром, заявил о скором прекращении существования союзного центра. Однако Президент СССР узнал об этом уже в самолете, уносившем его в Испанию.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОЛЕТ «СОЮЗА»

Президентский самолет был неотъемлемой, символической частью института президентской власти, которая начала неспешно сооружаться в стране после избрания Горбачева на этот пост. К сожалению, нередко именно такой декор, а не реальные властные структуры

в тогда еще подвластной президенту стране занимал немалую часть его времени. И не потому, что он не отдавал себе отчета в значимости материальной опоры президентской власти — административного механизма, способного осуществлять принимаемые решения и обеспечивать надежную «обратную связь» между обществом и президентом.

Горбачев, конечно же, ощущал потребность в таком «приводном ремне», особенно после того, как эту роль перестал играть всемогущий и хорошо отлаженный партийный аппарат. Более того, время от времени он предпринимал попытки соорудить нечто, призванное его заменить, — в сущности, последней такой попыткой было введение должности вице-президента с избранием на нее Геннадия Янаева, который, как предполагалось, должен был стать во главе некой Контрольной палаты, призванной наблюдать за претворением в жизнь основных президентских указов. Однако чаще всего эти попытки носили импульсивный характер. Во-первых, из-за того, что внутренне, может быть даже подсознательно, Горбачев понимал, что они не принесут реального результата. Во-вторых, поскольку эта сторона деятельности требовала столь чуждых его натуре методичности, настойчивости и организованности, он был готов, воспользовавшись любым поводом, «отлынивать» от нее. Кроме того, ему просто было скучно опускаться к «прозе жизни» с высот своего исторического преобразовательного проекта.

Не в пример этому вопросы внешнего оформления президентского могущества решать было куда проще и, главное, приятнее. Естественно, что окружавшая президента «рать» настойчиво навязывала ему эту тематику, то предлагая обсуждение интерьера президентского кабинета, то настаивая на выработке деталей дипломатического протокола, в который входил церемониал встреч и проводов на лестнице Большого Кремлевского дворца.

Демократическое естество Горбачева этому сопротивлялось — всего два года назад, во время пребывания в Нью-Йорке, в ответ на предложение одного русского художника-эмигранта написать его портрет он неожиданно резко отреагировал:

— Если начнем заниматься портретами и наградами — конец перестройке.

Однако окружение кивало на пышность веками отработанных церемоний, которыми встречали его президенты в других странах, убеждало в том, что авторитет власти, тем более в России, зависит от «обрамления». И он, не без внутренней борьбы, но и не без глубоко спрятанного удовольствия, уступал.

(Примечательно, что наследовавший ему Ельцин или его «рать», активно боровшиеся под демократическими знаменами против атрибутов «царской власти» Горбачева, начали также со сферы церемониала. Красный флаг, поспешно сорванный с кремлевского купола, как будто это был купол рейхстага, и торопливо водруженное на его место трехцветное полотнище, снятая ранним утром со стены кремлевского кабинета Горбачева табличка с его фамилией; расширенная по сравнению с горбачевскими выездами за рубеж охрана и требование Версаля в качестве резиденции вместо сравнительно скромного дворца Мариньи во время визита в Париж — все это составляло не просто свидетельства личного триумфа российского президента, но в немалой степени смысл борьбы и важнейшие «трофеи» его похода на Горбачева. Как, разумеется, и президентский лайнер, который был немедленно перекрашен в русский «триколор» и получил плохо сочетающееся со стремительным обликом самолета имя «Россия».)

Однако в тот день — 28 октября — лайнер Президента СССР еще нес на хвосте красный флаг и назывался «Советский Союз». В президентском салоне собралась приглашенная Горбачевым группа советников и включенных в число сопровождающих лиц общественных деятелей, среди которых он подчеркнуто выделял «примирившегося» с ним нового директора телевидения Егора Яковлева и приглашенного с «российского берега» председателя парламентского Комитета по иностранным делам, будущего посла России в США Владимира Лукина.

Обстановка была оживленной — трудности ближневосточного урегулирования после преодоленных рвов союзной действительности казались учебной полосой

препятствий. Главное же — президента ждали давно намеченные встречи со столь близким ему по духу и мировоззрению Фелипе Гонсалесом и, конечно, «дорогим Джорджем», с которым можно было, как в прежние времена, склониться над картой мира.

Свою беседу с Бушем Горбачев явно хотел развернуть из встречи «по случаю» Мадридской конференции в самостоятельное политическое событие, сравнимое с незабываемой Мальтой. К тому же он опять, как в свое время на «Максиме Горьком», приютившем Дж. Буша во время шторма в гавани Ла-Валетты, должен был играть роль хозяина. По обоюдной оценке, условия помпезного здания советского посольства в Мадриде, сочетавшего представления оформившего его Ильи Глазунова о «мавританском стиле» с его же фресками «а-ля рюсс», объединявшими лик Христа с портретом Ленина, лучше подходили для саммита, чем американская территория.

По своей привычке президент решил еще в самолете пройтись по пунктам будущего разговора. Одной из основных тем должны были стать встречные шаги сторон в вопросах ядерного разоружения. Горбачев, «дождавшийся» наконец от американцев отклика на свою романтическую программу движения к безъядерному миру, явно не хотел ни отдавать им инициативу, ни продолжать разоруженческий процесс в виде своего рода дипломатического «пинг-понга». Он считал, что нужна согласованная стратегия разоружения в сочетании с поддержанием мировой стабильности.

В ходе обсуждения Горбачев предложил передать американцам в ответ на их информацию меморандум об ответных шагах с советской стороны. И тут же, несмотря на поздний час, позвонив из самолета, заказал необходимые данные начальнику генштаба. От попыток собеседников вызвать его на обсуждение только что прозвучавшей речи Ельцина президент отмахнулся — ему еще предстояло ее прочитать.

Зато на следующее утро, собрав в Мадриде в кабинете посла Сергея Романовского свое политическое окружение, он начал именно с нее. Чувствовалось, что он перечитал речь несколько раз и теперь проверял и уточнял ее оценку.

Горбачев как бы рассуждал вслух:

— Речь неоднозначная. С одной стороны, в ней видно стремление двинуть наконец экономическую реформу. Я не могу не поддержать этого. — Он как бы еще раз переспрашивал себя. — Ведь это то, к чему мы все время призывали, да и общество уже устало ждать реальных перемен. Плохо, что это все объявляется в одностороннем порядке, без согласования с другими республиками. Даже России не под силу в одиночку проводить реформу, для остальных же республик это настоящая катастрофа.

Он поворачивал выступление Ельцина, как монету, разными сторонами. Одна экономическая. В целом она его устраивала. В особенности потому, что ответственность за осуществление чреватой серьезными социальными потрясениями реформы Ельцин готов был взять на себя, избавив от этого Горбачева.

В благодарность президент готов был даже похвалить Бориса Николаевича.

— Главное — он набрался смелости занять позицию ускорения реформ.

Горбачев понимал, что для Ельцина это было трудное, даже драматическое решение, — ведь речь шла о человеке, выдвинувшемся на оппозиционности, на популизме, на способности говорить людям то, что они хотели слышать. Сейчас, получив власть, он вынужден брать на себя ответственность.

— Это нелегко, и важно, что он решился на это. — В словах Горбачева сквозила едва прикрытая зависть — то ли к способности Ельцина принимать те решения, на которые он сам долгое время не мог отважиться, то ли к той очевидной для него популярности Ельцина, превращавшей его в «тефлонового лидера», которому общество готово было позволить делать с собой то, чего не разрешало и не прощало Горбачеву.

Однако была и другая — опасная, хотя пока еще и невнятно выраженная, сторона ельцинской речи: перспектива разрыва с Союзом. В тексте, зачитанном Ельциным, слышался пока лишь намек. В нем говорилось, что Россия последней откажется от поддержки Союза. При желании это вполне можно было представить как

поддержку единого союзного государства, обговоренную между Ельциным и Горбачевым.

Однако можно было понять и иначе: российское руководство искало в позициях других республик «алиби» для отказа от Союза и тем самым как бы приглашало, подталкивало их к тому, чтобы они заняли в этом вопросе более решительную позицию. Очевидно, что сигнал в первую очередь направлялся Украине, где и был немедленно воспринят.

Горбачев уловил, «учуял» эту смену интонации. Он попытался даже порассуждать за Ельцина, стремясь как бы отогнать наваждение этой новой, неожиданно обозначившейся угрозы:

— Разве не понятно, что именно Россия нуждается в новом союзном центре? Это единственно законная форма для осуществления ее ведущей роли в союзе республик. Да и сами республики не примут непосредственного руководства ими со стороны России. Вот почему и они выступают за союзный центр.

Горбачев видел, что стремление к обособлению и «огосударствлению» России ради сокрушения центра будет иметь в дальнейшем катастрофические последствия и для нее самой. И все-таки не мог сразу поверить в то, что для Ельцина и его окружения такая высокая цена за устранение союзного президента могла быть приемлемой: «Нет, все-таки он заявил в своей речи, что будет выступать за Союз...»

Ему так хотелось в очередной раз убедить себя в том, что «все обойдется», что, взяв на себя смертельный политический риск осуществления рыночной реформы, Ельцин оставит ему, Горбачеву, возможность пользоваться политическими дивидендами от позиции мудрого критического наблюдателя, что еще возможно разделить «Бориса Николаевича» и перешедшего Рубикон российского президента, уже водрузившего свой флаг в Кремле и считавшего дни до того момента, когда он останется там единственным. «Два медведя в одной берлоге», — скажет потом сам себе Горбачев, когда в Кремле для него уже не останется места...

Встреча с Бушем началась сердечно и в соответствии с ритуалом американских «паблик рилейшнз» — шумно. Президенты сверкали улыбками, как блицами

фотокамер, позировали прессе, громко приветствовали старых знакомых с противоположной стороны. Начался обед. Буш, видевший Горбачева впервые после провала путча, поинтересовался, когда будет суд над его организаторами, сказал, что был потрясен вероломством окружавших Президента СССР, прежде близких ему людей. Горбачев объяснил их поведение тем, что перемены в стране настолько затронули коренные интересы людей, что даже личные привязанности и давние связи («...с Лукьяновым мы дружили с университетских времен») ушли на второй план. И чтобы разрядить обстановку, закончил шуткой, кивая в сторону Скоукрофта:

— Вы тоже приглядывайте за своими генералами.

Буш с готовностью подхватил:

— Если бы Скоукрофт захотел мою должность, я бы ему ее с удовольствием отдал.

— А я свою — нет, — неожиданно серьезно отреагировал Горбачев. — Особенно в такой трудный момент. Страна созрела для радикальных перемен и даже требует их.

Чувствовалось, что призрак решительного российского президента нависал за его спиной.

Вежливо выслушав рассуждения Горбачева об очередном новом этапе преобразований, американцы перешли к тому, что их занимало больше, — контролю за советским ядерным оружием. В эти дни их весьма тревожили двусмысленные заявления Леонида Кравчука.

— Понимают ли на Украине важность того, чтобы уменьшить количество ядерного оружия и сделать его безопасным?

Горбачев начал их успокаивать:

— Многое искажается или преувеличивается прессой. Не стоит придавать большого значения шуму в украинском парламенте. На Украине идет предвыборная кампания, а в это время, как вы знаете по собственному опыту, бывает немало перехлестов. Придется потерпеть до 1 декабря.

Призрак другого будущего президента, Кравчука, присутствуй он в зале, мог бы удовлетворенно ухмыльнуться — Горбачев, судя по всему, всерьез принимал

его далеко идущую стратегию за ловкую предвыборную тактику.

Правда, иначе советский лидер, по-видимому, и не мог себя вести — он должен был создать у своего американского партнера ощущение того, что полностью контролирует обстановку. Вот почему он заговорил как верховный главнокомандующий:

— В проекте Союзного договора предусматриваются единые Вооруженные Силы Союза. Будет объединенное командование с участием представителей республик, однако о национализации Вооруженных Сил, растаскивании их по национальным квартирам речи идти не может.

Въедливый Бейкер не унимался. Его смущали и объявленные намерения украинцев обзавестись собственной армией в 450 тыс. человек, и намеки россиян на возможность применения ядерного оружия в конфликтах между республиками. Горбачев смел эти «безответственные» высказывания со стола:

— Сегодня все под контролем. Вы можете быть абсолютно спокойны. Что же касается единых Вооруженных Сил, то это наша единая с Ельциным позиция, и она закреплена в проекте договора.

Разговор о будущем армии позволил ему в драматической форме поставить перед американцами вопрос, который его больше всего интересовал, — о помощи.

— Вы видите, как все сложно идет. По сути дела, создается другое государство. Мы помним о своей ответственности и готовы согласовать наиболее важные вопросы с вами как нашими наиболее близкими партнерами. Однако рассчитываем на понимание исключительности ситуации и на неординарную поддержку.

В ответ же — со стороны Запада — мы слышим то отговорки, то традиционные ссылки на неясность ситуации у нас, трудности во взаимоотношениях с собственными парламентами и так далее. Но ведь неужели не видно, что речь идет о сдвигах исторического масштаба?

Эту страстную тираду Горбачев подкрепил известной притчей о путнике, который, увидев рабочих, занятых на стройке, спросил, что они делают. Один отве-

тил: «Надрываемся — таскаем тяжеленные камни». Другой сказал: «Разве не видишь — мы строим храм».

В этой патетической притче о Шартрском соборе, неожиданно и не вполне уместно прозвучавшей за прагматично настроенным столом, выразилось и одиночество, и горечь человека, до сих пор до конца не понятого и не поддержанного своими партнерами.

Конечно, не в эти дни, а много раньше Запад упустил свой шанс помочь тому, кто мог стать его уникальным партнером по возведению храма нового, более предсказуемого и безопасного мирового порядка. За все те годы, когда Горбачев давал ясно понять, что считает своим основным фронтом внутренние проблемы, Запад так и не сыграл для него роль того надежного тыла, на который он рассчитывал опереться, не вооружил его материальными аргументами, которые дали бы ему шанс выиграть почти безнадежную битву, развернутую им у себя в стране, сражаясь одновременно и с ее гнетущей чудовищной реальностью, и с ее историей.

В условиях, когда он сжигал один за другим корабли, отрезая прежнему советскому обществу, а значит, и самому себе пути к отступлению, когда, не заботясь о престиже ранее великой, хотя и зловещей супердержавы, бросал к ногам Запада все новые односторонние уступки и даже когда фактически поднял белый флаг капитуляции в «холодной войне», западные лидеры продолжали сомневаться, колебаться и прицениваться. Его поощрительно и благосклонно похлопывали по плечу, подталкивали к предъявлению новых «доказательств» — то преданности демократии, то приверженности рынку.

Однако за все это время Запад почти не сделал ощутимых практических шагов ему навстречу, будь то в области внешней политики или экономической поддержки, которые он мог бы предъявить собственному народу в подтверждение того, что демократия, рынок, плюрализм и новая внешняя политика окупаются и способны хоть в чем-то изменить к лучшему повседневную жизнь людей.

С высокого берега своего благополучия и окончательно обеспеченной безопасности Запад не без сочувствия и симпатии наблюдал за смельчаком, отважив-

шимся в одиночку вплавь пересечь разделявшую два мира реку, и не торопился бросить ему спасательный круг, даже когда стало ясно, что сильное течение может снести его обратно.

Предоставившуюся ему в Мадриде возможность для непосредственного, быть может, последнего официального контакта с лидерами западного мира Горбачев стремился использовать до конца. Он считал необходимым апеллировать не к их великодушию, а к чувству реализма и здравому политическому расчету — ведь «то, что произойдет с Союзом, будет иметь последствия для всей мировой истории». И верил, что время для этого еще не ушло.

В разговорах с Бушем, Гонсалесом, королем Хуаном Карлосом, а затем и с Ф. Миттераном, не теряя времени на протокол и дипломатические формулировки, сам задавал себе в их присутствии те вопросы, над которыми они ломали головы вместе со своими советниками: существует ли еще Советский Союз? Кого представляет Горбачев? И пытался объяснить, что удовлетворительные ответы на эти вопросы он сможет дать только вместе с ними.

Даже когда, как это было в разговоре с Бушем, речь заходила о других странах — Кипре или Югославии, — разговор, по существу, не отклонялся от этой главной темы.

— Некоторые считают, что Югославии больше не существует, — говорил Горбачев, и всем было понятно, какую страну он на самом деле имеет в виду. — Те, кто проявил поспешность, поощряя сепаратистов, думаю, оказали плохую услугу европейскому миру.

Буш, солидарный в этом вопросе с Горбачевым, соглашался, что Германия забежала вперед, напоминал, что американцы пытались сдерживать процесс признания независимых республик. Однако Горбачев продолжал настаивать:

— В конце концов, речь идет не только о Югославии. Как продолжать дальше европейский процесс, если мы не сможем найти способ решать подобные проблемы?

И от проблем распадающейся Югославии вновь к разваливающемуся Советскому Союзу:

— Центральный вопрос сегодня — это государственность. Не решим его — будем лбом упираться в стену.

Примером недопустимой небрежности, чреватой тяжелейшими и труднопредсказуемыми последствиями, он считал сделанное в этот период пресс-секретарем Ельцина заявление о возможности перекройки границ с Украиной:

— Это подстегнуло сепаратистские тенденции в Киеве. Снова заговорили об имперских притязаниях России. Неудивительно, что в сложившейся ситуации и Президент Казахстана Назарбаев выступил против любых территориальных притязаний.

Рассуждая на эту тему, он, похоже, продолжал видеть причины всех «оговорок» скорее в некомпетентности российского руководства, в инерции популизма, в том, что «Ельцин подвергается давлению определенных людей (имелся в виду, конечно, его злой гений — Бурбулис, который совершил не просто восхождение, а взлет к вершинам российской власти, став вторым по влиянию лицом в российской администрации, после того как в качестве стратега предвыборной кампании Б. Ельцина обеспечил ему триумфальное избрание на пост Президента России с убедительным отрывом от ближайшего соперника — тогдашнего премьер-министра Советского Союза Николая Рыжкова), чем в умысле и продуманной линии на развал единого государства. Ему еще трудно было поверить, что изголодавшаяся по верховной власти российская необюрократия готова «приготовить себе яичницу» на вулкане республиканского национализма и, невзирая на то, что это в конце концов обернется трагедией прежде всего для самой России.

Горбачев, разумеется, знал о подобных настроениях в окружении Ельцина. Более того, вопреки своим правилам он неоднократно прямо ссылался на попавший к нему в руки пресловутый меморандум Бурбулиса, в котором обосновывалась необходимость для России сбросить с себя бремя других республик и идти вперед в одиночку, единолично приняв на себя функции правопреемника Союза. В то же время неоднократное обсуждение этих вопросов с Ельциным создало у него впечатление, что тот понимает масштаб опасностей,

связанных с такой перспективой. «Это вызвало бы громадные трудности для России и значило бы несколько лет больших потрясений», — сказал он Бушу.

Буш не оспаривал прогноза. Больше того, он не делал секрета из того, что в Вашингтоне, безусловно, предпочитали вариант преодоления кризиса в Союзе, который привел бы к сохранению центра, возглавляемого Горбачевым. В подтверждение искренности своих слов американский президент имел полное моральное право сослаться на то, что, побывав в Киеве еще до переворота, он выступил с явно «промосковской» речью, осудив проявления местного национализма.

Не вызывала большого энтузиазма у Буша и перспектива иметь более тесные отношения с Ельциным. Чувствовалось, что, несмотря на все предпринятые после августа попытки поднять их до уровня доверительности и теплоты, установившихся между Бушем и Горбачевым после Мальты, это явно не получалось. Американцев озадачивала непредсказуемость поведения российского лидера, они не были убеждены в продуманности и подготовленности демонстративно-решительных шагов, предпринимавшихся им во внутренней политике, их также скорее озадачивали, чем радовали его импровизации во внешней, даже когда речь шла о широких, делавшихся «от души» жестах, призванных завоевать расположение американцев, — от провозглашения России «союзником» США до объявления о перенацеливании с американских объектов в неизвестно какое друго: направление советских стратегических ракет.

Вот и сейчас Буш не скрывал недоумения по поводу последней речи Ельцина — по его словам, в телефонном разговоре накануне Ельцин даже не упомянул о тех принципиальных моментах будущей речи, которые вызвали столь разноречивые толкования на Западе.

— Все это ставит вопрос о политической кредитоспособности будущего Советского Союза, — откровенно сказал он Горбачеву, дав понять, что до прояснения взаимоотношений центра и республик, а стало быть, между ним и Ельциным, администрация и конгресс США не пойдут на выделение Советскому Союзу более существенной материальной помощи.

Буш ссылался при этом и на конгресс, и на общественное мнение, дыхание которого в канун избирательной кампании он не мог не ощущать, и на мнение экспертов, которые, естественно, не могли сказать ничего утешительного о советской кредитоспособности. И все-таки главное условие расширения американской помощи, безжалостно сформулированное Горбачеву, сводилось к прояснению статуса центра, к подтверждению его легитимности со стороны все сильнее оспаривающих ее республик, и, в первую очередь, России.

Все попытки Горбачева объяснить американцам, что именно их помощь в сложившейся драматической ситуации особенно важна для внутренней консолидации обстановки в Союзе и прояснения тех самых вопросов, которые беспокоят администрацию, были выслушаны с вежливым недоверием.

Скорее всего, они были восприняты как попытки Президента СССР использовать фактор внешней помощи центру как внутренний аргумент в его борьбе с республиканскими «боярами».

Видимо, для того, чтобы смягчить горечь пилюли, после окончания беседы Бейкер шепнул Панкину, что предложенные американцами «пока» 1,5 млрд. кредитов на продовольствие, вместо запрошенных 3,5, имеет смысл взять в любом случае, «а там видно будет».

Завершив беседу, президенты спустились на нижний этаж к истомившейся от нетерпения прессе и скорее самим фактом своего появления, чем ответами на вопросы журналистов постарались создать впечатление того, что советско-американские отношения успешно вышли из периода послеавгустовской неопределенности. При этом американский президент настолько добросовестно сыграл свою роль, что пресса, рассчитывавшая уловить в его ответах оглядку на отсутствовавшего российского президента, была разочарована и сделала однозначный вывод: Буш выбирает Горбачева и поворачивается спиной к Ельцину.

Правда, один из первых же вопросов советской печати напомнил Горбачеву о том, что значительно большая неопределенность, связанная с будущим его страны и его собственным, подстерегает его дома. Президент принял вызов — отвечая на вопрос о том,

кто в его отсутствие замещает его в Москве, он ответил коротко:

— Меня не замещает никто.

Вечером того же дня фрески Ильи Глазунова приветствовали еще одного весьма необычного для стен советского посольства гостя — премьер-министра Израиля И. Шамира. По-своему его встреча с Президентом СССР была куда более политически значимым событием, чем кисло-сладкая беседа с Бушем. Она венчала собой длительный и деликатный процесс выправления односторонней ориентации советской внешней политики на Ближнем Востоке на поддержку наиболее радикальных арабских режимов и палестинских лидеров, противостоявших Израилю и США. Ее нельзя было даже назвать проарабской, ибо она в сущности была лишь одним из элементов глобального антиамериканского противостояния, которое и должно было, по мысли советского руководства и многолетнего шефа его дипломатии А. Громыко, олицетворять величие Советского Союза как второй мировой супердержавы. В то же время эта политика была безусловно антиизраильской, ибо могла опереться внутри страны на мощный потенциал традиционных антиеврейских настроений, культивировавшихся правящей номенклатурой.

По всем этим причинам изменить советскую позицию по отношению к Израилю и добиться восстановления с ним дипломатических отношений Горбачеву было, пожалуй, еще труднее, чем согласиться с объединением Германии. Однако и в этом покрытом коркой общественных предрассудков и застарелого российского антисемитизма вопросе ему удалось за подаренные историей шесть лет выплатить один из последних внешнеполитических и моральных долгов, который ему оставили в наследство его предшественники.

Сопровождавшие Шамира высшие чины израильской дипломатии в черных ермолках были настроены торжественно — на их глазах закрывался один из длительнейших политических конфликтов послевоенной истории. Сам Шамир давал ясно понять, что для него приезд в Мадрид едва ли не в большей степени связан с

возможностью встретиться с Горбачевым, чем с открытием конференции по Ближнему Востоку.

Горбачев был радушен и по своему обыкновению решил первым разрядить натянутую атмосферу «исторического момента»:

— Я всегда был за то, чтобы между нашими людьми наладились контакты, всячески поощрял поездки в Израиль. Помню, по возвращении оттуда член Президентского совета Чингиз Айтматов сказал, что в Тель-Авиве повсюду слышна русская речь, чуть ли не чаще, чем в некоторых наших республиках.

Он подтвердил Шамиру, что вопрос о назначении советского посла в Израиль будет решен в ближайшие дни. (Им стал обозреватель «Известий» Александр Бовин.)

Перейдя к внутренним делам, пожаловался на обилие проблем — «все перемешалось». Люди, которые еще вчера были яростными сторонниками прежнего режима, стали радикалами и оппозиционерами. В этих условиях нелегко строить демократические структуры. Много популистской фразеологии и безответственности.

— И все-таки, надеюсь, мы выходим из фазы популизма, а переход от оппозиции к ответственности никому легко не давался.

Подбирая значительные слова, Шамир начал с выражения признательности Горбачеву за то, что исторический сдвиг в советско-израильских отношениях происходит именно при его руководстве:

— У нашего народа долгая память, и он умеет помнить тех, кто сделал ему добро. Мы признательны за то, что благодаря вам приняты законы, обеспечивающие право выезда из страны для всех желающих.

Горбачев в ответ сказал, что после провала путча многие, желавшие выехать из СССР, передумали и решили остаться.

— А вообще в последнее время многое изменилось в лучшую сторону Сегодня в Москве уже 22 школы, где изучают еврейскую религию и культуру.

Отвечая на высказанную Шамиром признательность за осуждение антисемитизма, отметил:

— Меня не раз призывали занять в этом вопросе

четкую позицию и я всегда подчеркивал, что выступаю против антисемитизма, как и против всех проявлений национализма и шовинизма. Надо учитывать и такой чувствительный момент — десятилетия тоталитарного режима принесли страдания буквально всем народам. Многие из них подвергались высылке, репрессиям, объявлялись преступными. Много страдал и русский народ.

В целом же, по его оценке, «...общество не подвержено националистической болезни. Даже сейчас, когда возникла социальная напряженность, когда в обществе появляется соблазн найти «козла отпущения», не произошло усиления антисемитизма».

Президент, как видно, не хотел выходить из своего официального образа — уверенного, осведомленного обо всем и контролирующего ситуацию лидера. Будучи частью общепринятой дипломатической игры, это, разумеется, была естественная, если не единственно возможная в его положении не столько позиция, сколько поза. Беда, скорее, была в другом — слушая самого себя, он нередко воспринимал себя как собственного собеседника и, как правило, позволял ему себя уговаривать. Его истинная проблема поэтому состояла не в том, что он слишком благодушно и небрежно отметал многие реальные и острые проблемы на дипломатических переговорах, а в том, что делал то же самое в диалоге с самим собой.

Разобравшись с советско-израильскими делами, собеседники обратились в сторону Ближнего Востока.

Важно, чтобы люди говорили друг с другом, — вот что, по мнению Шамира, было главным и в самом факте созыва конференции в Мадриде.

С присущей ему настойчивостью, энергично взмахивая руками, Шамир старался добиться от Горбачева поддержки в вопросах прекращения вооруженных поставок из СССР в арабские страны, а также формулы дальнейших переговоров с арабами — Израиль хотел бы, чтобы они проходили в странах региона, на двусторонней основе. Горбачев дослушал его пылкую речь до конца и ответил латинской поговоркой: «*Да будет выслушана и другая сторона*, как говорили древние римляне», — высказав при этом надежду на то, что своим за-

втрашним выступлением Шамир задаст конференции конструктивный тон.

На этом историческая встреча закончилась. Шамир пригласил Горбачева в Израиль, и это еще несколько лет назад немыслимое предложение было с благодарностью принято. В ходе беседы «ястреб» Шамир выглядел таким голубем, что, распрощавшись с израильтянами, Горбачев не скрывал приятного удивления. И тут же подтвердил принимавшему участие во встрече Б. Панкину, что действительно готов, «не слишком откладывая», посетить Израиль.

Собравшаяся в холле советского посольства пресса, окружив Шамира плотным кольцом, еще минут двадцать выпытывала у него подробности разговора, сам факт которого уже успел стать мировой сенсацией.

Горбачев тем временем отбыл на ужин к королю Хуану Карлосу, в котором должны были участвовать Джордж Буш и Фелипе Гонсалес. Дам не приглашали — предстоял «мужской разговор».

Он таким и получился. Главной темой стало будущее Советского Союза. Горбачев попробовал в привычной манере успокоить собеседников. Дескать, идет трудная борьба за Союз, но есть все основания рассчитывать на успех. Мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новое союзное государство играло конструктивную роль в мире, стало мощным позитивным фактором на международной арене.

Однако ограничиться общими заверениями не удалось. Король, президент и премьер не скрывали своей тревоги по поводу того, что происходит за спиной Горбачева, и, очевидно, хотели удостовериться в том, что он в полной мере осознает, каким потрясением для всего послевоенного мирового порядка станет беспорядочный, неконтролируемый распад центра влияния и элемента мирового баланса сил, который представляла собой, по выражению Гонсалеса, «восточная окружность» — сообщество народов и государств, объединенных в Союзе.

— Если такой окружности не будет, в Европе и в мире возникнет опасный вакуум.

Откликаясь на это беспокойство, как бы подзаряжа-

ясь от своих собеседников, Горбачев говорил все более решительно:

— Буду добиваться полноценного Союза и от этого не отойду. Союз нужен не только нам, но и нашим партнерам на международной арене, поскольку хаос и постоянная нестабильность в такой огромной стране, как наша, создадут угрозу для всех. Я сделаю все, чтобы сохранить Союз — обновленный, с большими правами суверенных республик и в то же время с прочным центром, который будет обслуживать единое экономическое пространство, обеспечит согласованную внешнюю политику и оборону за счет единых Вооруженных Сил, сохранит в неприкосновенности то, что просто нельзя рвать, — единую энергосистему, транспорт, связь, экологию.

Однако за столом вместе с Горбачевым сидели профессионалы, понимавшие, что одних заявлений о намерениях недостаточно. Его засыпали вопросами:

— Каковы реальные шансы, что ваш замысел удастся осуществить? Как надо расценивать действия Украины? Как воспринимать последнюю речь Ельцина?

Горбачев повторил свою отрепетированную еще в самолете формулу:

— Речь неоднозначная и как бы распадается на две части. Экономическую программу при всем ее волюнтаризме и отсутствии механизма реализации следует поддержать. Ельцин берет на себя ответственность за радикальные, болезненные шаги, без которых все равно не обойтись.

В политической же части, по его мнению, было слишком много двусмысленностей, которые уводили от концепции союзного государства, зафиксированной в проекте Союзного договора, подписанном двумя президентами.

Собеседники не унимались:

— Как все-таки воспринимать призыв к сокращению в 10 раз общесоюзного МИДа? Можно ли вообще доверять человеку, который обещает одно, а на следующий день говорит и делает совершенно другое?

И наконец, главный вопрос:

— Не собирается ли он подрезать вам крылья?

Горбачев не слишком убежденно и поэтому не впол-

не убедительно защищал того, с кем оказался скованным одной цепью политических событий. Говорил, что с Ельциным можно находить общий язык и взаимодействовать, объясняя «сюрпризы» с его стороны воздействием окружения, которое его очень плотно «опекает».

— Бывает, работаешь с ним, договариваешься, а потом оказывается, что надо начинать все сначала. Такова реальность.

В то же время он, по-видимому, искренне считал, что в сложившейся ситуации было бы ошибкой идти на столкновение с Ельциным. Причем эта его позиция основывалась не столько на осознании собственной слабости, ощущении зависимости от утвердившего свою бесспорную власть Президента России, сколько на убежденности в том, что новый конфликт, «развод» между ними был бы пагубен для общего дела.

Что же до надежности...

— Скажите, Джордж, — уходя от прямого ответа, обратился он к Бушу, — вы восемь лет были вице-президентом, четвертый год на посту президента. Все это время мы с вами знакомы. Был ли за эти годы хотя бы один случай, когда бы я дал слово и не сдержал его?

Буш не колеблясь ответил:

— Нет, ни разу.

Горбачев удовлетворенно кивнул.

— А вот мне во взаимоотношениях с республиканскими лидерами нередко приходится сталкиваться с обратным. Такова специфика момента, который мы переживаем.

Разговор перешел на положение в республиках, коснулся предстоящих выборов на Украине, настроений в Крыму, вопроса о границах. Многое, утверждал Горбачев, объясняется незрелостью политиков, выдвинувшихся на волне перестройки. Бывшие столпы прежнего режима состязаются в том, чтобы до основания разрушить все, что еще осталось от центра. И это в условиях, когда прежнего, тоталитарного центра давно уже нет. Он привел анекдот о партизане, продолжавшем взрывать поезда в Белоруссии через двадцать пять лет после окончания войны, потому что ему никто не сказал, что она закончилась.

Упомянув о Белоруссии, Горбачев отнюдь не имел в виду критиковать ее нового председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича. На фоне сложных отношений с Ельциным и Кравчуком белорусский лидер выглядел более предсказуемым и стабильным. Он сравнительно неожиданно выдвинулся в политические деятели и, поскольку одержал убедительную победу, активно выступив по совету Горбачева в поддержку Союза, служил для него отрадным подтверждением того, что его ставка на сохранение единого государства пользуется поддержкой в «низах», у массового избирателя.

— И все-таки, — еще и еще раз переспрашивали в тот вечер Горбачева собравшиеся в Мадриде лидеры, — верите ли вы, что сможете победить в своей борьбе за Союз?

Им так хотелось, чтобы он их в этом уверил. И он понимал, что от него ждут не успокоительных слов, а решительных действий у себя дома.

— Будет борьба, будет трудно, но я буду работать со всеми, по отдельности и вместе. Если же увижу, что побеждает другая концепция, то честно скажу об этом и не останусь президентом.

Это было сказано искренне и убежденно. И поскольку на этот раз он не пообещал ничего, кроме того, что мог реально сделать сам, не гарантируя успеха заранее, ему поверили.

Прощаясь, Буш сказал:

— Мне предстоит ужасный год — год выборов, и все же, Михаил, я не хочу сравнивать свои заботы с той гигантской задачей, которую решаете сегодня вы. Это потрясающая, захватывающая драма. Мы все следим за ней, затаив дыхание, и желаем вам успеха.

С этим напутствием Горбачев вернулся с «мальчишника» при дворе испанского короля в свое пока еще союзное посольство...

* * *

Ближневосточная конференция открылась утром следующего дня в помпезных декорациях мадридского Паласио Реаль. В центральном зале королевского двор-

ца царила возбужденно приподнятая атмосфера, соответствовавшая уникальности переживаемого события. У журналистов, сгрудившихся на специально сооруженной трибуне, разбегались глаза от обилия сюжетов для фотосъемки: и впервые усевшиеся за один стол с арабами израильтяне, и два сопредседателя конференции, олицетворявшие историческое примирение двух противоположных политических миров, — все в равной степени просились на первые страницы газет.

Сбившаяся с ног испанская протокольная служба, к восторгу собравшихся, перепутав какие-то правила, дважды выводила «на сцену» Горбачева и Буша, прежде чем окончательно разместила их за расширенной председательской трибуной. Эксперты и советники обоих президентов расселись на стульях вперемежку, образовав наряду с иордано-палестинской еще одну совместную делегацию.

Наконец, после того как суета улеглась, советский министр иностранных дел Борис Панкин выполнил отведенную ему символическую роль, объявив конференцию открытой, а Фелипе Гонсалес на правах хозяина обратился к собравшимся и к миру с приветствием и с выражением надежды на то, что открывшийся исторический шанс не будет упущен.

Затем с речами выступили Горбачев и Буш. Первый — с рассказом о новом политическом мышлении и о трудностях перестройки. Второй — с длинным напутственным словом, обращенным к участникам конференции. Накануне на ужине у короля он предупредил Горбачева, что речь будет «скучной», и просил не засыпать, пока он будет ее произносить. Горбачев не заснул, это за него сделал Шамир.

Открыв конференцию, два президента с видимым облегчением покинули зал заседаний, оставив ее участников на попечение своих министров иностранных дел. Они простились на лестнице Паласио Реаль — Буш улетал, Горбачев ехал на встречу к Гонсалесу. В суете прощания никто не успел подумать о том, что это было последнее рукопожатие лидеров двух мировых сверхдержав и что в этот день в Мадриде, в соответ-

ствии с пророчеством Фукуямы, наступил «конец истории»[1].

Однако и миру, и самим участникам исторического апофеоза еще предстояло это узнать, и потому Горбачев в приподнятом настроении отправился на встречу с человеком, с которым, по его собственным словам, он мог говорить откровенно, как ни с кем, «в том числе у себя дома».

Он не просто ценил, он любил «Фелипе». Отвечая как-то на вопрос о том, кто из зарубежных деятелей ему ближе всего, он не задумываясь сказал: Гонсалес. Добавив сразу же: «...хотя и с остальными — Бушем, Колем, Миттераном, Тэтчер, а с недавнего времени и Мейджором — сложились не просто деловые, но и сердечные отношения. Но с Гонсалесом — особенно».

В испанском премьере ему нравилось все — темперамент, открытость, молодость, склонность к абстрактному, «философическому» мышлению. В особенности же то, что своей приверженностью социализму Гонсалес создавал «алиби» для горбачевского «социалистического выбора».

Их разговоры, как правило, продолжались по нескольку часов, и только от Гонсалеса мог Горбачев выслушать то, что испанский премьер решился высказать своему другу: по его мнению, Горбачев не отдавал себе отчета в том, насколько близко он подошел к финальной черте своей политической карьеры.

Гонсалесу, видимо, казалось, что в «Михаила» достаточно вдохнуть политическую волю, решимость, сопротивляемость, мужественность, определяемую испанским словом «мачизм», и дела в Союзе еще можно будет поправить. Он рассуждал здраво и логично — по-европейски. Откуда ему было знать, что за плечами Горбачева дышала совсем другая, иррациональная реальность вздыбленной страны с разозленным народом и плутоватыми политиками.

Объяснить ему это было невозможно, да и незачем. Горбачев лишь попробовал еще раз, на этот раз с помо-

---

[1] Френсис Фукуяма — американский политолог, эксперт Госдепартамента США и РЭНД корпорэйшн, прославившийся после выхода в свет статьи «Конец истории», посвященной «мировому триумфу либерализма».

щью Гонсалеса, донести до западных лидеров, что они совершат «стратегическую ошибку», если и дальше будут наблюдать за разваливающимся и тонущим Союзом, не пытаясь прийти ему на помощь. Однако и Гонсалес не смог его обнадежить:

— Дело, как вы понимаете, не во мне — я готов не подсчитывать возможные издержки и до конца буду вашим сторонником. Однако Буш не может себе этого позволить — а вдруг ему придется в дальнейшем иметь дело с Ельциным и Кравчуком. Эту проблему вы должны решить сами.

Он рассказал Горбачеву, как в первый день путча вместе с королем, вопреки колебаниям своего окружения, выработал решительную позицию осуждения путча, как звонил Бушу и настаивал, чтобы тот потребовал от путчистов возможности связаться с Горбачевым. «Главное, не говорите о Горбачеве в прошедшем времени», — наставлял он тогда американского президента.

— Все остальное, Михаил, за вами. Отношение к такой гигантской реальности, как Советский Союз, не может держаться на вере только в одного человека.

Поколебленное в августе доверие можно восстановить лишь реальными политическими шагами. Западу нужна уверенность в том, что он имеет дело не с человеком по имени Михаил Горбачев, а с обладающим конституционными полномочиями Президентом СССР. Горбачева не надо было в этом убеждать, помочь же ему добиться этого, похоже, не мог уже никто.

— Обещаю вам, Фелипе, что лягу костьми в защиту Союза, — сказал он Гонсалесу.

Он хорошо понимал, что, если не удастся довести до конца ново-огаревский процесс, откроется прямая дорога к хаосу и диктатуре. Более того, развал Союза — это новая гонка вооружений, на этот раз уже между республиками, что парализует процесс разоружения в международном масштабе.

Ведь если на Украине, а потом и в России решат, что им нужны свои армии, то кто объяснит Колю и Миттерану, что это не должно их касаться?

Гонсалес соглашался: при любых экономических

трудностях на гонку вооружений деньги всегда находятся.

— Нет, Михаил, мы просто не можем допустить, чтобы мир зависел от того, будет или не будет у тебя инфаркт. — Такое Горбачеву мог сказать только тот, у кого самого болело сердце.

Разговор пришлось закончить — на улице ждали журналисты. Выйдя к ним, Михаил и Фелипе рассказали о том, как уверенно они оба смотрят на перспективы советско-испанских отношений и мирного процесса на Ближнем Востоке.

* * *

Путь Горбачева в Москву лежал через Лаче — частное поместье президента Франции Ф. Миттерана, расположенное неподалеку от французско-испанской границы, возле известного морского курорта Биарриц.

Французский президент явно гордился своим укромным и по-крестьянски аскетичным местом уединения. Такому рафинированному интеллектуалу, как он, возможность вырваться из суеты современной цивилизации, расстаться хотя бы на время с величественной мишурой Елисейского дворца позволяла не только окунуться в первозданную природу юго-западной Франции, но и восстановить контакт с ее историей и с естественно текущим временем.

— Предупреждаю сразу, — сказал он, встретив гостей, — часов с четырех утра вам придется затыкать уши от пения петухов. Потом закричат ослы, заблеют козы — так что шума в этой деревенской тиши будет не меньше, чем в центре города.

Его, как правило, бесстрастное лицо осветилось подобием застенчивой и в то же время горделивой улыбки, когда он похвастался Горбачеву:

— Я всегда провожу свой отпуск здесь — ни разу в официальных резиденциях. Туда я иногда выезжаю для приема иностранных гостей. Быть может, мои преемники будут более активно использовать эти официальные резиденции. — В последней фразе едва заметно прозвучала высокомерная интонация по отношению к

этим, еще пока неведомым преемникам, которые заведомо должны были ему уступать во всех отношениях.

Горбачев был в восторге. Миттеран вряд ли мог предложить своему высокому гостю, выросшему на окраине ставропольской станицы, более изысканные условия. Тот наслаждался всем — чистым воздухом, мягкой, упругой почвой под ногами, идущим от камина теплом и видом грубых деревянных балок, подпиравших крышу одноэтажной «хижины» президента.

Он напоминал Мартина Идена, который, выйдя в последний раз на палубу, наконец смог расстегнуть воротник парадной рубашки и вдохнуть воздух полной грудью, как в молодости.

Нередко, особенно в последние недели своего президентства, Горбачев в разговорах возвращался в те, теперь уже далекие годы:

— Наша хата была второй от края станицы, а дальше — на сотни километров одна степь. Задашь, бывало, сена коровам, выйдешь на двор под звезды и уносишься мыслями далеко-далеко. Я в детстве был очень мечтательным.

Ферма Миттерана поэтому сразу настроила его на непринужденную беседу. К этому времени стемнело. Чемоданы Михаила и Раисы («Мы и свои подушки привезли, — с обескураживающей откровенностью призналась «мадам Горбачев») охрана отнесла в отведенную для них маленькую комнату с окном, закрытым ставнями. Миттеран с извиняющейся интонацией сказал:

— Здесь ведь останавливаются только члены моей семьи.

Горбачев был растроган.

По узкой тропинке, различимой только при свете ручных фонарей охраны, оба президента и по два их помощника пробрались в соседнее здание, по виду походившее на амбар и, по-видимому, специально поддерживавшееся в таком облике. Внутри этой стилизованной старофранцузской «избы» обнаружилась изящно декорированная гостиная.

Усевшись на низких кожаных подушках, Горбачев и Миттеран приступили к непривычным, несоответствующим официальному протоколу переговорам.

Советский президент начал с рассказа об открытии ближневосточной конференции. Его несколько неуклюжая попытка поздравить с ее началом Ф. Миттерана «как одного из ее инициаторов» была довольно твердо пресечена.

Французский президент счел необходимым в корректной форме «выговорить» своему гостю за то, что советская дипломатия столь стремительно сменила галс своего движения к ближневосточному урегулированию, приняв практически полностью американскую концепцию конференции. В результате привыкшая к комфортабельному маневрированию в пространстве между позициями двух сверхдержав французская дипломатия оказалась отлученной от практической подготовки Мадридской конференции.

Горбачев мягко отреагировал на прозвучавшую в реплике Миттерана обиду, сказав, что «другим путем конференцию вообще не удалось бы собрать». Миттеран со своей стороны великодушно пожелал конференции успеха, оговорившись, что сам он не слишком оптимистично смотрит на ее перспективы. Однако уже тот факт, что есть место, где противники могут говорить друг с другом, а они, кстати, обожают поговорить, — уже важное достижение.

— Хотя, с другой стороны, — добавил в шутку французский президент, — если дела в Мадриде пойдут неважно, вы как ее сопредседатель должны будете туда наведаться, а значит, у нас опять появится возможность встретиться с вами в Лаче.

После этой куртуазной реплики, заключавшей обмен мнениями по Ближнему Востоку, собеседники перешли к «главному блюду» — обстановке в Союзе. В полудомашней атмосфере Лаче Горбачев не мог не быть предельно откровенным. После августовских потрясений ему хотелось одновременно и объясниться, и оправдаться, и получить совет своего, пожалуй, самого умудренного опытом политических сражений партнера.

Он начал с непоправимого урона, нанесенного путчистами его стратегии постепенных реформ:

— Критический этап наступил раньше, чем мы рассчитывали У нас были проекты движения к рынку и

к новому Союзу и план реформирования партии. Уже была новая программа. Кстати, именно поэтому я и не покидал пост Генерального секретаря, считая, что эту грозную силу нельзя было бросать в таком неопределенном состоянии. Но августовский путч все сломал.

(Подобно пожару в большом универмаге, путч давал возможность Горбачеву, как его директору, списать наряду с реально сгоревшими и, может быть, никогда не имевшиеся у него товары.)

Однако главная линия его политического анализа была столь же безупречна, сколь и безутешна: республики отстранились, механизмы власти оказались разорванными, это нарушило экономические связи, внесло сумятицу в политический процесс.

Из этого следовало, что победа демократии сопровождалась резким усугублением всех противоречий, чему в немалой степени способствовало и «не вполне продуманное» поведение России. (Горбачев использовал дипломатическую формулировку. Не мог же он, не роняя не только авторитета Ельцина, но и собственного престижа, жаловаться главе зарубежного государства на то, что политика умышленного разрушения Союза была продуманным ходом российского руководства в борьбе против центральной власти. Он, в частности, имел в виду заявление Геннадия Бурбулиса о том, что Россия объявляет себя единственной правопреемницей СССР. «Что же тогда другие члены Союза, чьи они дети? Сироты?»)

Горбачев вновь и вновь пытался отсепарировать, профильтровать позицию Ельцина и тем самым свое к ней отношение. Он заявлял, что готов поддержать самые решительные шаги по пути экономической реформы, однако хотел, чтобы они были частью продуманной системы мер, прежде всего согласованных с республиками.

— Действовать, невзирая на них, — значит не заниматься политикой, а предаваться отчаянию. Недопустимо провоцировать отторжение.

(Его буквально преследовала роковая цифра — 75 миллионов: число тех, кто живет за пределами своих «этнических» республик.)

Все это — на фоне жесточайшей экономической ин-

теграции, делающей регионы и предприятия буквально «спаянными» друг с другом. А ведь кроме экономики нельзя забывать о науке, культуре и человеческих отношениях.

Озабоченность этими отношениями, которые, казалось, представляли собой «микроуровень» политики (в сравнении с глобальными аспектами мировой и внутренней ситуации), пожалуй, особенно выделяла Горбачева из толпившихся на высших этажах власти как номенклатурных, так и демократических политиков. Эта его особенность, в специфических условиях развороченного муравейника российско-советской империи, вела к очевидному снижению эффективности его политической деятельности и даже популярности как правителя, выражалась в бесчисленных колебаниях и сомнениях, прямых кадровых поражениях.

Горбачев мучительно трудно и почти всегда с безнадежным опозданием расставался с попавшими в его окружение людьми, даже теми, чья деятельность или, наоборот, пассивность разрушительно влияли на его политику и авторитет. Тянул с назревшими кадровыми переменами и практически ни разу не «употребил власти», даже в случаях прямого политического вызова, который ему все более дерзко бросали его подчиненные (от генерала Макашова до премьера Павлова). В конце концов он, в сущности, и поплатился за это в августе «короной», едва сохранив голову.

В то же время его внутренний и нравственный девиз: «Не ломать людей через колено!», его одержимая вера в то, что «люди сами поймут», наконец его переживания по поводу того, что наиболее драматическим последствием раздробления прежде единого государства станут личные драмы миллионов людей («родился на Украине, служил в Армении, женился в Сибири — куда теперь?»), безусловно, поднимали его над уровнем прагматической и неодушевленной политики, превращая в фигуру подлинно исторического масштаба.

Горбачеву понравилась подсказанная ему Гонсалесом формула: национальное самоопределение в рамках Союза. Любой другой путь, связанный с выделением и поощрением националистических амбиций, — прямая дорога к конфликтам и катастрофам.

— Это Югославия, только многократно усиленная по последствиям, и для наших народов, и для всего мира.

Французского президента не надо было убеждать в пагубности сепаратизма, ведущего к дезинтеграции централизованно управляемого государства. Франция, по его словам, в отличие от других не была намерена поощрять центробежные тенденции в Союзе и не собиралась извлекать выгоду из отношений с теми или иными республиками. Миттеран в этом плане имел перед Горбачевым чистую совесть. Еще в предыдущем году, когда речь шла о весьма деликатной проблеме прибалтийских республик, он пытался сдерживать Буша в вопросе об их дипломатическом признании, руководствуясь желанием дать Горбачеву дополнительное время для конституционных преобразований:

— Ведь надо все делать последовательно — постепенно, — не так ли?

В своей политике, адресованной России, французский президент опирался на европейскую историю и собственный политический опыт. Его смысл был однозначен: интересам Франции отвечает существование на Востоке Европы влиятельной центральной силы. Если бы развал унаследовавшего эту роль от России Советского Союза вернул европейскую ситуацию к тому, что было до Петра Великого, это было бы равнозначно исторической катастрофе. Именно поэтому, исходя из национальных государственных интересов Франции, а отнюдь не из-за одного лишь сочувствия к демократу Горбачеву, Миттеран готов был обещать ему свою поддержку в укреплении Союза.

Наилучшим выходом как для СССР, так и для всей остальной Европы Миттеран считал восстановление в течение двух-трех лет единой страны на федеративно-демократической основе. Иначе — всей Европе придется пройти через стадию непредсказуемой анархии.

Горбачев с жадностью впитывал аргументы патриарха европейской политики. Как бы ему хотелось, чтобы с этими «бронебойными» доводами Ф. Миттеран мог обратиться к ожидавшей его дома «пастве» политических нуворишей, готовых пренебречь и азами профессиональной политики, и опытом истории, и даже нацио-

нальными интересами. Однако этому российскому пророку предстояло в одиночку возвращаться в свое отечество — как Сократу в свои Афины, где, как он предчувствовал, его ждала уже приготовленная чаша с ядом.

Пока же он боролся:

— Я вижу свой долг в том, чтобы через Союзный договор выйти на новый Союз. Однако повторю то, что сказал Бушу, — ситуация неординарная и действовать, в том числе Западу, нужно не рутинным способом, а с учетом уникальности процесса.

В переводе на язык практических пожеланий это означало просьбу со вниманием отнестись к итогам совещания заместителей министров финансов «семерки», побывавших накануне в Москве.

Миттеран обнадеживающе кивнул:

— Я понимаю: отказать вам в существенной помощи сейчас — значит сделать очень хрупким весь процесс реформирования Союза.

Разобравшись с проблемами Ближнего Востока и Советского Союза, президенты решили сделать перерыв для запланированного заранее совместного телевизионного интервью. Собственно, решение о перерыве за них принимала телекомпания «Антенн-2» — в 20.00 в ее программе новостей в прямом эфире должны были появиться два президента.

Под походную телестудию был переоборудован сарай с сеновалом. Расставленные камеры и софиты, перепутанные провода, суета осветителей и втиснутая в прихожую гримерная превратили его на полчаса в голливудский павильон. Это ощущение нарушали только лица охранников, заглядывавших, подобно призракам, через окна в ярко освещенную комнату с камином.

Неожиданное согласие президента на трансформацию его «острова уединения» в медиатический центр имело свое не слишком глубоко спрятанное объяснение. У Ф. Миттерана были весомые резоны к тому, чтобы появиться на экране вместе с Горбачевым после августовского путча.

Речь шла не просто о совместной пресс-конференции, традиция которых вела свой отсчет от самой пер-

вой, состоявшейся в октябре 1985 года в Париже, когда новый Генеральный секретарь КПСС совершал по Франции свою первую официальную зарубежную поездку.

(Париж тогда встретил его и Раису скептически. Рекомендация от М. Тэтчер, произнесшей в декабре предыдущего года знаменитую фразу о том, что «с этим человеком можно иметь дело», в глазах французов была явно недостаточной. Кроме того, Париж, разумеется, не мог, не сделав собственной оценки, признать действительным сертификат элегантности, выданный Раисе в Лондоне. Однако и он, и она успешно прошли придирчивую проверку на парижских дорогах.

Горбачеву в тот раз особенно досталось на первой в его новом качестве международной пресс-конференции. Сходя с подиума, где он сидел вместе с Миттераном, и теребя не пригодившийся ему текст выступления, подготовленный помощниками, он с облегчением, как после тяжелой физической работы, сказал: «Вся спина мокрая».)

На этот раз ответ перед французской прессой предстояло держать Ф. Миттерану. От французского общественного мнения не укрылось явное замешательство, с которым в Елисейском дворце 19 августа было воспринято сообщение об августовском путче в Москве. Президент явно поторопился упомянуть в тот день о контакте с Янаевым и полученном от него послании и, безусловно, запоздал с выражением осуждения путча и своей поддержки интернированному Горбачеву.

Правда, можно ли было его упрекать за то, что в первые часы путча он воспринял его всерьез — ведь как, увы, неприятную, но неотвратимую реальность его готовы были тогда принять и такие завзятые поборники демократии в самом Союзе, как Л. Кравчук и Н. Назарбаев.

Все эти нюансы начали было забываться, однако масла в затухавший огонь неожиданно подлила фраза, непонятным образом попавшая во французский текст книги Горбачева, посвященной августовскому путчу. Вместо: «Должен был позвонить матери, но не получилось», — начала гулять фраза: «Должен был позвонить Миттеран».

Причиной, видимо, была спешка, в которой готовилась и переводилась книга, из-за чего в текст перевода и вкралась ошибка. Во всяком случае, сам Горбачев, пожав плечами, сказал, отвечая на мой прямой вопрос: «Не представляю, откуда это взялось. Ты же понимаешь, я очень щепетилен в оценках поведения даже людей вокруг меня. Неужели ты думаешь, что я был настолько небрежен по отношению к зарубежному лидеру, да еще такому, как Миттеран, расположение которого к себе я хорошо ощущаю и высоко ценю». (Действительно, только однажды на пресс-конференции Горбачев открыто назвал двух человек, которые «могли остановить путч, но не сделали этого». Это были Лукьянов и Ивашко.)

Так или иначе, из этой псевдосенсации пора было выпустить пар, и Миттеран решил воспользоваться первоисточником для того, чтобы подтвердить свое алиби. Горбачев это сделал с видимым удовольствием, сказав: «...если так написано в книге, значит, это не моя книга».

Он был в хорошем настроении. В камине рядом с ним пылали дрова. Ведущая программы «Антенн-2» Кристин Окрент была ему хорошо знакома по предыдущим встречам и вызывала у него явную симпатию. Позади был длинный день, эффектно начавшийся в Мадриде и завершавшийся здесь, под небом Южной Франции, столь похожим на его ставропольское.

После интервью президенты, их жены и помощники вместе с журналистами «Антенн-2» вернулись в главную «хижину». Раиса, собрав вокруг себя женский кружок, рассказывала про свою внучку, которая называет мелкие монеты «валютой». Михаил, отпробовав «Шато Икем» 1975 года из президентских запасов, вспоминал о том, как в Ставрополье научились выводить морозостойкий виноград.

Хозяйничавшая за ужином Даниель рассказала, что сама собирает мед с расположенной неподалеку от дома пасеки, и предложила Раисе подарить улей с пчелами. Та воскликнула:

— Но ведь нам некуда их поставить. Ты слышишь, Михаил Сергеевич, я давно тебе говорила. пора вместо

всех этих государственных дач обзавестись собственным участком.

Мужчины тем временем продолжили переговоры. Речь на этот раз шла о Европе, здесь они хорошо понимали друг друга. Европейская «конфедерация» Миттерана отлично корреспондировала с «общим европейским домом» Горбачева. Советско-французский дуэт не требовал репетиций.

— Должны быть две опоры, — говорил Горбачев. — Европейские сообщества на Западе и Союз Суверенных Государств, образованный на месте прежнего Советского Союза, на Востоке. Взаимодействие между ними организуется на основе принципов и норм общественного процесса. В такую концепцию вписывается и присутствие США и Канады.

Миттеран возвращал своего собеседника к реальности. Пока есть одна опора — на Западе. Она тесно связана с США. Что же касается другой — восточной, то не очень понятно, что все-таки с ней происходит. Конечно, было бы проще, если бы все жители ваших республик были месье Горбачевы.

— Нет уж, как минимум половина должна быть мадам Горбачевы, — неожиданно кокетливо вмешалась Раиса.

Миттеран одобрительно улыбнулся удачной шутке.

— Я понимаю, что моя задача состоит в том, чтобы укреплять вторую опору, — закончил Горбачев.

— Вы можете не сомневаться, Франция никогда, ни при каких условиях не будет поощрять разрушения Союза. Невзирая на сомнения некоторых наших союзников, да и новых друзей на Востоке, я убежден, что Европа будет формироваться вместе с Россией. Каков будет ее облик — это ваша проблема. Единственно, чего бы я хотел, — чтобы это произошло при моей жизни, а не после моей смерти. Поэтому мне надо торопиться.

Миттеран сказал это спокойно, с достоинством человека, прошедшего большую часть им самим намеченного пути.

После ужина начались хлопоты с размещением президентской четы в отведенном для них месте ночлега, явно напомнившем супругам их молодые годы и сту-

денческую жизнь в университетском общежитии в Москве на Стромынке.

Утром, как и было обещано Ф. Миттераном, петухи, ослы и козы разбудили всю компанию спозаранку. Когда сопровождающие их фотографы прибыли на ферму, им было сказано, что оба президента ушли гулять. Вернувшись из леса и попозировав фотографам, они уселись за завтрак. Теплый хлеб, свежее молоко, мед доставляли Горбачеву явное наслаждение. Раиса к завтраку не вышла — она собиралась в дорогу. За столом обсуждали последние оставшиеся вопросы, включая практическую финансовую и продовольственную помощь Союзу. Неожиданно из кухни повалил дым, погасло электричество — видимо, произошло короткое замыкание.

Оказавшись в темноте в своей комнате, растерявшаяся Раиса позвала мужа на помощь. Тот, попросив отложить на время условия оказания помощи СССР, бросился на выручку к ней. После того как тревога улеглась, Раиса, несколько возбужденная этим неожиданным приключением, появилась в столовой и сообщила, что во время «затемнения» она главным образом беспокоилась о том, чтобы ничего не случилось с оставшимся в спальне портфелем ее мужа, в котором он хранил самые необходимые для него бумаги.

Когда, закончив завтрак, президенты вышли на улицу, вовсю светило солнце. Галльские петухи восторженными криками проводили кавалькаду, которая после остановки в местном районном центре г. Сустоне, где прошла заключительная пресс-конференция, доставила Горбачева на аэродром.

«Советский Союз» со своим президентом на борту взял курс на Москву. В самолете Горбачев перебирал впечатления от закончившейся поездки. Главный вывод, который он сделал для себя: западные партнеры ждут от его страны определенности, а от него самого конкретных решительных действий по спасению Союза. С этим ощущением полученного напутствия и гарантированной политической поддержки, с новым приливом уверенности в том, что еще не поздно «спасти партию», Горбачев ступил на московскую землю.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!»

Встречи в Мадриде и в Лаче произвели на Горбачева поистине электризующее действие. Ему важно было не только почувствовать себя вновь Президентом великой Державы, найти утешение в почестях протокола и погреться в лучах юпитеров телекомпаний всего мира, но и удостовериться в том, что его политический курс отвечает мировым стандартам качества. Получив от своих друзей на Западе желаемый сертификат и благословение на энергичные шаги по спасению Союза, он готов был, подобно царю Федору из пьесы Алексея Толстого, грозно стукнуть о пол царским скипетром... перед тем как уступить свое место в Кремле «царю Борису».

Последние дни перед решающим сражением, назначенным на понедельник, 4 ноября, Горбачев провел в политической «разминке». Стратегия борьбы за Союз была ясна, ему оставалось продумать тактику. Он проговорил аргументы в поддержку своей позиции со своими советниками и самим собой, продиктовал проект вступительного слова, которое и должно было стать ударом державного скипетра.

Одновременно президент стремился подготовить наиболее благоприятные условия для нового Союза, до рождения которого он нетерпеливо, как будущая мать, отсчитывал оставшиеся месяцы и недели. Главной заботой оставалась, разумеется, экономика. В переговорах на эту тему с делегациями западных экономистов и представителей деловых кругов Горбачев уже не заботился о протокольных формальностях.

На горизонте маячила приближающаяся зима, и от того, удастся ли ее пережить благополучно, зависело в конечном счете будущее всего его проекта.

Дело осложнялось и тем, что решительно пришпоривший скакуна российской экономики Б. Ельцин отводил Горбачеву пассивную роль второго седока, способного по ходу скачки лишь предупреждать о несущихся навстречу препятствиях и... молиться.

2 ноября Горбачев принял депутацию руководства «Дойче банк» — главного кредитора и поэтому потенциального спасителя погибающей советской экономики. Этих людей нельзя было отпустить, не сделав свои-

ми убежденными союзниками. Президент приложил для этого все усилия.

— В Мадриде и Париже не скрывают беспокойства по поводу того, что Германия все увереннее завоевывает наш открывающийся рынок, — польстил он немцам, — нас это не волнует.

Он нашел и дополнительные аргументы для того, чтобы подчеркнуть особую миссию Германии в экономическом возрождении России:

— Вы нас лучше понимаете, чем американцы, да и другие западные партнеры, — ведь на ваших плечах тяжелейший труд по интегрированию в вашу экономику бывшей ГДР. (Банкиры, разумеется, не забывшие о том, что они прежде всего немцы, в очередной раз засвидетельствовали Горбачеву историческую признательность немецкого народа за его воссоединение.) — Однако, в отличие от ГДР, которая может опереться на всю экономическую мощь ФРГ, у нас нет никого, на кого мы могли бы рассчитывать... — и после лукавой паузы, — кроме вас.

Растроганные немцы тем не менее не забывали о том, что они еще и банкиры. Горбачеву напомнили минимальные условия, на которых вопрос о помощи мог бы рассматриваться. Важнейшее из них — безусловное подтверждение новым Союзом долгов прежнего государства. Поскольку соблюдение этого условия легче было реализовать в рамках единого государства, немцы охотно подтвердили Горбачеву, что симпатизируют его усилиям по его воссозданию.

Второй совет — естественный в устах рассудительных финансистов — не суетиться с реформой, не путать последовательность шагов — одним словом, не запрягать лошадь хвостом вперед. Чувствовалось, что и немцев брала оторопь от лихости, с которой намеревалось декретировать рынок российское правительство.

В этом вопросе Горбачев был более чем согласен со своими гостями. Он сокрушенно посетовал на «россиян», почти как на неотвратимо суровую российскую погоду:

— В планах правительства далеко не все продумано. При наших условиях тотально монополизированной экономики отпускать на свободу цены — значит под-

вергнуть общество неслыханным перегрузкам. Кроме того, этого нельзя делать, не согласовав этой операции с республиками — недаром Украина и Белоруссия так напугались.

Последовательность шагов нам еще предстоит выверить, — успокаивал он немцев, давая понять, что они имеют дело не с пассажиром, а с водителем, — и все-таки нам как никогда необходима ваша помощь. Вы же видите, мы вертимся как караси на сковородке, — эта неожиданная в устах президента, по-немецки грубоватая шутка завершила операцию по обвораживанию финансовых тузов.

Для приличия они проворчали:

— Нужна все-таки детальная программа, а не просто запрос на определенную сумму денег.

— Средства пойдут в первую очередь на оплату обязательств, в том числе по отношению к Германии, сроки которых подошли, — заверил их Горбачев. — Объем наших просьб вам известен. Практические вопросы вы могли бы обсудить с вашими коллегами, — завершил он беседу, вновь принимая облик главы государства.

Немцы, отреагировав на смену интонации, поблагодарили за то, что их приняли, и распрощались.

«Время молитвы» настало в понедельник. Заседание Государственного совета было назначено на 12 часов, у Горбачева оставался час для встречи с внушительной депутацией лидеров десятков религиозных организаций США, представлявших советско-американский проект «Христианский мост».

Разместившись в просторном брежневском кабинете Кремля под портретами Ленина и Маркса и сфотографировав Президента СССР во всех ракурсах, американцы, среди которых были и православные священники, излили на Горбачева все свое восхищение и любовь:

— Подтверждение того, что Бог есть, — это наша сегодняшняя встреча с вами, — сказал президенту по-русски самый пылкий из священников. — Знайте, господин президент, что наибольшее число молитв, произносимых за вас, это молитвы в американских церквах. Вы инструмент Бога, ибо благодаря вам сегодня в мире намного больше свободы.

В этой патетической атмосфере Горбачев нашел наилучший способ реакции — вежливую иронию:

— В моих планах давно было намерение встретиться с теми, кто чаще меня общается с Богом. Я человек практический и особенно ценю изречение: «Молитва мертва, если она не подкрепляется делом».

Американцы дружно заверили его в том, что подтверждают свои молитвы политикой, влиянием, помощью президенту и народам его страны.

— В нашей стране, — откликнулся Горбачев, — все изменения до сих пор происходили, как правило, через столкновения, конфликты, гражданские войны. Я же вижу свою миссию в том, чтобы впервые за ее историю очеловечить ее цивилизованным образом.

Эта фраза вырвалась у него спонтанно, как отклик на искренность обращенных к нему чувств приехавших издалека проповедников, и сразу же сила отразившихся в ней Убежденности и Веры превратила унылый кремлевский кабинет в собор, роль икон в котором с готовностью выполняли основоположники марксизма-ленинизма.

— Самая трудная наука, — продолжал Горбачев, — это научить людей пользоваться демократией. Например, сегодня крайне важно, чтобы демократы своим поведением не копировали гекачепистов, не ударились в месть, в недоверие, в реванш и сведение счетов. Иначе мы забудем о главной цели, которой должна быть подчинена наша, да и вообще любая политика, — об интересах живого человека. Вот — моя молитва.

Похоже, Горбачеву было подчас важно доказать не столько окружающим, сколько самому себе, что он может делать все, что делают другие, и при желании даже лучше. По крайней мере свою способность быть проповедником он продемонстрировал американским профессионалам весьма убедительно. Перед прощанием они попросили дать им возможность помолиться. Горбачев уже опаздывал на заседание Госсовета, однако отказать американцам не смог и около двух минут вместе с ними молча постоял, склонив голову. Молился ли он в это время или просто настраивал себя на предстоящее испытание? Кто знает? Да и есть ли разница между тем и другим...

В зал Госсовета он вошел сосредоточенным и внутренне сжатым как пружина. Прожекторы телевидения освещали собравшихся за столом президентов восьми республик и двух заменявших своих руководителей премьеров (Украины и Армении). Кресло справа от президента, зарезервированное по установившейся традиции за Ельциным, опять не было занято. Участники заседания щурились от яркого света и на всякий случай молчали — приглашение телевидения было «сюрпризом» Горбачева, который хотел с его помощью опереться на общественное мнение страны. Оспорить это единоличное решение своего руководителя бывшие партийные лидеры, затерроризированные гласностью, не решались, и никто не знал, не идет ли уже прямая трансляция заседания из Кремля.

Горбачев одновременно и с раздражением, и с тайным облегчением поглядел на пустое кресло Ельцина, поинтересовался, нет ли от него новостей, и решил начинать, не дожидаясь его прихода. Тем более, что начинать надо было с изменения повестки дня.

Вторым и главным сюрпризом президента, ради которого, собственно, и пригласили телевидение, было его решение выступить с развернутой политической речью, смысл которой можно было охарактеризовать тремя словами: «Отечество в опасности!» Поскольку повесткой дня, разосланной накануне членам Госсовета, это не было предусмотрено, надо было прямо на заседании внести дополнительный пункт «О текущем моменте». Возражение со стороны Ельцина могло бы поломать весь сценарий. В его отсутствие проблем не возникало — до переориентации республиканских руководителей на новый, более мощный полюс власти и «сильного человека» было еще далеко — то есть около месяца.

Придвинув к себе подготовленный текст, Горбачев, уже не глядя на членов Государственного совета, обратился к согражданам. Начал он на драматической ноте:

— Мы в тяжелой ситуации, если не сказать — в тяжелейшей. У меня складывается впечатление, что мы слишком легко, без должной ответственности распорядились тем капиталом, который получили после путча и в результате решений, принятых на основе Совмест-

ного заявления руководителей республик. Тогда у всех нас возникла надежда, что с ситуацией можно справиться, ее можно взять в руки и уверенно повести страну по пути реформ к выходу из кризиса.

Тогда же мы особенно остро почувствовали недопустимость распада государства. Мы как бы заглянули за черту и увидели пропасть, в которую можем скатиться, если это произойдет.

Первые недели дружной работы усиливали эту уверенность. Люди, страна поддержали такой подход. Но вслед за первыми неделями снова начались проволочки, возобновились политические игры. В муках рождается Экономический договор. Страна задыхается, не имея ясности по этим самым главным вопросам. Все это очень опасно.

Ударив в колокол пожарной тревоги, Горбачев перешел к оценке новой экономической ситуации, созданной решениями России:

— Я надеюсь, что Госсовет поддержит инициативу руководства РСФСР на ускорение реформ. Со своей стороны я подтверждаю общую направленность предложенных Борисом Николаевичем мер. Скажу откровенно, что у меня вызывает серьезное беспокойство отсутствие ясности в этой программе в отношении Договора об экономическом сообществе и понимания необходимости самого тесного сотрудничества с другими членами экономического сообщества. Думаю, что этот вопрос принципиальный, так как ни сама Россия, ни тем более другие республики, действуя порознь, в одиночку не справятся с нынешней драматической ситуацией, не смогут избежать катастрофических последствий. У меня была встреча с Борисом Николаевичем, откровенный обмен мнениями, и на мой прямой вопрос он твердо заявил, что Россия будет действовать в рамках экономического договора, более того, играть в нем инициативную роль. Сейчас, в сложной ситуации, в которой находится страна, мы не можем допустить, чтобы разрушался рынок, создавались барьеры, несогласованно вводились цены и так далее. Я должен прямо сказать: окукливание никого не спасет. Это иллюзия.

В момент, когда Горбачев перешел к оценкам про-

счетов, допущенных российским правительством, повторившим ошибки Рыжкова и Павлова, которые, объявив о предстоящем повышении цен, вызвали настоящую панику на рынке, в зал вошел Ельцин. Горбачев прервался, чтобы его поприветствовать, и с облегчением, поскольку самые неприятные для российского лидера слова были уже сказаны, продолжил:

— Я думаю, налицо очередной просчет. Ведь мы же не можем отпустить цены, не решив вопроса о стимулировании производителя, не приняв решений о демонополизации производства, не предприняв меры по сокращению расходов бюджета. Ситуация такая, что может быть взрыв. Надо срочно заняться этим, иначе начнут штурмовать лавки кооператоров, предпринимателей, а затем и государственные магазины.

Второй главной заботой президента был, разумеется, вопрос о сохранении Союза. В свои союзники Горбачев на этот раз решил привлечь лидеров Запада, на чьи мнения, после встреч в Испании и Франции, он мог сослаться:

— Все боятся распада Союза. Меня убеждают в необходимости быстрейшего заключения договора о Союзе Суверенных Государств. Они не могут понять, что с нами происходит. Неужели мы совсем потеряли голову? Из Союза через день слышатся заявления, от которых на Западе приходят в дрожь. По всему миру ездят гастролеры и несут такую разноголосицу о ситуации и перспективах развития нашего государства, о Союзе, что там просто диву даются.

Два с половиной дня меня допрашивали в основном по этому вопросу. Даже там давно поняли, что и в наших интересах, и в интересах Запада обновить, реформировать, но обязательно сохранить Союз как одну из фундаментальных опор современного мира. Возникает вопрос: чего ждем мы, политики? Я ставлю политический вопрос: нам надо ускорить заключение Договора о Союзе Суверенных Государств. Такого же мнения и товарищи Ельцин, Каримов, Назарбаев, Шушкевич, Ниязов — я с ними в последнее время говорил. Я просто ссылаюсь на тех, с кем беседовал в последние дни. (Было очевидно, что один на один с президентом никто, включая Ельцина, не мог ему про-

тивостоять.) Если же это не так, если члены Госсовета меняют свои позиции и отказываются от того, что решено на последнем Съезде, нам придется заново определять, что мы будем делать дальше...

Выступление Горбачева продолжалось около 40 минут. Услышав привычные начальственные интонации, которые большинству членов Госсовета доводилось слышать в этом же зале, когда он еще назывался залом политбюро, суверенные республиканские лидеры присмирели. Только Ельцин, пришедший с опозданием и недоумевавший как по поводу доклада Горбачева, так и юпитеров телевидения, почувствовал подвох.

Все молчали, но даже те, кто не смотрел на него, ждали его реакции. Ситуация неожиданно напомнила сцену из киплинговского «Маугли», когда волчья стая ждала выяснения отношений между двумя самыми сильными своими членами, чтобы узнать, кто будет ее вожаком.

Ельцин ограничился ворчливым замечанием насчет того, что повесткой дня политическая дискуссия не предусмотрена. Однако, поскольку он опоздал, ему пришлось смириться с ответом Горбачева, сказавшего, что повестка дня была одобрена в его отсутствие. После этого Президент СССР предложил членам Госсовета высказаться.

Вновь наступило молчание. Откликнуться на просьбу Горбачева в присутствии недовольно насупившегося Ельцина значило занять его сторону в очевидном конфликте. Отказаться от обсуждения — выглядело бы как переход в лагерь российского президента. Ситуацию спас Назарбаев, который никогда не скрывал, что в роли вожака он безусловно предпочитал Горбачева Ельцину. Не затрудняя себя длинной речью, он произнес несколько фраз о том, что двигаться надо быстрее, делать это всем сообща, и вообще — «хватит топтаться на месте».

На этом общая дискуссия завершилась. Приличия были соблюдены, и речь Горбачева получила хотя бы частичную легитимизацию со стороны не оспоривших ее членов Госсовета. Больше того, хмурый кивок Ельцина в ответ на ремарку Горбачева о том, что Россия, по заверению ее президента, не намерена действовать

вразрез с Экономическим соглашением, явился как бы сигналом отбоя, разрядившим обстановку и подтвердившим, что выяснение отношений между лидерами откладывается, что избавляло остальных участников заседания от необходимости делать выбор между ними.

Горбачев решил далее не дразнить Ельцина и, удовлетворившись репликой Назарбаева, перешел от текущего момента к запланированному обсуждению доклада Явлинского о подготовке к ратификации республиками Экономического соглашения. Поставленная им для самого себя задача-минимум была выполнена: страна услышит его «установочную» речь и увидит на телеэкране внимающих ему членов Государственного совета. Это должно было подтвердить, что политическая инициатива вновь находится в руках президента.

Обсуждение остальных вопросов Горбачев провел так уверенно и энергично, как будто вернулись прежние времена. По итогам доклада Явлинского он сформулировал поручения союзному правительству, привел к общему знаменателю дискуссию о будущей структуре Межгосударственного экономического комитета, сухо поставил на место мэра Москвы Гавриила Попова, вставившего в свое выступление скабрезный анекдот. В течение всей этой части заседания Ельцин сидел молча, что позволяло Горбачеву отвоевывать дополнительные психологические очки, расширяя ореол своего лидерства.

После перерыва наступила очередь более тонкой и деликатной материи — предстояло обсудить дальнейшую судьбу армии, МИДа и органов поддержания порядка в структурах будущего Союза государств. Министр обороны маршал Шапошников представил драматическую картину деградации обстановки в Вооруженных Силах, грозившую перерасти в острый внутренний кризис с непредсказуемыми международными последствиями. СССР, по его словам, мог в скором времени превратиться в «конгломерат противоборствующих княжеств», в результате чего его гигантские Вооруженные Силы будут втянуты в политическое противоборство.

Вывод из его выступления был однозначен: при

всем уважении к намерениям суверенных республик иметь в перспективе свои национальные вооруженные формирования необходимо найти цивилизованные, рациональные пути решения этих вопросов и, главное, избежать того, чтобы мощный современный военный потенциал второй мировой сверхдержавы превратился в объект дележа, беспорядочной национализации и приватизации.

Его выступление явно произвело на присутствующих то впечатление, на которое и рассчитывал Горбачев. Иррационализм стихийного распада столетиями складывавшегося государства в сфере национальной обороны приобретал не только очевидный для всех, но и крайне опасный характер, и даже только приобщавшиеся к государственной ответственности недавние партийные секретари не могли этого не осознавать.

Неожиданно для многих, прервав свое многочасовое молчание, с решительной поддержкой министра обороны, а стало быть, и позиции союзного президента выступил Б. Ельцин. Подчеркнув, что высказывает не только свое личное мнение, но и излагает официальную позицию руководства Российской Федерации, он заявил, что Россия не создает и не собирается создавать собственной армии, невзирая на возможные шаги в этом направлении со стороны других республик.

— Мы не будем ни первыми, ни вторыми, ни третьими, ни четвертыми, — торжественно произнес российский президент, — и это ответ России на опасения тех, кто считает, что она может кому-то угрожать.

Он говорил, заимствуя не только идеи, но и многократно произнесенные слова самого Горбачева:

— Поскольку мы пытаемся, несмотря на все трудности, создать новое государство — Союз Суверенных Государств, — оно, безусловно, должно иметь и единую армию — единые Вооруженные Силы.

По словам Ельцина, необходимая самостоятельность суверенных членов Союза в военной области не должна выходить за рамки ограниченного круга вопросов, относящихся к гражданской обороне, подготовке молодежи к военной службе, страховке от повторения в республиках событий, аналогичных попытке военного путча в Москве в августе 1991 года. Создаваемые для

этих целей подразделения национальной гвардии не должны превышать «десяток, два десятка тысяч» человек и вообще «не иметь касательства к армии». Гвардия же, по его мнению, должна создаваться из войск министерства внутренних дел и наемного контингента.

Как бы полемизируя с сидящими в зале Госсовета сторонниками расчленения единых Вооруженных Сил (хотя из всех присутствовавших подозревать в этих намерениях можно было прежде всего представителей России), Ельцин убедительно обосновал, почему в составе единой армии будущего союзного государства обязательно должны остаться не только стратегические силы — ракеты, авиация и морской флот, — но и другие формирования. Армия, по его словам, составляла настолько целостный, воедино связанный организм, что «резать его по-живому» было просто невозможно. Даже республикам, отделившимся от Союза, как считал Ельцин, нельзя позволять по своей воле демонтировать элементы национальной системы ПВО, размещенные на их территории. «Это же самоубийство будет. Мы не можем это разрешить». Решение проблемы, утверждал Ельцин, может быть достигнуто с помощью специального соглашения, закрепляющего обязательства в вопросах обеспечения обороны не только членов будущего Союза, но и тех, кто входил в Советский Союз ранее.

Закончил он свою пространную речь, официально подтвердив, что Россия не только не пойдет на создание собственной армии, но и «призывает всех» объединить усилия для консолидации в этом важном вопросе.

Горбачев никак не выдал внутреннего ликования, хотя было очевидно, что Ельцин с присущей ему категоричностью изложил, в сущности, позицию союзного президента, и передал слово следующему оратору. У него были все основания испытывать удовлетворение от хода сегодняшнего заседания. Руководимый им государственный корабль впервые после августовской катастрофы, чуть было не отправившей его на дно, начал опять слушаться руля. Как показывало сегодняшнее заседание, ему — его капитану — удалось отладить и запустить даже такой сложный и капризный механизм управления, каким был, в сущности, совсем не

приспособленный для этой функции Государственный совет. Ведь он объединял почти как в международной организации лидеров республик, провозгласивших себя по примеру России суверенными государствами.

И все-таки даже это нелепое подобие Совета Безопасности ООН, состоящее из бывших членов политбюро, как оказывается, можно было заставить работать на его замысел. Всего лишь на одном заседании Горбачеву удалось заставить его служить и декоративным фоном для его политического возвращения из заграницы, и инструментом выщипывания, с помощью лидеров других республик, излишне ярких перьев из воинственного убора российского президента, и, наконец, на этот раз с помощью самого Ельцина использовать Госсовет для того, чтобы остудить разбуженные им же вожделения республиканских правителей в главной сфере национального суверенитета — безопасности.

Бросить вызов объединенной позиции министра обороны и двух президентов республиканские лидеры, разумеется, не решились. Даже украинский премьер Витольд Фокин, несмотря на то, что исход выборов президента на Украине и, стало быть, его собственная судьба оставались неясными, предпочел в этом вопросе торжественно солидаризироваться с позицией российского президента. Конъюнктурный девиз «Сейчас скажем так, а потом посмотрим», казалось, незримо — вместо неумолимого взвешено, подсчитано, отмерено, начертанного на пиру царя Валтасара в Вавилоне, — проступал на многое слышавших стенах зала политбюро.

Оставалось разобраться с союзным министерством иностранных дел. В случае с МИДом имела место достаточно пикантная ситуация. Буквально накануне Мадридской конференции российский министр иностранных дел Андрей Козырев в пренебрежительной манере отозвался о союзном МИДе, заявив, что не видит особой нужды в его существовании и считает, что он, как минимум, может быть сокращен в 10 раз.

Реакция союзного министра Бориса Панкина, считавшего к тому же, что его заслуги в деле обеспечения победы российской демократии в августе, когда, будучи послом в Чехословакии, он бросил открытый вызов

московской хунте, как минимум в 10 раз значительнее заслуг самого Козырева, была немедленной и агрессивной. Он тут же опроверг это заявление, назвав его нелепой «оговоркой». Примечательно, что при этом как тот, так и другой министры ссылались в подтверждение своих взаимоисключающих позиций на их поддержку президентом России. Сегодня самому Ельцину предстояло внести в этот вопрос ясность.

Во внешнем мире многие также недоумевали относительно того, продолжает ли существовать единая советская внешняя политика. И американский госсекретарь, и испанский король Хуан Карлос переспрашивали об этом Горбачева в Мадриде. Вопрос о том, с кем следует иметь дело во внешнеполитической области, интересовал их не меньше, чем выяснение реальной ситуации в вопросе о ядерной кнопке, тем более что информация по этому поводу была противоречивой. (Последний такой сигнал пришел из Италии во время визита Бориса Ельцина. Итальянцам тогда дали понять, что на пресловутой «кнопке» после августа лежит и палец российского президента. Разумеется, эта целенаправленная утечка вызвала на Западе переполох. Горбачеву пришлось подтверждать, что, являясь верховным главнокомандующим Советского Союза, он, и только он, как и прежде, несет персональную ответственность за возможное применение ядерного оружия.)

Однако в вопросе о том, как поделить внешнюю политику между Союзом и Россией, двусмысленности было еще больше. Б. Панкин, отдавая себе отчет в том, что частью «своей территории» лучше пожертвовать добровольно, иначе можно лишиться всего, выступил на Госсовете с подробным обоснованием, почему новому Союзу — коллективному правопреемнику бывшего СССР — нужна единая внешняя политика, которая бы интегрировала интересы входящих в него государств. Речь шла о необходимости обеспечить и представительство в Совете Безопасности и правопреемство по обязательствам, вытекающим из примерно 15 тысяч договоров и соглашений, под которыми стояла подпись СССР.

Одновременно он представил развернутый план реформы МИДа, предполагая его слияние с Министерст-

вом внешнеэкономических отношений, радикальное — на 30 % — сокращение аппарата, в том числе за счет сидевших «под крышей» посольств сотрудников КГБ, и, главное, выделение республикам существенной доли постов в заграничных миссиях СССР, что должно было удовлетворить аппетиты республиканской номенклатуры.

После того как он закончил свою речь, все головы вновь повернулись к Ельцину: он должен был дать ответ — будет ли продлена жизнь союзному МИДу или от него останется символический огрызок — одна десятая часть, о которой говорил Козырев? Интерес лидеров республик к позиции России в этом вопросе объяснялся, разумеется, не беспокойством за судьбу Панкина. При всей их неудовлетворенности тем приниженным положением в области внешней политики, в котором их держала Москва, они готовы были терпеть от союзного руководства то, чего не могли бы снести от российского. Во всяком случае, официально признать, что среди равных республик есть одна более равная, чем все остальные, было бы для них неприемлемо.

Ельцин явно наслаждался такими минутами, когда его слово становилось решающим. В такие моменты он даже позволял себе быть великодушным. Вот и сейчас, под обращенными на него взглядами, он начал раздраженно критиковать союзный МИД — люди развратились, оторвались от собственной страны, недаром почти все посольства сделали «под козырек» перед путчистами. (Парадокс этой критики состоял в том, что она подчеркивала «геройство» Панкина и тем самым не позволяла полностью списывать со счетов его позицию.) Пожурил он посольства и за то, что в своих телеграммах они часто пересказывают вещи, уже опубликованные в печати, поэтому, по его мнению, вполне можно было бы сократить не только дипломатов, но и шифровальщиков. В итоге делался вывод: надо идти на более радикальные решения.

Однако, сказав все это, Ельцин закончил «отпущением грехов» МИДу, заявив, что он с уважением относится к дипломатам и считает, что польза от них есть. Главное же, российский президент развеял опасения

союзного министра, сказав, что Россия «не рвется» создавать за рубежом свои посольства, потому что «считает деньги».

Вопрос может идти о том, чтобы иметь при некоторых послах своих представителей в виде советников или посланников. Что же касается российских посольств и даже консульств, то это дело отдаленного будущего. Сначала должны развиться прямые связи России с соответствующими странами до такого уровня, когда потребуется закрепить их на официальном уровне. И все равно речь пойдет лишь о некоторых странах. «С остальными держите связь вы», — примирительно сказал он Панкину.

На этом эпизоде стоит задержаться. Рассуждения Ельцина, как и предыдущие его высказывания о единой армии будущего общего государства, подтверждают, что всего лишь за месяц до встречи в Беловежской Пуще у российского президента не было по крайней мере отчетливых намерений вести дело к стремительному разрушению союзных структур и отказу от подписания совместно с Президентом СССР и другими республиканскими лидерами нового Союзного договора.

В противном случае пришлось бы подозревать его в лицемерии и в искусно разыгранной операции по усыплению бдительности Горбачева и своих коллег из других республик. Думаю, однако, что для этого нет оснований. Еще в начале ноября и даже позднее этого срока (у нас будет возможность в этом убедиться). Ельцин вел себя как человек, убежденно следовавший общей стратегии, выработанной после августовского путча совместно с Горбачевым, о котором он в послеавгустовские дни сказал почти что словами Маргарет Тэтчер: «Теперь я ему доверяю». Что, разумеется, не означало, что такой же позиции придерживалось его окружение...

Итак, заседание Госсовета можно было завершить. Оно ознаменовалось для Горбачева рядом серьезных приобретений, за которые на этот раз не пришлось платить какими-либо принципиальными уступками. Главное же — была достигнута договоренность о том, что вскоре — президент торопился развить свое политичес-

кое и психологическое наступление — члены Госсовета соберутся вновь: на этот раз для постатейного обсуждения проекта Союзного договора.

В конце августовского тоннеля показался свет, который Горбачев так надеялся увидеть. Да и кто на его месте, рассуждая рационально и обладая той же суммой информации, которая была у него по окончании этого трудного заседания, мог бы предположить, что это свет от летящего ему навстречу поезда...

В самом конце заседания кто-то из его участников напомнил, что приближается очередная «годовщина Великого Октября», — надо было решить, как ее отметить. Горбачев подтвердил, что парад и демонстрация на Красной площади отменены, торжественного заседания с ритуальным докладом тоже не будет. Оставалось решить, как быть с приемами в посольствах и, естественно, в Кремле, ведь речь шла не только о революционном, но и о государственном празднике. Кто-то сказал, что в этом году лучше ничего не менять — оставить на будущий. Другой член Госсовета предложил ограничиться передовой статьей в «Правде». (Напомню, все эти предложения еще в начале ноября исходили от тех, кто через месяц постарается сделать вид, будто во всей своей предшествующей политической биографии не имел никакого отношения к существованию Советского Союза.)

Отмахнувшись от предложения насчет «Правды» — «она вам такого напишет», — Горбачев еще раз переспросил:

— Что будем делать с приемами?

Подал голос Ельцин:

— Приемы не проводить, но зато серьезно продумать аргументы, сослаться, например, на тяжелое финансовое положение — люди поймут, что «на колбасу не хватает».

— Ну что же, — улыбаясь подвел итог президент, — тогда мне остается самому поздравить всех вас с наступающим праздником.

Так, в Кремле, на закрытом заседании Госсовета, по секрету от страны, которая готовилась через три дня встретить 74-ю годовщину великой революции, был в последний раз официально отмечен государственный

праздник Союза Советских Социалистических Республик, не дотянувший ровно один год до своего семидесятипятилетия.

МИРАЖ КОНФЕДЕРАЦИИ

Выиграв первый раунд битвы за будущий Союз, Горбачев усиленно готовился ко второму — одобрению Союзного договора. Он часами просиживал с советниками по политическим вопросам, искал и находил неотразимые, как ему казалось, аргументы в защиту единого государства, придумывал рамки возможных компромиссов. Словом, трудился, не поднимая головы.

А зря, ибо, если бы он ее поднял, то, может быть, ощутил бы в воздухе, в атмосфере потрескивание предгрозовых разрядов. С роковой предопределенностью воспроизводилась обстановка, предшествовавшая августовскому путчу. Как и тогда, Горбачев, поглощенный погоней за тактическими победами, не отдавал себе отчета в том, что, одерживая их, он приближает свое стратегическое поражение.

Эффектное выступление, удачное интервью, благоприятный социологический опрос создавали у него не только ложное ощущение безопасности, но и порождали иллюзию того, что он постепенно, как бегун на стадионе, преодолевает один за другим выставленные перед ним барьеры, приближаясь к финишу и... к победе. На самом деле по этой дорожке он практически бежал уже один, в то время как его соперники, убедившись в том, что им не опередить его на этой коронной для него дистанции, решили разыграть главный приз между собой... в карты. Хотя, думаю, что если бы он и заметил неладное, то вряд ли сошел бы с дистанции. Ибо, даже понимая, что бежит наперегонки со временем, верил, что и в этой гонке человек, тем более такой, как он, может быть победителем.

Похоже, он следовал афоризму Козьмы Пруткова: *«Если хочешь быть счастливым, будь им»*. Так и Горбачев, для того чтобы стать президентом нового Союза, полагал достаточным просто вести себя как его прези-

дент. Режим его рабочего дня и распорядок встреч подтверждали это.

Уже в канун праздника он нашел время для давно запланированной встречи с представителями различных религиозных общин Союза.

Эта встреча, как и целый ряд других, отставших от неумолимо набиравшего скорость процесса фрагментации единого государства, свелась к обмену любезными репликами. Религиозные деятели знали, что президент не в силах разрешить их реальные, то есть прежде всего материальные, проблемы, и потому ни о чем его не просили. Они воспользовались встречей, чтобы вполне искренне поблагодарить Горбачева за то, что религия была выпущена им из подполья. При этом реально ощутившие новую атмосферу терпимости представители малых церквей были более красноречивы, чем иерархи полугосударственной православной церкви, которые от потрясений, вызванных перестройкой, как минимум столько же потеряли, сколько и приобрели.

Горбачев со своей стороны был благодарен за то, что церковники не одолевали его бестактными просьбами, и благословил их всех работать на укрепление нравственных устоев общества, утратившего все остальные.

Предстоявшие дни отдыха давали президенту возможность сосредоточиться перед взятием очередного барьера: заседание Госсовета было назначено на 14 ноября. Однако ему не удалось отключиться от текущих дел. В эти же дни непредсказуемое российское руководство, перекладывавшее руль с правой стороны в левую и обратно, объявило чрезвычайное положение в Чечне, выдвинуло ультиматум местному вождю — Джохару Дудаеву — и, по истечении срока ультиматума, отправилось было заново покорять Кавказ.

Разумеется, ничего, кроме подарка доселе неизвестному генералу советских ВВС, из этого не получилось. Конфликт тем не менее был налицо, и его масштаб стремительно разрастался, грозя превратиться в новый безысходный и кровопролитный кризис. Издавший указ о чрезвычайном положении Ельцин, как это уже бывало и в прошлом, в эти дни оказался недоступен для политических контактов, поэтому Горбачеву пришлось самому включить «ручное управление» и гасить

грозивший вспыхнуть новый очаг напряженности. Он отдал распоряжение прекратить опасное маневрирование войск российского МВД в районе Чечни и в отсутствие российского президента подключил к урегулированию кризиса российский парламент. Указ Ельцина был отменен, бикфордов шнур потушен, лицо российской государственности спасено, однако вмешательство Горбачева, пусть даже с самыми безупречными намерениями, не могло задним числом не вызвать раздражения российского президента. Оно было подогрето даже достаточно взвешенными замечаниями Горбачева по этому поводу, прозвучавшими на пресс-конференции по поводу представления его книги «Августовский путч».

К этой церемонии президент готовился обстоятельно: несколько раз просматривал текст своего вступительного слова и список приглашенных, в который наряду с прессой на этот раз были включены ведущие политические фигуры страны и дипломатический корпус.

Пресс-конференция прошла успешно. Зал был полон — вице-президент Руцкой, дипкорпус и, разумеется, цвет московской и зарубежной прессы откликнулись на приглашение Президента СССР. Контраст по сравнению с его последним появлением в зале, после того самого путча, которому и была посвящена книга, был разителен. Горбачев держался уверенно, точно отвечал на вопросы, не уклоняясь от самых въедливых. Он назвал главной причиной поражения путча то, что его организаторы отстали от собственной страны, пытаясь повторить в августе 1991 года вариант отстранения от власти Хрущева в октябре 1964 года.

В ответ на вопрос о роли председателя Верховного Совета Анатолия Лукьянова Горбачев сказал, что был с ним дружен около 40 лет и поэтому особенно тяжело переживает его предательство. По его словам, два человека могли немедленно остановить путчистов, если бы того захотели: это Лукьянов и Ивашко — его заместитель в Политбюро ЦК КПСС, — однако не сделали этого.

Сама книга, послужившая поводом для пресс-конференции, не вызвала много вопросов. Может быть,

потому, что ее не все успели прочитать. Написанная по горячим следам, наспех, она давала тем не менее возможность поразмышлять об ее авторе.

Горбачев начал ее статьей, подготовленной в Форосе еще до путча, в которой он хотел еще раз объяснить замысел великой реформы в великой стране. Заканчивалась же книга рассказом об обстоятельствах его ареста и содержала летопись путча, поставившего под угрозу не только его собственную жизнь, но и судьбу его грандиозного замысла.

За это время — три дня в августе — и вся страна, и ее президент, по его словам, стали другими. В то же время чтение книги Михаила Горбачева подтверждает, что речь идет о том же самом человеке, который в 1985 году взялся, может быть не предвидя всех последствий своего решения, за осуществление беспрецедентной реформы. По его собственным словам, он никогда не жалел, что стал инициатором столь крутого поворота в жизни страны.

После августовских событий высказывались мнения, будто 1991 год, по существу, отменил год 1985, ибо именно тогда и началась истинная революция. Книга подтверждает, что речь идет тем не менее об этапах одного и того же, хотя и противоречивого процесса трансформации страны и общества, о различных этапах реформы, которая не смогла обойтись без революции.

Часто спрашивают: неужели Горбачев не мог предвидеть и соответственно предупредить августовский путч? Ведь об опасной активизации реакционных сил его ставили в известность и друзья-соперники из лагеря демократов, и зарубежные партнеры. Я думаю, правильнее было бы поставить вопрос по-другому: существовала ли вообще возможность избежать этой наиболее острой формы противоборства между демократическими и реакционными силами? Можно ли было рассчитывать на то, что те, кто не принимает демократических преобразований, безропотно и послушно уйдут с политической сцены? Скорее всего, нет.

Более того, именно расширяющийся масштаб преобразований, вызванных перестройкой, тот факт, что из сферы политических заявлений и лозунгов переме-

ны распространились на материальную сферу перераспределения власти и собственности, в решающей степени активизировал сопротивление противников реформ и вызвал ожесточенную, хотя и иррациональную попытку реванша с их стороны.

Мало кто задается и другим вопросом: сколько возможных путчей удалось избежать М. Горбачеву за пять с половиной лет его реформаторской деятельности? Путчей, каждый из которых мог стать успешным и, стало быть, роковым для задуманного им дела, потому что мог произойти в значительно менее благоприятных условиях: когда Горбачев был почти в одиночестве в Политбюро или изолирован в Центральном Комитете возглавляемой им партии, когда ему противостояли такие мощные политические структуры и консервативное общественное сознание, что для остановки процесса реформ не понадобилось бы вызывать танки — достаточно было провести закрытое голосование в верхнем эшелоне партийного руководства.

Когда рассуждают о причинах августовского путча, называют, как правило, объективное обострение социально-экономических и политических противоречий в обществе, вступившем на путь радикальных и болезненных перемен. К объективным факторам надо, естественно, добавить закономерную активизацию консервативных сил, ощутивших реальную угрозу политическому положению и своим жизненным интересам, и дестабилизацию обстановки в огромной, разноликой стране в связи с деятельностью националистических и сепаратистских сил. Нельзя не упомянуть и о разногласиях в стане демократов, которые подчас видели друг в друге своих главных противников. Следует сказать и о непоследовательности, нерешительности, а часто и непростительной медлительности центра, а стало быть, и президента.

Однако когда начинают перечислять основные факторы, обеспечившие поражение путчистов (сам Горбачев называет среди них демократические завоевания перестройки, новые отношения с внешним миром и позицию российского руководства), к ним необходимо, безусловно, добавить и мужественный отказ самого президента склонить голову перед диктатом путчистов.

В сущности, именно этот его шаг и стал началом конца путча, ибо смешал карты его организаторов, рассчитывавших на его капитуляцию.

Если же говорить подробнее о причинах поражения реакции, то надо назвать среди завоеваний прошедших лет и обретенную обществом атмосферу гласности, и мужество средств массовой информации, и изменившуюся армию, отказавшуюся выполнять роль слепого инструмента реакционной политики. Парадоксальным фактом стало то, что и сами путчисты, быть может против собственной воли, вели себя как люди, прошедшие школу перестройки. Видимо, именно этим, а не только их нерешительностью объясняется непоследовательность и противоречивость их поступков. Ведь они изо всех сил пытались придать государственному перевороту конституционный облик. Заботились о том, чтобы объяснить свои мотивы в печати, на пресс-конференции, не отваживались на грубое применение силы. Вот почему отказ президента пособничать им привел их в смятение.

У Горбачева был выбор: он мог, приняв двусмысленные условия организаторов путча, сохранить себе не только официальный статус, но и формальную свободу. Однако это означало бы для него стать заложником тех, кто готовился перечеркнуть главный замысел его жизни. Взамен он выбрал форосскую тюрьму и, стало быть, истинную свободу. Его подозревали в том, что он мог связывать с действиями заговорщиков какие-то невысказанные замыслы. Достаточно, однако, прочитать написанную им в Форосе накануне путча статью, в которой он со всем темпераментом и страстью убежденного человека говорит о том, что доказывать свою правоту допустимо только в рамках закона, мирными, демократическими методами, называет планы введения чрезвычайного положения в стране авантюрой.

То, что эта авантюра тем не менее имела место, — в том числе и его вина. В то же время то, что она провалилась, — это, безусловно, и его заслуга. Он оказался одновременно и жертвой путча, и его победителем.

Ибо именно благодаря его усилиям страна изменилась в такой степени, что смогла защитить обретенную демократию собственными усилиями, то есть без него...

* * *

Накануне пресс-конференции Горбачев провел в Кремле совещание со своими ближайшими советниками, посвященное итогам заседания Госсовета и планам на будущее.

Он исходил из того, что принципиальное согласие работать вместе от республиканских лидеров получено. С удовольствием упомянул, что имеется договоренность о проведении общей внешней политики и что «Украина (В. Фокин) поддержала Бориса Николаевича в вопросе о единых Вооруженных Силах».

Кроме того, как он считал, все признали необходимость иметь союзное правительство в лице Межгосударственного экономического комитета, что подтверждало его главный вывод: необходимо создавать не аморфную конфедерацию независимых государств, а общее, союзное, государство с едиными гражданством, территорией и статусом субъекта международного права.

Чувство ответственности перед мировым сообществом, усиленное недавней поездкой в Мадрид, явно влияло на ужесточение его позиции в вопросе о форме будущего Союза и сроках его официального оформления:

— Внешняя политика такого государства, как наше, должна быть предсказуемой, а то повалили уже некоторые наши республиканские деятели в мировую политику в валенках, как мужики в дворянское собрание.

На совещании обсудили предстоящее заседание Госсовета — в нем наряду с Россией, Белоруссией и Казахстаном должны были принять участие представители Кавказа (Муталибов) и Средней Азии. Украина по-прежнему стояла в стороне, занятая подготовкой к президентским выборам. Ее «дрейф» в сторону от Союза все больше беспокоил президента — он начал отдавать себе отчет в том, что «речь идет уже не только о предвыборных маневрах», однако продолжал верить,

что совместное притяжение остальных членов будущего Союза втянет мятежную республику в общую шеренгу.

Поговорили также о необходимости активизировать контакты с различными общественными силами, о более регулярных встречах с прессой. Всерьез продолжал обсуждаться проект выпуска собственной «президентской газеты». Все эти замыслы были вскоре погребены под сошедшей из Минска на Москву лавиной.

Перед самим заседанием Госсовета у президента состоялись еще две важные международные встречи. Его посетил личный представитель итальянского премьера Дж. Андреотти, который проинформировал Горбачева о состоявшейся в Риме сессии Совета НАТО, направившей недвусмысленный, хотя и запоздалый сигнал поддержки внешнеполитической стратегии советского президента.

Горбачев благосклонно оценил результаты римской сессии Атлантического Союза как свидетельство отхода от стереотипов «холодной войны» и форму солидарности с внутренними реформами в Советском Союзе. По его словам, это означало, что и НАТО начинает постепенно трансформироваться под воздействием перемен, происходящих на Востоке Европы.

Вторая встреча была с заместителем председателя правительства Чехословакии Павлом Рихетски. Он привез очередное приглашение от Вацлава Гавела. Во взаимоотношениях двух президентов никак не устанавливался тот человеческий контакт, та «химия», без которой Горбачев не был способен на успешное сотрудничество.

Трудно сказать, что этому мешало. Предубеждение ли, а может быть, и комплекс вины со стороны Горбачева по отношению к вышедшему из диссидентского, в том числе тюремного, прошлого чехословацкому демократу, столь отличному от более близких ему реформаторов-коммунистов «пражской весны» типа Млынаржа.

Настороженность ли Гавела, не решавшегося до конца поверить не столько в искренность, сколько в способность новообращенного в демократическую веру номенклатурного политика на деле, то есть внутри

самого себя, следовать главным заповедям демократии. (Не эта ли разность «групп крови» в конечном счете не позволила стать близкими союзниками и просто понятными друг для друга людьми Горбачеву и Сахарову?)

Когда двух президентов уравняли не только государственные посты, но и связанные с ними заботы по сохранению единства своих государств и ценностей демократии, к которым каждый пришел своей дорогой, оба явно тяготились не до конца проясненными отношениями.

Горбачев поэтому первым начал с того, что подтвердил: «хочу приехать». По его словам, Советский Союз и Восточная Европа после периода некоторого отчуждения и попыток жить отдельно друг от друга начали вновь убеждаться в том, что это если и возможно, то, во всяком случае, невыгодно.

Пришедший вместе со своим руководителем посол Рудольф Сланский утвердительно качнул головой. Еще в дверях, здороваясь с сыном повешенного по приказу Сталина Генсека чехословацкой компартии, ставшим любимцем московской интеллигенции, Горбачев спросил, как к нему обращаться — господин или товарищ? Сланский ответил не задумываясь: «Зовите просто Рудольф».

Заместитель премьера начал с ритуальных, но явно окрашенных личным чувством и уже новым опытом формул:

— Наша страна, господин президент, всегда будет вам благодарна за возможность вернуться к жизни в условиях свободы и демократии. Как мы распорядимся этой возможностью, будет зависеть от нас самих. Во всяком случае, мы уже убедились в том, что удержать демократию значительно труднее, чем завоевать ее.

Он охотно поддержал тезис Горбачева о том, что Востоку Европы предстоит активно сотрудничать с обновляющимся Союзом, ведь «все равно на Западе нас не считают полноценными партнерами». Выразил восхищение виртуозной работой Горбачева по подготовке нового Союзного договора:

— Мы убеждены, что наилучшая форма сожительства народов — это федерация. Остается убедить в этом

наших оппонентов, играющих на националистических струнах.

Горбачева не надо было уговаривать поддержать эту тему:

— Я знаю, что развал Союза не остановится на уровне республик. Некоторые мои весьма близкие друзья, включая бывших коллег по университету (намек на Млынаржа), убеждают меня, что ничего страшного не произойдет. Советуют принять вариант российского государственного устройства по типу того, что предлагает Солженицын. Но ведь это дорога в прошлый век!

Даже Запад, как показывает недавняя сессия НАТО, понимает это и выступает за реформу Союза, а не за его развал. Нет, я до конца буду противостоять этой линии. — Последняя фраза не столько своим содержанием, сколько интонацией отразила сделанный выбор.

— И вообще, — Горбачев решил смягчить жесткость своего высказывания, — я не сторонник скороспелых решений и импровизаций. Вы знаете, я недавно прочитал одну фразу: «Все, что быстро растет, — непрочно». Она мне понравилась.

Чехословацкие представители поинтересовались развитием событий на Украине — ведь речь шла о непосредственном соседе. Что ждать от него в будущем? Горбачев не смог их успокоить:

— Ситуация сложная, противоречивая. Наверху много крикунов, выступающих за отделение от России. Зато внизу настроения у людей в пользу сохранения Союза.

Горбачев приводил данные социологических опросов, ссылался и на историю, и на экономику. Последним аргументом у него, как правило, оставалось собственное происхождение:

— Ведь я наполовину русский, наполовину украинец. Ну как прикажете себя разделить?

Убедить чехов ему, по-видимому, удалось. Жаль, что это не были украинцы. Впрочем, по-видимому, так же убедительно звучали и аргументы чешского заместителя премьера, обличавшего словацкий национализм.

В конце разговора вернулись к его началу — возможности поездки Горбачева в Прагу. Гости выложили еще один довод — чехословацкое правительство гото-

вилось к подписанию сразу двух договоров — одного с Союзом, другого с Германией. Хорошо бы начать с России, ведь чехи не могут о ней забыть. Горбачев тут же отреагировал:

— Еще бы, а то немцы сразу напомнят. — И закончил беседу: — Как только найду хотя бы один день, обязательно приеду в Прагу.

Этого дня у него за то время, пока он оставался Президентом СССР, так и не нашлось. Не хватило дня для своевременной встречи с Гавелом, как, очевидно, и ряда дней для встреч и поступков, которые позволили бы ему остаться главой государства, спасение которого он считал главным смыслом последних месяцев своей президентской службы.

С Гавелом они встретились через 5 месяцев во время визита чехословацкого президента в Москву по приглашению Ельцина. Горбачев к этому времени тоже был президентом, но уже фонда собственного имени. Лишенная условностей протокола встреча этих двух выдающихся людей, чьи имена при их жизни стали частью европейской истории, была единственной и сердечной...

* * *

14 ноября заседание в Ново-Огарево началось с громовых раскатов. Приехавший последним Ельцин хмуро прошел в комнату на первом этаже, где Горбачев собрал уже прибывших участников. Сам его вид не предвещал безмятежного заседания.

Как оказалось, он был взбешен поступившей к нему информацией о том, что Горбачев на пресс-конференции по поводу выхода своей книги якобы проходился по адресу российского руководства в связи с событиями в Чечено-Ингушетии.

— Раз вы критикуете Россию, — бросил он Горбачеву, — мы будем отвечать. Выходит, кончились наши новые отношения, которые продолжались всего три месяца после августа.

Горбачев опешил. Положение осложнялось тем, что отвечать Ельцину приходилось в присутствии собравшихся других республиканских лидеров. Те, почувство-

вав неуместность своего присутствия при «семейной сцене», один за другим выбрались из комнаты.

Горбачев постарался успокоить российского президента, сказал, что не имел в виду осложнять его жизнь. Больше того, он ведь постарался выразить поддержку его позиции в пользу сохранения целостности России и обещал в подтверждение своих слов показать стенограмму пресс-конференции. Ельцин, несмотря на примирительный тон президента, еще некоторое время не мог остыть. Ворчал по поводу «горбачевского» телевидения, которое-де постоянно повторяет его критические высказывания в адрес российского руководства, негодовал из-за того, что россиян дискриминируют в вопросах распределения дачных поселков и домов отдыха. Однако «пар был выпущен», и можно было открывать заседание.

Едва начавшись, дискуссия по тексту будущего Союзного договора забуксовала, уткнувшись в определение характера будущего государственного образования. Горбачев ратовал за «союзное государство», с новым центром, которому будут решением членов Союза отведены соответствующие полномочия.

Ельцин при поддержке Шушкевича неожиданно для остальных участников заседания, считавших, что они обсуждают первоначально согласованный с ним текст, выступил против единого государства. В ответ на недоумение Горбачева он сослался на то, что в своих поправках указал на несогласие с единой для всего Союза конституцией.

Горбачев предложил сосредоточиться на этом главном пункте:

— Надо определить, что, собственно, мы будем создавать. Да, после августа договорились отказаться от федерации, но не ради того, чтобы вместо этого соорудить нечто бесформенное, аморфное.

Его активно поддержал Назарбаев:

— Надо подтвердить, что у тех, кто здесь сегодня собрался (за столом рядом с президентом съежившегося, как шагреневая кожа, Союза сидели представители семи республик), по крайней мере есть намерение и воля образовать политический союз, с единой армией, территорией, границами. Если мы не сделаем этого, за

нас это сделают другие, те, кто придет после или вместо нас. Давайте же хоть раз будем крепки не задним умом.

Противники Союза завели речь о конфедерации. В качестве примеров назывались и Швейцария, и Канада. Горбачев усиливал отпор:

— Если откажемся от единого государства, то получим нечто неопределенное, никого ни к чему не обязывающее, но и не особенно нужное.

Даже международное сообщество предпочитает иметь дело с Союзом как с ответственным государством, хотя бы из-за ядерного оружия.

Он попробовал еще раз вернуть на стол сам термин «Союз», доказывая, что это наиболее приемлемая формула, ибо позволяет интегрировать все виды связей — федеративных, конфедеративных, даже ассоциативных. Закончил он решительно:

— В конце концов определяйтесь сами. Я убежден, что нам необходимо сохранить союзное государство, иначе погубим дело и в стране, и в мире.

На этот раз Ельцин попробовал смягчить резкость постановки вопроса:

— Насчет того, что так считают за рубежом, вы драматизируете.

Горбачев был непреклонен:

— Если не удержим единое государство, я вам прогнозирую беду. Это главный вопрос.

В спор включился Шушкевич, который сказал, что у конфедерации могут быть единые вооруженные силы. Ельцин добавил к этому транспорт, космос, экологию. Горбачев не отступал:

— Если не будет эффективных государственных структур, зачем тогда нужны президент и парламент? Если вы так решите, я готов уйти.

Ельцин запротестовал:

— Ну, это эмоции.

— Ничего подобного. Я себя и физически исчерпал. — С этими словами Горбачев совсем непохоже на «исчерпавшего» себя человека резво вскочил из-за стола.Чувствовалось, что он не отступит:

— Я не могу и не стану брать на себя ответственность за аморфное образование. Если президент вам нужен для свадьбы, чтобы об него ноги вытирать, —

это не для меня. Стране требуется избранный народом сильный руководитель, способный уравновесить ту новую степень децентрализации, на которую мы сейчас переходим. Уверен, что в народе нас поддержат. Повторяю, у меня нет амбиций претендовать на эту должность.

Повернувшись к Ельцину, Горбачев подался к нему всем корпусом, как при теннисном ударе:

— Поймите, Борис Николаевич, во что нас втягивают те, кто предлагает России сбросить всех и пойти вперед в одиночку.

Имелся в виду, очевидно, все тот же Бурбулис с его пресловутым меморандумом о скорейшем оформлении полной государственности России в качестве основного правопреемника СССР.

Даже Ельцину трудно было противостоять такому напору. Или, может быть, он просто еще не был готов прилюдно «бросить перчатку». (Впрочем, ведь даже в декабре три республиканских лидера, не отважившись высказать свой приговор Горбачеву в лицо, судили его *in abstentia* — в его отсутствие). Кроме того, и соотношение сил и, соответственно, голосов (в отсутствие Кравчука) было явно не в его пользу — на одного Шушкевича перед лицом сплоченного среднеазиатского фронта, возглавляемого решительным Назарбаевым, надеяться было трудно.

Так или иначе, но Ельцин примирительно пробурчал:

— Я не поддерживаю экстремистов. Давайте честно напишем — конфедеративное государство.

Это была явная импровизация, но она подтверждала, что на сегодняшнем заседании и он ищет компромисса.

Уловив тень слабости в его позиции, Горбачев немедленно решил усилить свою:

— Я готов идти до последней черты — мне уже все равно. Просто я руководствуюсь принципами, а вы тем, что «скажет Марья Алексевна». Поймите, государство — это не просто союз суверенитетов. Оно имеет свои особенности. Да и наш мир сформировался не за последние 10 лет.

Он вновь и вновь повторял, что центр необходим

для того, чтобы обслуживать общее оборонное пространство, выполнять стратегическую миссию, проводить согласованную, единую внешнюю политику, «а не 8—10 разных политик», толкать страну к рынку.

— Мы ведь уже убедились, что экономический договор без политического не будет работать. Попомните мое слово, — предостерегающе поднял он руку, — вольготность обернется бедой. Я не стану отвечать за рыхлое, никого ни к чему не обязывающее формирование, за богадельню. Особенно в переходный период.

Он говорил в этот раз как никогда убежденно, и все поняли, что его угроза уйти, оставив их друг перед другом с ворохом проблем, к которым они плохо представляли, как подступиться, была вполне реальной.

Неожиданно Ельцин проговорил:

— Не знаю, может быть, вы и правы.

Это прозвучало как предложение компромисса. Принимая его, Горбачев уже примирительно, как о прошлом инциденте, сказал:

— Удивлен я, Борис Николаевич, как ты меня подвел. — И тут же предложил компромисс со своей стороны: — А может быть, и вправду обойдемся без единой конституции.

Это было уже предложением мира и формулой спасения лица.

Оживились сидевшие до этого безмолвно приглашенные на заседание юридические эксперты — академик Владимир Кудрявцев и профессор Вениамин Яковлев.

— Развернутый Договор об образовании государства и Декларация прав человека вполне могут быть заменой конституции, — сказал академик.

— Конфедеративное государство — это уже компромисс, — заметил профессор, хотя в глубине души понимал, что это компромисс права с политикой.

Горбачев, уже с великодушием победителя, постарался закрепить Ельцина на пока еще скользкой платформе компромисса:

— В договоре надо найти способ поддержать целостность России и ее руководство в спорах с автономиями (это было уже его ответное извинение за вмешательство в чеченский кризис). Если в России проиграет Ель-

цин — проиграем все, ведь мы повязаны одним проектом.

Удовлетворенный реверансом в его сторону, Ельцин напомнил об Украине:

— Надо бы что-то для них предусмотреть, какую-то возможность присоединения. Ведь если они создадут свои вооруженные силы и свою валюту, то уже не вернутся.

— А в конфедерацию Украина бы пошла, — мечтательно протянул Шушкевич.

Он же предложил еще более гибкий компромисс:

— Давайте начнем с конфедерации, а потом доведем ее до федерации.

Ему тут же возразил Назарбаев:

— Колебания Украины — это дополнительный повод всем остальным объединиться.

На перерыв разошлись с двумя вариантами формулировки. Одна была представлена Ельциным, вторая — Горбачевым. При перепечатке помощники догадались снять упоминания об авторстве и обозначили их, как на конкурсе, анонимно: номер 1 и номер 2 — для того чтобы избежать нового конфликта самолюбий.

Смысл компромисса был уже очевиден — единое конфедеративное государство (по Горбачеву), лишенное единой конституции (по Ельцину).

За время обеда, прослушав зачитанную самим Горбачевым стенограмму его высказываний о Чечне и убедившись, что подвоха не было, Ельцин окончательно успокоился и даже пришел в хорошее расположение духа.

— Смотрите, как плохо начали и как хорошо заканчиваем, — сказал он, как бы сам изумляясь этому.

После уточнения компромиссной формулировки дело действительно пошло веселее. Не без дискуссий, но и без ожесточенных споров договорились по остальным принципиальным вопросам: об избрании президента не парламентом, а гражданами будущего Союза (через выборщиков); о двухлетнем парламенте, с депутатами, избираемыми от территориальных округов, а не только от республик; о правительстве и даже о столице (которую первоначально авторы российских поправок хотели окрестить местом пребывания центральных ор-

ганов) и т д. Задержались дополнительно на вопросах избрания председателя парламента и вице-президента. Последнего Ельцин категорически потребовал «убрать»:

— Не могу думать об этой должности после Янаева.

Что касается председателя парламента, оговорил:

— Только надо подобрать такого, чтобы не предавал.

Горбачев парировал:

— Даже у Христа среди апостолов нашелся один предатель.

Поскольку за ново-огаревским столом апостолов было семь, все молчаливо решили исходить из того, что такого среди них нет.

Условились даже о том, что участие в будущем политическом Союзе должно быть сопряжено и с экономическими выгодами. Тут же конкретизировать эту формулу решил сам российский президент:

— При заключении экономического соглашения мы подсчитали, что в пересчете на мировые цены взаимных обязательств между Украиной и Россией разница в нашу пользу должна составить 80 млрд. долларов. Если Украина согласится войти в Союз — можем этот должок забыть, если нет — пусть платят, — сказал он и ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом.

Это уж точно не походило на игру и на попытку успокоить возможные опасения союзного президента, да и членов Госсовета относительно истинной приверженности российского лидера идее союза. Он выглядел и вел себя как его безусловный сторонник и защитник. Быть может, он не исключал в ту пору возможности продлить сотрудничество с Горбачевым или, наоборот, исходил из того, что у Союза скоро будет новый — и почему бы не российский? — президент. Скорее же всего, в этой богатырской фигуре умудрялись сосуществовать, может быть, даже конфликтуя друг с другом, как это свойственно многим русским натурам, противоположные характеры, совсем разные личности, каждая из которых тем не менее была истинной.

В течение всей дискуссии Горбачев часто вставал из-за стола, расхаживал по залу. Однажды в волнении даже повалил неизменный портфель с ядерными кода-

ми, как обычно стоявший иа расстоянии вытянутой руки от него.

Обсуждение шло к концу. Договорились поскорее внести в текст согласованные поправки и направить договор на рассмотрение парламентов. По предложению Шушкевича условились собраться еще раз, чтобы парафировать текст и тем самым взять на себя обязательство защищать его своим авторитетом перед парламентариями (если со стороны белорусского лидера это был тоже отвлекающий маневр, то уж слишком тонкий). Зашла речь о сроке подписания договора. Все согласились провести его до конца года. Назарбаев в шутку заметил:

— Только давайте на этот раз никому дату не называть.

Присутствовавшие оценили юмор и вежливо, но натянуто улыбнулись.

Обсуждение закончилось неожиданно. Кто-то из участников заседания, спохватившись, спросил, что будет дальше с Госсоветом. Горбачев картинно развел руками:

— Не знаю. Я специально ничего не предлагал, а то у меня сложилось впечатление, что вы тяготитесь этими заседаниями. Приходится упрашивать приехать. В общем, как вы решите.

(Как выяснилось, это была его уловка: «Я решил дать им возможность самим поставить вопрос о Госсовете», — признался он потом в разговоре.)

Все дружно потребовали внести упоминание о Госсовете в проект договора.

— И пусть членство будет именное, а не по должности, да еще через заместителя, — в этих репликах прозвучали отголоски прежних времен, когда большая часть членов Госсовета состояла в Политбюро.

После еще одного перерыва, уже поздно вечером обсудили структуру МЭК и общими усилиями упросили Б. Ельцина продлить жизнь нескольким союзным министерствам (в их числе министерству финансов и министерству экономики) на две недели, хотя бы для подготовки чрезвычайного бюджета (их существование должно было прекратиться на следующий день). Ель-

цин с видимым неудовольствием согласился на «последнюю отсрочку»:

— А то они потом все реанимируются.

Когда после окончания заседания его участники начали спускаться по лестнице, внизу их ждал еще один сюрприз — изголодавшаяся по новостям пресса, за которой угадывалась истомившаяся от неопределенности страна. Безымянная страна, желавшая услышать от восьмерки лидеров, как ей впредь называться — Союзом, Содружеством, Конфедерацией или каким-нибудь еще менее понятным ей термином.

Горбачев приемами умелого пастыря завел всю великолепную семерку в зал с сияющими прожекторами телекамер. Отвечать на первый вопрос он предоставил Борису Николаевичу. Оставшись один на один с требовательно смотревшей и слушавшей его страной, тот торжественно возвестил:

— Договорились, что будет Союз — демократическое конфедеративное государство.

Очередная партия Горбачевым была выиграна. После слов Ельцина остальные члены Госсовета и даже пресса почувствовали себя спокойнее. И уже почти как дружеский обмен привычными колкостями воспринимались реплики Ельцина в адрес Горбачева:

— Правда, мы не всегда вас понимали.

И удалой ответ президента:

— Это неважно, лишь бы потом присоединились.

«Я БЫЛ... СВОБОДНЫМ...»

Еще несколько дней после этого заседания Горбачев не мог «остыть». Он с подробностями рассказывал о всех его перипетиях тем членам своего окружения, которых не было на заседании, как бы вновь переживая драматические моменты борьбы, столкновения аргументов и характеров, острое ощущение риска и победы.

— Я был совершенно спокоен, — говорил он нам с Черняевым. — Я не боялся ничего потерять и поэтому чувствовал себя свободным от любого давления. Я следовал только своей убежденности и сказал им это. Сказал, что они не свободны, раз оглядываются на чужие мнения, на чьи-то настроения и амбиции. И они поня-

ли, что я действительно уйду, если они не примут мои аргументы.

Я согласен строить любой Союз — федеративный, конфедеративный, какой хотите, но строить, а не разваливать. И когда они поняли, что я говорю всерьез, то растерялись и сразу потребовали перерыва. Я бы действительно ушел, — сказал он Черняеву, — и тогда ты бы мог сразу лишиться и своего президента, и его пресс-секретаря.

Горбачев наслаждался этим, видимо, новым для него ощущением свободы. Свободы человека, не только сделавшего внутренний выбор, но и решительно и бескомпромиссно поставившего на карту свою судьбу ради достижения цели. Было видно, что после долгих лет политического лавирования, хитроумных тактических маневров и подчас двусмысленных компромиссов, которые, как он считал, были неизбежным уделом любого ответственного реформатора и необходимой ценой за продвижение вперед, он, увы, с немалым опозданием открывал для себя все наслаждение от свободно высказанных мыслей и чувств и с изумлением констатировал, что риск и прямота могут иногда принести больше результатов, чем политические маневры.

По-видимому, это чувство внутренней свободы он впервые обрел в августе, когда попал в форосскую тюрьму и отказал путчистам в сотрудничестве, предпочтя стреноженной власти заточение и вместе с ним... свободу.

Выиграв важный для него раунд политической борьбы на Госсовете, Горбачев принял неожиданное решение — закрепить его результаты давно откладывавшейся поездкой по стране. Непосредственным толчком, по-видимому, стал пришедшийся на этот период официальный визит Ельцина в Германию. Представляя себе (по собственному опыту), насколько легко будет российскому президенту заполнить своей внушительной фигурой телеэкран и сводки новостей, Горбачев решил поквитаться с ним его же оружием — поездкой «в глубинку». Ему хотелось перед решающими боями за Союз проверить температуру в обществе, выяснить на местах отношение людей к его программе обновления единого государства, к реалиям рыночной экономики и

к нему самому. В сущности, это была первая «пристрелка» к будущей избирательной кампании по выборам президента, в результате которой он надеялся наконец получить столь недостававший ему общенародный мандат.

Маршрут был избран не из легких — сердцевина Сибири (Иркутск и Байкал) и непривычно новая Киргизия, возглавляемая неординарным демократическим лидером Аскаром Акаевым. Решение о поездке было принято стремительно, и программу первого дня пребывания в Иркутске президент уточнял уже в самолете.

В этой поездке он намеревался и вести себя, и выглядеть по-новому. Вот почему впервые на борт его самолета были приглашены журналисты, не сразу поверившие своей профессиональной удаче. Ночной полет в Сибирь был долгим, и вскоре после взлета журналистов пригласили в президентский салон. Именно тогда в двухчасовой исповедальной беседе Горбачев и произнес слова, которые вполне могли бы стать девизом его уникальной политической карьеры:

— Совесть моя чиста — впервые в истории страны была предпринята попытка ее цивилизованно очеловечить.

Он многое рассказал о себе в ту ночь журналистам и под конец беседы на вопрос, как относится к его работе мать, ответил:

— Наверное, как любая мать на ее месте. Она мне не раз говорила: «Зачем ты связался со всем этим...»

Встречи с журналистами во время многочисленных переездов и перелетов создавали у Горбачева ощущение, что через них он постоянно говорит со всей страной. Увы, это было уже не так. Я помню, как он долго обдумывал свое заключительное выступление в Бишкеке — искал главную идею. Вместе с помощниками перебрал предложенные ими варианты и все отверг. Потом, походив по комнате, сказал:

— Ну а если так: главное — это то, что этап разрушения закончился, демократы взяли верх. Теперь более ответственная и трудная задача: созидание. (И начал перечислять: первое, второе... четвертое...)

Кто-то удивленно спросил:

— Где же вы это все хотите сказать?

Горбачев помолчал, потом неожиданно грустно усмехнулся и ответил:

— А нигде...

Так или почти так и происходило на самом деле. Его выступления перед рабочими, депутатами и военными в Иркутске, учеными и чабанами Кыргызстана едва достигали Москвы и в куцем, лаконичном виде излагались газетами. Пресса не скрывала подозрительного отношения к истинным мотивам поездки президента, усматривая в ней продолжение политического противостояния Горбачева с Ельциным. Характерным был заголовок в «Известиях»: «Битва за Москву: Ельцин в Германии, Горбачев в Сибири, народ в очередях». Напоминанием об их неотвратимом противостоянии стало и то, что самолет Горбачева вернулся в Москву из Бишкека за час до прилета Ельцина на этот же аэродром из Германии. Дисциплинированный поверенный в делах ФРГ, прибывший во Внуково-2 заблаговременно, не знал куда спрятаться.

В аэропорту было холодно — почему-то не работало отопление. Обычная встреча с ближайшим окружением (оформлявшаяся ранее как заседание Политбюро) из-за холода и неумолимо, как шаги командора, приближавшегося самолета российского президента была скомкана. Собеседники рассеянно слушали президента, воодушевленного результатами поездки, и разъехались с облегчением. Через два дня оптимизму президента, который вдохнула в него поездка, предстояло пройти главное испытание — решающее заседание Госсовета для парафирования текста Союзного договора.

Между тем дело шло не к воссозданию Союза, а к его окончательному распаду. Обнадеженный результатами прошлого заседания, Горбачев исходил из того, что новый Союзный договор у него «в кармане». В преддверии Госсовета, на котором президент и республиканские лидеры должны были парафировать по существу уже согласованный текст будущего договора, протокольная и хозяйственная службы развили бурную активность.

По аналогии с подписанием Договора об экономическом Сообществе они планировали организовать

такую же пышную публичную церемонию. Для этого в Ново-Огарево был доставлен уже сослуживший свою службу круглый стол, обрамленный флажками различных республик. Туда же были подтянуты телевизионные камеры, приглашены журналисты.

С самого утра атмосфера торжественной приподнятости характеризовала 25 ноября — день, который мог стать датой политического рождения нового Союза, призванного идти на смену старой империи. Казалось, предусмотрели все, кроме досадной мелочи... политической воли к созданию Союза со стороны будущих отцов-основателей, и в первую очередь — руководителей России.

Все выглядело так, будто руководящий эшелон российских лидеров, поднятый августовской революцией к власти, принял для себя окончательное решение: не только не уступать ее союзному президенту, но и не делить с ним. А после того, как ельцинское окружение утвердилось в этом, остальное уже было делом более или менее умелой тактики.

Разумеется, идеальным для российского руководства было бы заполучить алиби в вопросе о его отношении к судьбе Союза. Не случайно первый приход Ельцина на заседание Госсовета со сравнительно «мягкими» поправками к согласованному с ним самим проекту Союзного договора имел целью попробовать достичь этого с минимальными для престижа и репутации российского лидера издержками.

Такой «минимальный» вариант Ельцину не удался. Врученные ему поправки, предполагавшие отказ от единой Конституции и общенародно избираемого президента, не принесли окончательного разрыва с идеей единого централизованного государства. Тактическое мастерство Горбачева не только сохранило концепцию союзного государства, но привело к тому, что не кто иной, как сам Ельцин, оповестил страну и весь мир о предполагаемом образовании единого конфедеративного государства.

Видимо, после возвращения российского президента с этого заседания перед лицом неотвратимого укрепления позиций союзного президента и его команды, в которую к тому времени вновь влились такие киты пер-

вого этапа перестройки, как Яковлев и Шеварднадзе, ельцинское окружение решило поднять ставки и убедило своего президента забрать обратно на очередном заседании Госсовета то, что он «подарил» Горбачеву на предыдущем.

Неожиданное для многих возвращение Шеварднадзе на пост союзного министра иностранных дел сыграло в этом смысле, может быть, более значительную роль, чем могло показаться в те дни. Этот ход Горбачева сыграл роль редкого по удаче удара биллиардиста, ухитрившегося положить шары сразу в три лузы.

Прежде всего возвращение Шеварднадзе после драматического ухода в декабре предыдущего года, когда он предрекал диктатуру правых при косвенной ответственности, если не пособничестве Горбачева, могло означать либо признание своей неправоты, когда он оставил друга и союзника в трудный момент, либо подтверждение того, что «новый» Горбачев стал неоспоримым и необходимым защитником демократических завоеваний. С учетом того, что в дни августовского путча Эдуард Шеварднадзе недвусмысленно намекал на то, что Президент СССР должен прояснить свои взаимоотношения с путчистами, его согласие принять предложение Горбачева означало косвенное извинение за такого рода намеки.

Немаловажным был и международный резонанс от этого назначения. Возвращение на политическую арену в качестве министра иностранных дел будущего Союза такого авторитета, как Шеварднадзе, не только означало возрождение государства в статусе великой державы, но и немедленно низводило до провинциального уровня всех республиканских министров, начиная с настойчивого претендента на союзную дипломатическую корону А. Козырева.

Наконец, третий, а по внутрисоюзным меркам, может быть, и первый по значимости аспект этого возвращения заключался в недвусмысленном сигнале, который подавал этот искушенный в аппаратных и карьерных хитросплетениях ветеран советской номенклатуры. Своим решением он давал понять всему классу чиновников, что настала пора делать выбор в пользу служения реальной будущей власти в стране.

Любого из этих факторов было достаточно, чтобы «прижать к стенке» еще не насладившуюся властью республиканскую бюрократию и, следовательно, сделать ее агрессивной и опасной.

«ОБЛАКО В ШТАНАХ»

Заседание Госсовета 25 ноября началось с сенсационного заявления Ельцина о том, что в российской позиции возникли «новые моменты», которые не позволяют ему парафировать проект договора в представленном виде. «Разговоры в комитетах Верховного Совета показывают, что российский парламент не готов ратифицировать концепцию единого союзного, даже конфедеративного государства. Нас больше устроила бы формула Союза как конфедерации демократических государств. Давайте вернемся к этому вопросу или отразим оговорки России в отдельном протокольном заявлении».

Горбачев не мог поверить своим ушам:

— Но тогда мы опрокинем то, о чем уже договорились. Мы ведь в прошлый раз несколько часов обсуждали все эти формулировки. Оповестили страну о том, что выработали сообща. Начинать все сначала просто несолидно, не говоря уже о том, что у нас есть вполне определенный мандат съезда.

На выручку Ельцину поспешил В. Шушкевич — тот самый, кто был инициатором предложения о парафировании текста президентами для того, чтобы гарантировать его безболезненное «прохождение» через парламенты. Сейчас его аргументация была совсем иной: мы не успели показать текст будущего договора в комиссиях парламента. По одной этой причине там могут найтись недовольные. Давайте отложим парафирование.

Горбачев наконец понял, что ему противостоит согласованная позиция по крайней мере нескольких республиканских президентов, и решил принять бой:

— То, что вы затеваете, — сказал он, обращаясь к Шушкевичу, но на деле адресуя свои слова Ельцину, — это не просто проволочка — вы отвергаете то, о чем все договорились, разрушаете саму основу будущего документа.

Вокруг двух антагонистических позиций начали складываться свои альянсы. Первым на стороне союзного президента выступил вице-президент Казахстана, заменявший на этом заседании Назарбаева:

— Мы за формулу, согласованную на прошлом заседании, то есть за конфедеративное союзное государство, а не за какое-то облако в штанах.

По другую сторону в лагере Ельцина развернул свой штандарт узбекский лидер Каримов:

— Нельзя парафировать этот текст до тех пор, пока его не обсудили в комиссиях парламента.

Было забавно наблюдать, как быстро вчерашние партийные самодержцы научились пользоваться сложной механикой демократии для усиления своих позиций в противостоянии центру.

Горбачев решил идти ва-банк:

— Если с этого заседания выйдем без парафированного общего текста, последствия могут быть непоправимыми. Страна находится в хаосе, а вы начинаете маневрировать.

Белорусский лидер постарался снизить уровень противоборства с политических высот до почти технического уровня. По его словам, все дело сводилось к отсрочке «на каких-нибудь 10 дней» процедуры парафирования текста, в который в любом случае не будет внесено существенных изменений. После этого Белоруссия без проблем подпишет и ратифицирует договор. Был ли он к этому времени в курсе того, что через 10 дней сама перспектива дальнейшего существования Союза будет перечеркнута во время совещания трех президентов, которое состоится на его территории, а сам он неожиданно станет «управляющим делами» нового образования, создаваемого на месте Союза?

Даже Ельцин несколько «сдал назад», объяснив, что речь не идет об отказе от согласованного текста — его можно направить всем республикам, сопроводив лишь протокольной записью с новыми замечаниями. Похоже, его заботила необходимость во что бы то ни стало выполнить имевшийся у него мандат.

Как всегда в подобных случаях, ощутив неуверенность в позициях своих оппонентов, Горбачев немедленно повысил ставки:

— В таком случае я вижу свою роль исчерпанной, но предупреждаю: то, что вы делаете, нанесет огромный ущерб стране и нашему государству.

Перед лицом этого непредвиденного поворота событий члены Госсовета, включая Ельцина, начали его успокаивать: не надо, мол, горячиться и излишне драматизировать ситуацию — ведь в конце концов текст, представляемый в республиканские парламенты, будет прежним.

Прежде чем дать себя уговорить, Горбачев выдвинул свои условия: обратиться к парламентам и стране надо с единым документом. Кроме того, члены Госсовета должны взять на себя обязательство защищать и отстаивать его в ходе обсуждения. В этом, и только в этом случае он считал возможным заменить парафирование текста принятием общего решения по данному вопросу членами Госсовета.

Началось уточнение деталей компромисса. Ельцин предложил в решении Госсовета упомянуть об «одобренном в принципе» тексте договора, доводку которого можно поручить делегациям отдельных республик.

Шушкевич решил усилить демократическую нотку:

— Мы ведь не совет диктаторов.

На что немедленно получил в ответ колкую реплику Горбачева:

— Вдевятером диктаторами не бывают.

Ельцин вытащил аргумент из «стратегического резерва»: парафировать текст без Украины неразумно.

— Мы их подтолкнем на решения, которые окончательно развалят Союз.

Горбачев был готов к «украинской теме». Его тезис — если не хотим поощрять сепаратистов, надо прежде всего самим занять четкую позицию. Кроме того, в ситуации с Украиной нет ничего нового. И на предыдущем заседании Госсовета было известно, что 1 декабря там будет референдум. И вновь, как заключение, повторял:

— Если не одумаетесь, будет беда.

Сам он, по его словам, не намерен был связывать себя с дальнейшим хаосом.

Шушкевич продолжал умиротворять президента, утверждая, что буквально через 10 дней парафированный

им текст, к которому нет «категорических поправок», будет ратифицирован Белоруссией: «Просто раньше не получается».

При всем искушении увидеть в этой позиции белорусского лидера образец изощренного, на шекспировском уровне, политического коварства что-то предостерегает от этого. В сложившейся политической ситуации было так много неясного, что даже Ельцину со всей его генетической решительностью было трудно окончательно порвать с Горбачевым.

Наиважнейшим из факторов в ту пору были, конечно, будущие результаты украинского референдума. Победа Кравчука представлялась бесспорной, хотя он и продолжал до последнего дня разыгрывать карту реальной опасности того, что его может обойти экстремистски настроенный кандидат западноукраинских националистов Черновил. Эту, явно преувеличенную, опасность он искусно использовал в своих интересах и во взаимоотношениях с Москвой, и в последних залпах предвыборной борьбы на Украине, представляя себя в глазах внушительного контингента русского и прорусски настроенной части населения республики как идеального кандидата, способного наилучшим образом наладить отношения с Москвой.

И хотя на деле его избрание было обеспечено, оставалось неясным, насколько внушительным будет полученное им большинство и, главное, проголосует ли это большинство с такой же покорностью за будущую независимость Украины от России — и тем самым не только изберет президента, но и предоставит ему свободу рук в интерпретации формы этой независимости.

Сложившаяся ситуация в действительности была труднопредсказуемой, и именно это заставляло республиканских лидеров, и прежде всего Ельцина и Шушкевича, «тянуть время».

Чувствовал переломный характер этой ситуации и Горбачев и именно поэтому проявлял при обсуждении вопроса о Союзном договоре ранее столь не свойственную его натуре непримиримость:

— Я вынужден констатировать, что руководители республик в наиболее ответственный и даже опасный момент занимаются политическими маневрами, меня-

ют свои собственные позиции. В этих условиях они должны были бы сказать откровенно, что не хотят больше Союза. Я лично думаю, что, поступая таким образом, идя на то, чтобы угробить государство, вы берете на себя исключительно тяжелую ответственность.

Горбачев старался как мог: он взывал и к ответственности, и к здравому смыслу республиканских «бояр» привлекал в союзники зарубежных партнеров и общественное мнение внутри страны («уверен, народ нас поддержит»), приводил юридические аргументы и пытался устыдить тех, кто менял свою позицию на 180 градусов.

Чувствуя, что все его усилия разбиваются о жесткую, заранее сформулированную и, может быть, даже согласованную позицию, он устало сказал:

— Ну что же, наверное, вам как представителям республик есть смысл поговорить между собой. Как я вижу, президент вам уже больше не нужен.

Однако это была не капитуляция, а еще один, последний способ встряхнуть, даже припугнуть мятежников.

На этот раз Горбачев не блефовал и не шантажировал своей отставкой, как это бывало на пленумах ЦК,— он был к ней внутренне готов, однако считал, что должен сражаться до конца и «дорого продать» свой уход, если его к нему вынудят.

— У меня чувство глубокого разочарования, — сказал он, подводя итог нескольким раундам обсуждения. — Я не понимаю, как вы собираетесь дальше жить — ведь, создав богадельню вместо единого государства, вы замордуете общество. Мы уже и так захлебываемся в дерьме. (Это вырвавшееся у него и крайне редкое для Горбачева «крепкое» выражение показывало, насколько он внутренне возбужден.) Вот увидите, сразу за вами придут силы, программа которых будет состоять из трех строк: отменить все законы и конституцию. В общем, подумайте сами, но учтите, что если вы отвергнете вариант конфедеративного государства, то дальше двигайтесь без меня.

Он резко встал и направился к выходу, и уже на ходу, для того чтобы не превращать свой выход из комнаты в уход из Госсовета, бросил: «Перерыв».

Вместе с ним поднялись и вышли из зала его помощники, эксперты, руководитель аппарата Г. Ревенко и союзные министры — Е. Шапошников и Э. Шеварднадзе.

Процессия спустилась по лестнице на первый этаж и расположилась в гостиной, носившей название Каминного зала. Наверху остались республиканские президенты. После ухода Горбачева они получили возможность создать то самое содружество независимых государств, ради которого две недели спустя три «славянских» лидера уединятся в беловежском лесу.

В гостиной разгоряченный только что проведенным боем Горбачев «разрядился»:

— До сих пор никак не вылезут из популизма. — Это было сказано в сердцах по поводу оставшихся наверху, но относилось, разумеется, к одному из них — Ельцину.

Тем не менее пассивно ждать дальнейшего развития событий Горбачев не мог и начал вместе с помощниками формулировать свой вариант решения Госсовета по первому вопросу. Он сводился к тому, чтобы взамен парафирования текста договора сопроводить его коллективным обращением всех членов Госсовета к республиканским парламентам с просьбой рассмотреть договор и сформировать полномочные делегации для его подписания. Формулировку президента отправили «наверх». Через некоторое время оттуда явилась депутация — Б. Ельцин и В. Шушкевич, которым было поручено передать президенту республиканский вариант компромисса. В главном проекты совпадали.

Войдя в гостиную, Ельцин с вызовом сказал:

— Ну вот, нас делегировали на поклон — к царю, к хану.

Чувствовалось, как задевала его самолюбие эта парламентская миссия. Горбачев оценил усилие, сделанное Ельциным над собой, и примирительно сказал:

— Ладно, ладно, царь Борис.

Общую формулировку выработали быстро. В ней упомянули, что, представляя согласованный текст на рассмотрение парламентов, члены Госсовета исходят из того, что договор будет подписан и ратифицирован до конца текущего года.

После этого, возобновив заседание, еще раз «прошлись» по самому проекту. На этом этапе Ельцин согласился не требовать исключения из него формулы конфедеративного союзного государства. Имелось в виду, что эта и другая поправки будут обсуждены в парламентах.

Зато по общему согласию были укреплены полномочия Госсовета — его решения отныне должны были стать обязательными для исполнительной власти (то есть для тех самых президентов, которые в течение нескольких предыдущих часов отчаянно бились за то, чтобы лишить центр какой-либо власти над ними). Однако эти формальные противоречия никого не смущали. Было очевидно, что окончательное разыгрывание партии отложено, что столь ожидаемое Горбачевым подписание договора в очередной раз отодвигается, подобно линии горизонта, и что демократическое конфедеративное государство, не успев стать реальностью, начало таять, как мираж в пустыне.

Это лишний раз подтвердила пикировка между Ельциным и Шеварднадзе по вопросу о функциях союзного МИДа. Шеварднадзе впервые участвовал в заседании Госсовета в своем новом качестве союзного министра иностранных дел. Поскольку назначение на этот пост он в течение продолжительной беседы с глазу на глаз согласовал с российским президентом, около которого, кстати, провел решающую ночь в Белом доме во время августовского путча, то считал, что вправе рассчитывать на режим большего благоприятствования, чем его предшественник на этом посту — Борис Панкин.

Однако попытка Э. Шеварднадзе расширить поле деятельности союзного МИДа, обозначенное в тексте договора, встретила ледяной прием со стороны Б. Ельцина, который взял назад даже данное им недавно обещание не создавать собственные российские посольства.

После того как все члены Госсовета поставили свои подписи под совместным коммюнике, означавшим скорее эпитафию Союзу, чем провозглашение «нового смелого мира», Горбачев предпринял попытку повторить коллективный выход к прессе, который после

предыдущего заседания совета вдохнул во всех надежду. Однако второй раз застать себя врасплох ни Ельцин, ни другие «республиканцы» не дали. Горбачеву пришлось выдержать натиск изголодавшейся прессы в одиночку, и, лишенный необходимости оглядываться на своих коллег по Госсовету, он не скрывал своего разочарования, подтвердив, что на нынешнем заседании республиками был сделан шаг назад от Союза. В конце концов у него больше не оставалось других союзников, кроме общественного мнения того, что уже перестало быть государством, но еще, безусловно, оставалось единой страной.

Вторая часть заседания была посвящена подготовке к началу экономической реформы в России. О планах российского руководства Горбачев попросил рассказать Б. Ельцина. Тот сообщил о намерении «освободить», начиная с 16 декабря, цены на основные товары, за исключением энергоносителей и отдельных продовольственных товаров, включая водку.

Началось обсуждение.

Предполагаемый рост цен в сочетании с такими легко прогнозируемыми проблемами структурной перестройки экономики, как массовая безработица, должен был, по подсчетам специалистов из команды Гайдара, привести к снижению жизненного уровня в стране в целом на одну треть. Для общества с полуразрушенной экономикой, значительная часть которого и без того балансировала на грани выживания, это могло означать уже не экономическое бедствие, а социальную катастрофу.

— Мы считаем, другого выхода нет, — решительно сказал Ельцин. — Главное — удержать людей от выхода на улицу, хотя, может быть, не везде это удастся.

Руководители республик понимали, что разведший пары локомотив российской реформы уже практически невозможно остановить. В то же время для большинства из них — особенно для среднеазиатских республик — свободные цены в России при их зависимости от российской нефти и рубля означали смертельную угрозу. Не оспаривая намерений россиян, лидеры республик просили лишь с учетом их неподготовленности к такому потрясению отсрочить начало реформы — это

дало бы им дополнительное время для выработки мер защиты населения.

Горбачев был доволен тем, что свел российского президента лицом к лицу со сложной и противоречивой реальностью огромной страны, но удержался от того, чтобы взять сторону других республик:

— Страховочные шаги нужны, однако затягивать дело тоже нельзя. Делайте, что сможете, но только, ради бога, делайте хоть что-нибудь.

Для экспертной оценки последствий шагов российского правительства на заседание был приглашен Григорий Явлинский — автор программы «500 дней», поддержанной двумя президентами, но впоследствии принесенной в жертву Горбачевым под совместным нажимом правительства Рыжкова и общесоюзного парламента. Сейчас основные идеи этой программы, но только в значительно ухудшившемся экономическом контексте, самым безжалостным для населения образом готовилась проводить в жизнь подобранная Ельциным молодежная команда сторонников «шоковой терапии».

Использовав весь свой опыт политической и аппаратной дипломатии, Явлинский обрисовал удручающую перспективу разваливающейся экономики, с тяжелейшим спадом производства и социальными потрясениями.

— Можно ли еще успеть выпустить парашют? — спросил Горбачев.

— Для этого надо было бы догнать того, кто уже летит вниз, и надеть парашют на него, — ответил Явлинский. Он не произнес слова «авантюра», но выразил это другими словами.

Горбачев и теперь остался верен своей роли искателя компромиссов. Он поддержал решение президента ускорить реформу: «Если ее не делать, дальше все равно банкротство». Попросил еще раз продумать сроки и последовательность ее этапов и предостерег от злорадства по поводу возможной неудачи правительства Ельцина.

— Сорвется в России — умрет реформа во всем Советском Союзе. Вот почему не правы те, кто говорит про себя: пусть Ельцин сломает себе голову.

Под занавес заседания он огласил телеграмму, только что пришедшую от азербайджанского лидера Муталибова. Тот обращался к Госсовету с просьбой принять срочные меры, чтобы защитить его республику от «агрессии» со стороны Армении. Получив коллективный мандат от членов Госсовета, Горбачев связался с президентами Армении и Азербайджана по телефону и пригласил их приехать через день в Москву для обсуждения обострившейся обстановки.

Пылающий кризис в Карабахе неожиданным образом давал дополнительные аргументы в пользу существования Госсовета и, стало быть, Союза. Карабахский тупик, в который после четырех лет безысходного конфликта уперлись и Армения, и Азербайджан, подтверждал необходимость иметь если не усмиряющий центр, то хотя бы высшую наднациональную примиряющую инстанцию — третейского, или, выражаясь по-русски, мирового судью. Этим дополнительным шансом для легитимации Союза хотя бы на основе «отрицательного» опыта нельзя было не воспользоваться, несмотря на то, что надежды на примирение сторон почти не оставалось.

Закончилось заседание еще одной, быть может последней, попыткой республик отстоять свои права перед «старшим братом» — Россией, апеллируя к посредничеству союзного президента. Как выяснилось, под горячую руку, хотя, может быть, и с холодной головой, при тотальной национализации, то есть переводе под республиканскую юрисдикцию предприятий и учреждений, размещенных в России, были «русифицированы» печатающие деньги фабрики Гознака, что вызвало понятную озабоченность других республик.

Защищаясь от упреков в «самозахвате» этих стратегических объектов, обслуживающих весь пока что не ликвидированный Союз, Ельцин сослался на то, что Россия берет под свою опеку лишь их «материальную часть» и вопросы социального обеспечения рабочих, но при этом будет исправно выполнять заказы союзного Госбанка. Его аргументы никого не убедили, и он отступил, согласившись оставить «денежное производство» в руках центра, а в дальнейшем под контролем Межбанковского союза, предусмотренного Межгосу-

дарственным экономическим соглашением. Оставив над поверхностью неумолимо прибывающей воды этот крошечный символический островок общесоюзного пространства, над которым еще мог развеваться красный стяг СССР, члены Госсовета поздней ночью разъехались из Ново-Огарева, с тем чтобы больше в него никогда не вернуться.

Проводив «гостей», Горбачев оставил на ужин свою рабочую бригаду, включая Явлинского. Последняя новоогаревская вечеря была скромной и выглядела как товарищеский ужин. Никто не заботился о президентском протоколе, и не из-за того, что за столом не было президента, а просто потому, что все, включая его самого, очень устали.

ДО ПОСЛЕДНЕГО МЯЧА

На следующий день в перерыве между прошедшим и предстоящим заседаниями Госсовета президент провел совещание с помощниками. На нем он коротко рассказал о своей поездке по стране. Его основные впечатления: люди настроены на перемены, готовы к тому, что за них придется платить снижением жизненного уровня, но при этом требуют от центра — делайте что-нибудь реальное. И второе, вдохновившее его наблюдение: повсюду, от Иркутска до Бишкека, всех беспокоит судьба Союза — «если не сохранить его, будет беда». Приятно удивлен был президент и неожиданно теплым приемом населения. Он убедился в том, что значительная часть людей на периферии сочувствует ему и готова поддержать. Это значило, что у него есть все основания с оптимизмом ждать президентских выборов.

По своему обыкновению, для того чтобы «выпустить пар», накопившийся за предыдущий день, он в деталях рассказал о состоявшемся заседании Госсовета, сделав упор на те итоги, которые оставляли или хотя бы не перечеркивали надежду на изменение ситуации к лучшему:

— Трудно работать с людьми, которые каждый раз меняют позицию по погоде, — пожаловался он. — Получается, что даже пресса больше переживает за судьбу

Союза, чем некоторые так называемые ответственные политики.

Ельцин, как он считал, на этом заседании взял на себя обязательство в дальнейшем согласовывать с республиками свои указы об освобождении цен и последующие этапы реформы.

— Без этого она превратится в авантюру. — Горбачев использовал слово, не произнесенное Явлинским. — Уже сейчас получается, что поезд пустили, а всем надо бежать впереди и выкладывать рельсы.

Свой политический штаб вместе с экспертами он попросил дать политический и социологический прогноз реакции общества на неизбежное ухудшение жизни в связи с реформой. И сделать это в виде своего рода политического календаря.

— А то к весне правые готовятся уже не захватывать, а просто подбирать власть.

Помощники посоветовали ему в условиях, когда неблагоприятная экономическая текучка ляжет на плечи республиканских правительств, сосредоточиться на глобальных аспектах деятельности президента как олицетворения единства страны, ее геостратегической роли и места в мировой политике, ее культурного и нравственного потенциала.

Теоретически и логически это было безупречно, как и параллели, которые проводились с моделями президентских и даже королевских режимов в других странах. Однако то, что в окружении президента не было людей, способных дать ему более заземленные рекомендации, оставляло его наедине с противоречивой и нередко иррациональной действительностью его страны, не укладывавшейся ни в какие умозрительные схемы.

Следующее заседание Госсовета было полностью посвящено карабахскому конфликту и проходило в Кремле. На заседание прибыли лидеры Азербайджана и Армении, а также руководители армии, МВД и служб безопасности.

Горбачев открыл заседание коротким вступлением, предложив поискать взамоприемлемое решение конфликта и подчеркнув, что было бы недостойно устра-

ниться от его поисков, как советуют некоторые («Мы ведь даже Югославии пытаемся помочь»).

Свои версии ситуации и перспективы ее развития изложили Муталибов и Тер-Петросян. Оба говорили сдержанно, высказывались за политические решения, признавали, что силовым путем карабахскую проблему не решить.

За эту политическую мудрость своих лидеров народы обеих республик заплатили уже огромную цену — более тысячи погибших и 8 тысяч раненых (на то время). По прошествии четырех лет обе стороны обнаружили себя стоящими в изначальной позиции: взаимоотношения двух соседних народов отягощены пролитой кровью, а парламентами и правительствами каждой из них приняты взаимоисключающие решения. Впереди тупик и новая кровь.

Горбачев предложил еще раз сообща рассмотреть возможные варианты развития событий.

— Вариант 1. Допустим, армия уходит из зоны конфликта. Естественно, она должна забрать с собой оружие. Ее будут блокировать вооруженные или даже невооруженные люди, скажем женщины и дети. Что же ей тогда делать? Выходить с боями, как из окружения? Кроме этого, мы открываем границу. Через нее потекут беженцы. А там уже в затылок дышат азербайджано-иранские или армяно-турецкие проблемы. В результате мы получаем еще один международный конфликт и головную боль не только для нас, но и для всего мира.

Возьмем 2-й вариант. Активно, с участием войск вмешиваемся в нынешнюю ситуацию. Но ведь учтите — у российского правительства нет разрешения использовать армию за пределами своих границ. Где же выход? Все равно — в соединении военных методов с политическими.

Вывод президента поддержал министр обороны:

— Войска не могут заменить органы гражданской власти. Необходимо, чтобы они функционировали. Основа решения должна быть политическая. Главное — усмирить боевиков с обеих сторон. Они вошли во вкус: ведь убийство — это их профессия.

Слово взял Э. Шеварднадзе и сразу задал обсуждению высокую ноту:

— Мы стоим перед угрозой конфликта мирового масштаба. Очевидно, что при дальнейшем развитии он не ограничится нашей территорией. Никто не знает, как поведут себя в этом случае Иран и Турция.

Вывод из его драматического выступления однозначен: или путь содружества и сотрудничества, или начало гражданской, а то и мировой войны.

После такого патетического предостережения, прозвучавшего почти так же, как его пророчество по поводу реакционного переворота, был объявлен перерыв.

Горбачев воспользовался им, чтобы сделать набросок решения. Оно свелось к нескольким пунктам: отмена противозаконных актов Верховных Советов обеих республик, изменяющих правовой статус Нагорно-Карабахской автономной области; возобновление двусторонних переговоров в духе решений встречи в Железноводске (реверанс в сторону Ельцина и Назарбаева); прекращение огня и вывод незаконных вооруженных формирований из зоны конфликта; прекращение блокады Армении.

В сущности, речь шла о восстановлении действия на территории Карабаха Конституции СССР, дружно атакованной с обеих сторон экстремистами, да и политическими руководителями республик.

Самым поразительным было то, что формула Горбачева устроила обоих президентов. Если и нужна была иллюстрация к теме о необходимости Союза, более убедительную трудно было придумать.

С заседания Госсовета лидеры двух независимых кавказских государств вышли вместе. Их мирную, почти дружескую беседу успело снять и показать телевидение. Так же, как и выражение обреченности на их лицах. Ибо хотя Госсовет подтвердил, что политики бывшего Союза еще способны договариваться друг с другом, надежды на то, что их договоренности будут претворяться в реальность, таяли с каждым днем.

Начавшись с банального обострения хронического и поэтому, как казалось, малозначительного этнического конфликта, карабахский кризис превратился в гигантскую воронку, постепенно вовлекшую в адское вращение и весь Кавказ, включая Грузию, руководимую проницательным Шеварднадзе, и Турцию с Ира-

ном, и, наконец, саму Россию, которая одна была способна уберечь прямых участников конфликта, саму себя и весь мир от сползания к дьявольской альтернативе. Но не смогла — ни когда выступала в мундире Союза, ни обретя свой теперь уже никем не ограниченный суверенитет.

* * *

Тем временем помощники президента приступили к реализации собственных рекомендаций о новом, более монументальном, его облике, который должен был, по их представлениям, помочь президенту подняться над будничными проблемами. Так получилось, что первым его собеседником из числа давно ждавших встреч представителей творческой интеллигенции стал профессиональный «монументалист», всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный, вынужденный эмигрировать после своего конфликта с Хрущевым, а затем поставивший ему памятник на Новодевичьем кладбище.

Лучшего собеседника для разговора о Вечном трудно было найти, ибо Неизвестный, как выяснилось, кончал философский факультет МГУ примерно в те же годы, что Горбачев свой юридический, и пришел в сопровождении своих близких друзей того времени — Анатолия Черняева, ставшего ближайшим помощником Горбачева, и Юрия Карякина, писателя и публициста, побывавшего в годы перестройки депутатом союзного парламента.

Собеседники поначалу приглядывались друг к другу, и разговор шел двумя параллельными, но не пересекавшимися курсами.

— В основе любого тоталитаризма неизбежно лежит мифология, — начал Неизвестный. Задуманный им памятник жертвам сталинизма, который он сооружает одновременно в трех городах Советского Союза, станет, в сущности, монументом утопическому сознанию: «Людоеду, который поедал самого себя».

Горбачев, подстраиваясь под эту тему, сказал:

— В сущности, вся страна долгое время жила в мире перевернутых ценностей.

Что касается упомянутых Карякиным «Бесов» Достоевского, то они давно стали его настольной книгой, собственно и «превратив его в диссидента».

Возвращаясь к сегодняшним дням, президент выразил особенное беспокойство тем, что история повторяется.

— Это сумасшествие, когда кричат, что надо метлой вымести социализм с нашей почвы. Ведь речь идет о целых поколениях и о миллионах людей. По-своему каждый из нас продукт этой сверхрадикальной утопической идеи.

Он неожиданно вспомнил о своем августовском унижении в российском парламенте:

— В принципе и по политическим, и по нравственным причинам я не должен был этого терпеть. Но я увидел их глаза — это были люди, которые не жалели ни меня, ни себя. А ведь за этой ненавистью — тьма.

— Как вы можете до сих пор все это выдерживать? — поразился Эрнст. — Ведь это слалом по минному полю. Вы попали в шарнир истории. Такие, как вы, редко кончают благополучно.

Горбачев пожал плечами:

— Наверное, все вместе: здоровье — от родителей и крестьянских корней, а крепость духа — от Раисы Максимовны и, главное, от веры.

Неизвестный с пониманием и сочувствием покивал:

— Людям нужна вера, пусть даже ложная, но нужна. Помните, что прибил Лютер к дверям своей церкви: «На том стою, и не могу иначе».

Горбачев продолжил свою мысль:

— Мы представляем уникальный материал для тех, кто изучает переходные периоды. Знаете, почему так трудно уходим от прошлого? Ведь уходим от самих себя.

Он вспомнил свою встречу с патриархом российской литературы Леонидом Леоновым:

— Знаете, что он мне сказал? Ваша драма в том, что задуманные вами перемены дадут результаты не скоро. Люди же хотят лучшей жизни сейчас, и они заслужили ее.

Скульптор вздохнул:

— Мне очень грустно. Во мне самом идет борьба. В одной части души я безусловно убежденный демократ,

даже анархист — и жизнь отдам за свободу. Ведь это не «осознанная необходимость», как учил Энгельс, а просто возможность идти куда хочешь. А с другой — я сторонник порядка, государственности. Знаете, скульпторы вообще в силу своей профессии государственники.

Горбачев признался в свою очередь:

— Пожалуй, сейчас для меня самая тяжелая полоса. Я чувствую, что без некоторой авторитарности нельзя защитить демократию. Хотя, знаете, меня всегда обвиняли в том, что я требую чрезвычайных полномочий, но никто не задумался, почему я ими ни разу не воспользовался.

Неизвестный поинтересовался:

— Вам, наверное, с прежним, прирученным ЦК было легче, чем с новым, агрессивным.

Горбачев ответил:

— Ничего, в главном мы их переиграли. К сожалению, — он развел руками, — те, кто их сменил, во многих отношениях не лучше, а хуже. Это и есть показатель того, что общество очень больно. Вы посмотрите: те, кто осуждал коммунистов, установили для себя такие привилегии, которые тем и не снились. Толкутся, как свиньи у корыта. В обществе расцвели хамство, алчность, продажность. Хочу верить, что это кризис, из которого общество выйдет выздоровевшим.

Встреча продолжалась почти два часа, и в этом тоже отразилось новое для президента состояние свободы. Его не теребили телефонные звонки, от него не требовали срочно разрешить пограничный конфликт или организовать поставку продуктов. Он все меньше принадлежал своей государственной функции и все больше самому себе... и вечности.

* * *

Приближался день референдума на Украине, назначенного на 1 декабря. Нервничали в Киеве, нервничали в Москве и... в Вашингтоне. В самый канун голосования, когда даже по правилам внутренней политики всякая предвыборная агитация должна прекращаться, из Белого дома пришел малоприятный для Горбачева сигнал. В форме традиционной «утечки» для прессы

поступила информация о том, что в случае, если Украина проголосует за независимость, США установят с ней дипломатические отношения.

Расценить это иначе как поощрение сепаратистских настроений на Украине и прямую попытку повлиять на результаты выборов было невозможно. С этой новостью мы с Черняевым пришли к Горбачеву. Тот тут же связался с Шеварднадзе. Министр явно не хотел обострять отношений с американцами и посоветовал «не принимать эти неофициальные разговоры всерьез».

Тем не менее возмущенный Горбачев продиктовал мне короткое сообщение пресс-службы Президента СССР, в котором выражалось «недоумение» Кремля по этому поводу. Американцы почувствовали, что поторопились и перешли грань приличия, в связи с чем 30 ноября Буш позвонил Горбачеву: в Вашингтоне не хотели бы «даже ненароком создавать какие-либо трудности для Горбачева или для Ельцина».

Объяснив, что для США после референдума на Украине так или иначе встанет вопрос о признании ее независимости, Буш поддержал Горбачева в том, что это не только не должно препятствовать, но, напротив, может способствовать возвращению Украины в процесс заключения Союзного договора.

Горбачев на этот раз отвечал сухо, давая понять, что США затронули очень болезненную тему, которую у него были все основания пока еще относить к разделу внутренних дел возглавляемого им Союза.

— Утечки информации из Белого дома, — сказал Горбачев, — восприняты здесь негативно, причем, по мнению многих, Соединенные Штаты хотят не просто повлиять на происходящее в Советском Союзе — влияние у вас есть, — но именно вмешаться в наши дела.

Горбачев предостерег Буша от поспешности и «суеты» в вопросе о признании независимой Украины, сославшись при этом на опыт Югославии, где как раз американцы сдерживали наиболее ретивых европейцев. Еще раз рассказал о проблемах в Крыму, в Донбассе, да и в других регионах Украины, которые возникнут в случае, если результаты референдума приведут к разрыву с Союзом:

— Ведь это превратит 12 млн. живущих на Украине

русских и людей других национальностей в «граждан другой страны».

Попросил учесть его соображения и дать возможность событиям развиваться в естественном русле, для чего нужно время. В этом же разговоре Горбачев дал понять Бушу, что обсуждал складывающуюся ситуацию с Ельциным и что после референдума они, возможно, предложат провести встречу президентов Союза, России и руководителя Украины.

Дыхание приближающегося референдума на Украине все чаще напоминало Горбачеву, что кошмар разваливающегося Союза может совсем скоро стать реальностью. Он как мог отгонял от себя саму мысль о такой перспективе, пытался убедить в ее пагубности общественное мнение и в стране, и за рубежом.

— Наша страна — это уникальная человеческая общность, — объяснял он в беседе главному редактору американского журнала «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт» Мортимеру Зуккерману. — Она создавалась в течение тысячи лет, и в ней все настолько сплетено, взаимосвязано — историей, культурой, общими традициями, человеческими, кровными связями, совместной жизнью, разделением труда, кооперацией в промышленности, науке. Если мы начнем делиться, то процесс этот будет столь болезненным, что в нынешних условиях станет катастрофой.

В те дни это звучало как заклинание, сегодня воспринимается как пророчество.

— Если Украина уйдет из Союза, — говорил Горбачев в ноябре, — Крым будет настаивать на аннулировании принятого в 1954 году решения о его передаче Украине, потребует возвращения в Россию. Если же Украина останется в новом Союзе Суверенных Государств, то тогда Крым не будет возражать против того, чтобы остаться в составе Украины.

О том же — в интервью белорусской «Народной газете»:

— Не нужно рвать материю, сформировавшуюся в веках... Семьдесят пять миллионов живут за пределами своей малой родины. Так что же — все они станут гражданами второго сорта? И пусть нас не убаюкивают тем, что их права гарантированы в двусторонних дого-

ворах, заключенных республиками. Не верю, что это решит проблему, если не будет сохранено государство, которое обеспечит правовую защиту каждому человеку... Уходя от одной крайности — унитарности, мы не должны прийти к хаосу или распаду Союза. Для нас это обернется непоправимой бедой.

Тогда его не услышали. Наоборот, в эти же самые дни была на полную мощность включена иная, противоположная логика — полного и окончательного развала союзных структур, с тем чтобы наконец выдернуть кресло из-под упрямо сопротивляющегося президента.

Именно тогда, не полагаясь больше на заочное взаимопонимание, установили между собой прямой контакт неофициальные штабы российского и украинского президентов. Кравчуку дали понять: сразу после его победы на референдуме Россия поддержит его толкование результатов как вотум на выход из Союза и в свою очередь воспользуется украинской позицией, чтобы окончательно заблокировать ново-огаревские договоренности.

Фантастический куш в результате такой сделки срывал будущий украинский президент, получавший от России зеленый свет на немедленное государственное закрепление своей независимости в тех границах Украины, о которых никогда и не мечтали самые горячие головы в националистическом движении «Рух». Поскольку же для российского руководства главной ставкой в этой партии была голова (и кремлевский кабинет) союзного президента — никакая цена на этом аукционе не могла показаться ему слишком высокой. В результате сделка «Крым за Кремль», как потом точно определил ее смысл Александр Ципко, состоялась. Судьбу Горбачева, а вместе с ним и государства с 300-миллионным населением, разыграли в отсутствие ответчика.

Пока же до рокового рубежа оставалось еще два дня. На 29 ноября Горбачев назначил заседание своего Политического консультативного совета. Его участники заседали с трех до девяти вечера. И, как было потом сообщено прессе, «единодушно высказались за безотлагательное заключение Союзного договора».

Разумеется, шесть часов им понадобилось вовсе не

для того, чтобы убедить в этом друг друга. Обсуждали, как реагировать на решения, которые без какой-либо оглядки на Кремль одно за другим принимало российское правительство, затягивая с каждым оборотом винта, как на гарроте[1], обруч на шее Союза.

На этот раз речь шла о прекращении кредитования Госбанка СССР, что автоматически останавливало выплату платежей всем, кто зависел от союзного бюджета, включая армию. Сообщение об этом пришло в разгар заседания Политсовета. Получив его из ТАСС, я молча положил эту депешу на стол перед президентом. После обмена взволнованными восклицаниями и телефонных переговоров с председателем Госбанка решено было пригласить для прояснения ситуации Ельцина. Горбачев договорился встретиться с ним на следующий день.

Эта встреча состоялась 30 ноября и была посвящена рассмотрению ситуации с исполнением союзного бюджета в IV квартале 1991 года. Приставив к виску союзного президента финансовый пистолет, Ельцин получил от него обещание «существенного сокращения расходов союзного бюджета». Взамен Россия подтвердила свою готовность взять на себя ответственность по гарантиям кредитов Госбанка СССР, предоставляемых для осуществления минимально необходимых согласованных расходов в IV квартале 1991 года.

Ельцин имел все основания быть довольным итогом встречи. Ему не только удалось подрезать сухожилия монстру союзной номенклатуры, но и продемонстрировать всем, что даже сама президентская власть в Союзе перешла к нему на содержание.

...Воскресный день 1 декабря прошел в ожидании первых результатов украинского референдума. Ретивые и услужливые информаторы, начиная с вечера, обрывочными сводками с избирательных участков Донбасса, Николаева, Одессы и Крыма поддерживали у президента иллюзорную надежду на то, что «его» Украина не поддается на посулы националистов и, голосуя за Кравчука (что было очевидно), отвергнет приманку независимости от остального Союза или хотя бы разделится в этом вопросе.

---

[1] Орудие казни.

В наступившей паузе ожидания результатов голосования президент подписал и срочно разослал в парламенты республик свое обращение к парламентариям страны. Вечером 3 декабря он выступил с ним по союзному телевидению.

Это действительно был бег наперегонки со временем. На избирательных участках Украины шел подсчет голосов, с каждым часом все более убедительно подтверждавший тотальную победу Кравчука, и Горбачев пытался с помощью своего послания, как водитель, хлопочущий у машины с заглохшим мотором, вновь запустить забуксовавший процесс одобрения Союзного договора.

Выборы в это воскресенье в форме референдумов состоялись и в Казахстане, где триумфально, с доперестроечным результатом — около 98 % «за», — президентом был избран Нурсултан Назарбаев. Это дало возможность Горбачеву снивелировать оползневый эффект триумфа Кравчука и попытаться уравнять выборы в той и другой республике по их последствиям.

После объявления предварительных результатов голосования Горбачев связался по телефону с Назарбаевым и Кравчуком, поздравил их «в предварительной форме», поскольку ожидал поступления официальных результатов.

Свою реакцию на итоги выборов он сформулировал следующим образом:

— Состоявшееся голосование и убедительно продемонстрированная в той и другой республике воля народов к упрочению независимости и суверенитета представляют им дополнительную свободу действий для осознанного выбора и принятия этими республиками решения по поводу их участия в новом Союзе Суверенных Государств. Независимость не является препятствием на пути движения к новому Союзному договору — напротив, именно полный суверенитет республик дает им возможность принять взвешенные добровольные решения по поводу всего, что касается их участия в будущем Союзе.

Эта позиция, разумеется, носила явный отпечаток вымученности, ибо всем было ясно, что эффектная победа Кравчука немедленно переводила его в положение

национального лидера, выступающего во взаимоотношениях с Горбачевым с позиции «силы», то есть того общенародного мандата, которым, к сожалению, не обладал союзный президент.

В этой ситуации все зависело от позиции России. В ней не должно было произойти принципиальных изменений, если только они не были запланированы, ибо результаты голосования на Украине легко прогнозировались заранее. Тем не менее российское руководство предпочло представить положение, сложившееся в результате украинского референдума, как нечто принципиально новое. Оно решило не упускать этого шанса для окончательного разрыва с Союзом и взятыми на себя ранее обязательствами в рамках ново-огаревского процесса, ибо неуступчивость Украины в этом вопросе создавала для руководства России почти безупречное алиби.

Сценарий «взрыва» Союза к этому времени был уже в деталях продуман, основные юридические формулы заготовлены — оставалось нажать на кнопку «пуск». Горбачева во избежание «сюрпризов» с его стороны, разумеется, не следовало раньше времени «травмировать», поэтому была избрана успокаивающая тактика. Ельцин проинформировал его о своем намерении съездить в Минск к Шушкевичу по двусторонним делам и сказал, что заодно было бы неплохо «послушать» Кравчука и уточнить его намерения в отношении Союза. Больше того, он готов согласовать с Горбачевым тактику обсуждения этих вопросов с украинским президентом, с тем чтобы уговорить его не порывать с Союзом.

После встречи, состоявшейся у Горбачева, оба президента порознь сообщили прессе, что они «не мыслят Союза без Украины», при этом Ельцин сказал, что надо будет все сделать, чтобы убедить украинцев присоединиться к Союзному договору. Правда, он сделал оговорку, которая в тот день не привлекла особого внимания: «Если этого не получится, надо будет подумать о других вариантах».

Сам Горбачев напишет потом об этой встрече в своей книге «Декабрь-91»:

«Я разговаривал с Ельциным до его отъезда в Минск, приводил Президенту России старые и новые

аргументы. Он же мне твердил: а вот Украина — вы гарантируете, что она будет в этом договоре? Я уже чувствовал, что тут есть тайный замысел. Когда же я увидел, что в Минск поехали Бурбулис и Шахрай, мне все стало ясно. Бурбулис в свое время написал записку, она «гуляла» по столам у многих, хотя и под грифом «строго конфиденциально». В чем смысл этой записки? В том, мол, что Россия потеряла уже половину из того, что она выиграла после августовского путча, хитрый Горбачев плетет сети, реанимирует старый центр и его будут поддерживать республики. Все это невыгодно России, и это надо остановить, прервать. Зная все это, я убеждал Ельцина, что Украину можно вовлечь в договорный процесс, и главный шаг состоит в том, чтобы Российская Федерация первой обсудила и подписала Договор.

Однако Президент России пренебрег моими аргументами. И я уже чувствовал почему — российское руководство тяготит какой бы то ни было «центр». Вот где корни того, что произошло в Минске, в Беловежской пуще».

В телефонном разговоре с Кравчуком Горбачев еще пытался вразумить уже не подвластного ему республиканского лидера:

— Вы слышали, что я сказал о независимости республик? Почему же вы решаете интерпретировать независимость как обязательный выход из Союза? Есть республики, которые раньше всех заявили о своей независимости и тем не менее участвуют в строительстве нового Союза.

Вполне естественно, что большинство населения Украины проголосовало в пользу независимости — кто захочет выступать против этого? Однако примерно столько же людей высказалось в марте за сохранение Союза и участие в нем Украины. Это значит, что, если бы вопрос о независимости был задан по-другому: вне или в рамках Союза, — результат был бы другой.

Ответа на свои вопросы он не получил.

3 декабря Горбачеву позвонил Гельмут Коль с вопросом:

— Михаил, скажи, как у вас в действительности обстоят сейчас дела?

Горбачев ответил, что главное для него — вопрос о будущем устройстве государства. Если сейчас упустить время, возникнет огромная опасность дезинтеграции не только экономики, но и в целом всего общества. В случае затяжки еще хотя бы на месяц или два под вопросом может оказаться очень многое из того, что связано с процессом реформ.

— А как ты оцениваешь положение на Украине? — спросил Коль.

— Понимаешь, сложилось положение, когда состоявшийся референдум хотят представить как голосование за отделение от Союза. Независимость и суверенитет автоматически приравнивают к отделению. А ведь это не так. Если дело дойдет до такого вот грубого отделения от Союза, до ухода Украины, то тогда мы можем столкнуться там с очень опасными событиями.

В следующие дни с теми же вопросами к Горбачеву встревоженно обращались и Лех Валенса, который затем выступил по советскому телевидению с патетическим призывом «поддержать Горбачева» и предложил эволюционный путь демократических реформ; и премьер-министр Венгрии Йозеф Анталл, с которым Горбачев встретился 6 декабря. Ему Горбачев объяснял:

— Самое важное — не допустить, чтобы процесс реформирования Союза перешел в его распад, который стал бы общей трагедией, в том числе и для мирового сообщества.

Анталл в ответ делился венгерским историческим опытом:

— В том, что рушится империя, — трагедии нет, как показывает пример Австро-Венгрии. Трагедия появляется там, где границы искусственно разделяют людей. После первой мировой войны Венгрия потеряла две трети своей исторической национальной территории и около половины населения. С учетом всего этого важно удержать процесс суверенизации республик в цивилизованных рамках.

Премьер-министр Венгрии позволил себе и «дружеский совет»:

— Управлять такой страной, как ваша, из одного центра все равно невозможно. Надо, чтобы республики

почувствовали свой суверенитет, нашли формы самоуправления. Только на этой основе сможет образоваться естественный союз.

Однако, увы, вместо такого всеми расхваливаемого, логичного и рационального естественного союза перед Горбачевым все более явственно вставала другая перспектива — «ливанизации страны». Или, чтобы не ходить так далеко за примером, — ее югославизации.

В разговоре с Горбачевым Анталл, разумеется, не мог не упомянуть и о 1956 годе. Вот парадокс: в то время, как вторжение стран Варшавского договора в 1968 году в Чехословакию уже было, после соответствующей политической «классификации», передано в архив, в отношении венгерских событий, сопровождавшихся неизмеримо большим насилием и кровью, сохранялась формальная двусмысленность. Ни Президентом СССР, ни советским парламентом не были официально произнесены слова покаяния и осуждения этого акта вооруженного вмешательства во внутренние дела соседнего дружественного государства и «братского» народа. Заявление пресс-службы Горбачева на этот счет в ответ на вопрос, заданный на одном из брифингов, в отсутствие подтверждающих его слов президента могло расцениваться как моя собственная инициатива.

Й. Анталл, упомянув об этом еще не урегулированном вопросе, сказал, что, по мнению венгерской стороны, нет никаких причин для того, чтобы к оценке событий 56-го года в Венгрии относиться иначе, чем к августу 68-го года в Чехословакии, и повторил слова, сказанные им самим советскому послу Стукалину еще в 1989 году, когда находился в полулегальной политической оппозиции:

— Если вы снимете наручники с наших рук, мы станем вашими самыми искренними друзьями.

Анталл, как выяснилось, не только очевидец, но и участник будапештских событий ноября 1956 года, даже был приговорен к смертной казни. Он сказал Горбачеву, что первый огонь по советским солдатам в те дни открыли не повстанцы, а тайная полиция, спровоцировав их тем самым на ответные действия.

— В ту пору в Венгрии не было угрозы развития событий в сторону фашизма, — сказал он. — Вы можете,

господин президент, со спокойным сердцем дать свою оценку прошлому и не предадите память погибших в Будапеште советских граждан.

С этими словами он передал Горбачеву памятную медаль, изображавшую рукопожатие.

Явно тронутый рассказом, Горбачев заверил его, что решительно настроен подвести черту под прошлым, и обещал в ближайшее время публично подтвердить оценку советским руководством этой «трагической страницы» в истории двух народов. Эту возможность Горбачев нашел полчаса спустя на совместной пресс-конференции, которую они провели с Анталлом по окончании переговоров.

Сделанное Горбачевым заявление, осуждавшее военное вмешательство 1956 года, позволило ему с достоинством закрыть историю советско-венгерских отношений, за полчаса до того, как в том же Екатерининском зале Кремля встречей Анталла с Ельциным были с чистого листа открыты новые венгеро-российские отношения. В то время, как часть венгерской делегации прощалась с уходившим из зала советским президентом, Анталл уже протягивал руку навстречу входившему через другую дверь Президенту России.

* * *

Приближалась загадочная Минская встреча трех «славянских» президентов. Горбачев как бы проверял самого себя — все ли сделано с его стороны, не упустил ли он еще какой-либо возможности для воздействия на ситуацию.

6 декабря, созвонившись с Кравчуком и Назарбаевым, он предложил им встретиться у него в понедельник 9 декабря, сказав, что договорился об участии в такой встрече с Ельциным и Шушкевичем. Оба вновь избранных президента дали свое согласие.

В эти дни Горбачев вел себя как профессиональный теннисист, оказавшийся на грани проигрыша решающего матча, но намеренный биться за каждый разыгрываемый мяч, ибо он знал, что, независимо от явного преимущества противника, пока им не проигран последний мяч — все возможно, включая победу. По

Москве в эти дни уже гуляла сочувственно-ироническая шутка, которая расшифровывала предложенный им Союз Суверенных Государств — ССГ — как Союз Спасения Горбачева, а он, апеллируя к стране и к миру, бился за спасение единой страны и своего реформистского проекта...

Пока сначала в Минске, а потом в укромном углу Беловежской пущи за плотно закрытыми дверями встречались руководители России, Белоруссии и Украины, Горбачев дал два развернутых интервью: провел давно обещанную беседу в программе «Семь на семь» со звездой французской телекомпании ТФ-1 Анн Сенклэр и почти двухчасовую встречу с обозревателем украинского телевидения. Первое интервью предназначалось Франции и Европе, лидеры которой готовились к провозглашению политического союза в Маастрихте. Второе — Украине и остальному Советскому Союзу, вплотную подошедшим к черте необратимого распада.

Президент придавал большое значение каждому из них и перед встречей с командой ТФ-1 около двух часов вслух размышлял в присутствии Черняева и меня над основными темами, которым, как было ясно, будет посвящена беседа.

Его предыдущее развернутое интервью французским журналистам осталось в далеком 1985 году. Именно с него шесть лет назад для французских телезрителей начался нескончаемый телесериал горбачевской перестройки, в котором было все, что нужно для захватывающего телеромана: интрига и страсть, сюрпризы и драма. И было много больше, чем нужно для триллера, — реальная драма народа, страны и ее лидера, требовавшая, по словам Пастернака, от ее главного актера «не читки, а полной гибели всерьез».

Сейчас, постаревший на шесть лет, Горбачев уходил в политическое прошлое, но в тот вечер он был раскован и неотразим:

— В политике никогда нельзя опаздывать. Не менее важный урок, не только для внутренней политики, но и для внешней, — нельзя делать ставку на силу. Силой ничего нельзя решить. Посмотрите, во что это все вылилось в Югославии: города разрушены, экономика разрушена, убытки в миллиарды долларов, сколько

жизней уже принесено в жертву, сколько раненых, сколько горя!

Итак, ставка — только на политический диалог, на демократические методы, на взаимопонимание, на сотрудничество и на компромиссы. Вот то, в чем я давно убежден. И поставил во главе угла своей внутренней и внешней политики.

В том же интервью он рассказал Анн Сенклэр, что Л. Кравчук обещал «продать форосскую дачу кому угодно только для того, чтобы больше не пускать туда Горбачева», — и развел руками, изумляясь тому, что ему приходится слышать.

В состоявшейся на следующий день беседе с обозревателем телевидения Горбачев «выложился». Он обращался к украинцам так, будто они еще не проголосовали на референдуме за Кравчука и за свою независимость, будто и вправду стрелки исторических часов можно, как декретное время, перевести на любое количество часов и дней назад, будто он по-прежнему оставался их президентом. И это выглядело одновременно и впечатляюще, и грустно:

— У меня нет сомнений в том, что народ Украины за сотрудничество со всеми суверенными республиками, за новый Союз, за новые отношения. Не за разрушение, а за созидание нового. Я получаю на этот счет очень много информации. Месяц назад был опрос в Киеве, в Москве, в Ленинграде, в Красноярске, в Алма-Ате, в Новосибирске, кажется. Данные известны. И вот: в Москве 80 процентов высказались за сохранение Союза, естественно, обновленного, нового. В Киеве — 64 процента опрошенных, в Алма-Ате — 72.

Есть другая информация, живая, человеческая. Вернулся из отпуска водитель моей машины. У него случилась беда. Умер в Луганске дядька. Поехал на похороны и пробыл в Луганске какое-то время. Говорит, там не мыслят себе отделения от Союза. Жили, говорят, и будем жить вместе... Вообще вопроса даже не возникает.

Почему Украина, или Россия, или Белоруссия, или Казахстан, или Кыргызстан потеряют свой суверенитет, если сами, независимо делают выбор? Почему не участвовать в создании, в строительстве нового Союза,

такого Союза, который отвечал бы их интересам, нынешней их роли, их возможностям?

Тот, кого демократия выплеснула на поверхность, не должен выступать в роли оракула, который все знает наперед и которому ничего не стоит перечеркнуть то, что создавалось веками. Десять веков поколения создавали государство, после нас придут еще столько поколений, а тут хотят перекромсать весь этот огромный мир, переломать через колено судьбы миллионов людей.

Пусть, пусть нас слушают! Я скажу вам все, чтобы на Украине знали, что в моем лице они имеют человека, который любит этот край, эту республику, даже больше, чем любит... вы знаете это. У меня никаких здесь политических расчетов. Украинцы должны знать мое мнение.

...И вы не качайте головой, не качайте головой — поскольку мы выяснили мои корни, я имею право так говорить. Имею моральное, человеческое право рассуждать так и вот с этими словами, от сердца, от души, обратиться ко всей Украине, ко всем народам Украины — все обдумать.

Исхожу из того, что кроме лихих политиков есть еще нормальный народ, здравомыслящие люди. И эта сегодняшняя наша беседа им будет понятна. Прощаюсь с телезрителями, надеюсь не навсегда, и еще раз прошу не допустить ошибки на этом очень важном этапе развития нашей общей судьбы и истории.

Так он простился с украинцами как бывший президент. Простился и с остальными телезрителями бывшего СССР, поскольку к тому времени, как его интервью передали по общесоюзному телевидению, это государство волею собравшихся в Беловежской пуще руководителей трех республик перестало существовать...

ГЛАЗАМИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ

Я был для Горбачева, разумеется, человеком из другого поколения. Несмотря на это, познакомившись еще в 1985 году во время его первого официального визита во Францию, мы без труда находили общий язык. Как пресс-секретарь я просто обязан был проводить в

его кабинете (или быть в пятиминутной досягаемости от него, когда разговоры президента не предназначались для посторонних ушей) большую часть рабочего дня, обычно первым встречая его по утрам со свежими новостями и дожидаясь отъезда на дачу, как правило, около девяти вечера.

Наше частое общение объяснялось и тем, что в последние 100 дней его президентства, по мере того, как реальная власть уходила из Кремля, главным собеседником Горбачева становилась пресса. Через нее он, утрачивая остальные рычаги управления страной, пытался воздействовать на усиливавшийся хаос и с ее же помощью стремился запротоколировать для будущего суда Истории свои отчаянные попытки спасти страну от развала.

Время от времени звонила Раиса Максимовна. Она с трудом выходила из августовского шока, пережив тяжелое нервное потрясение в течение 72-часового заключения в Форосе (и постоянного ожидания худшего). Когда на третий день изоляции в Крыму, в комнату вбежал зять Горбачевых — Анатолий с сообщением о том, что из Москвы с неизвестной целью летят организаторы путча, она на несколько дней почти потеряла речь. Фотографию этой женщины с глазами, полными слез и пережитого ужаса, прижимающую к себе внучку на трапе самолета, прилетевшего из Крыма, следовало бы приобщить к материалам обвинения против заговорщиков. Да и потом, когда напряжение, казалось, спало, тень семейной беды и драматического отлучения Горбачева от его дела, которым Раиса была всецело поглощена, уже не уходила из ее взгляда. Дав после долгих колебаний интервью московской газете, сама Раиса признала, что «после августа из-за горечи пережитого предательства атмосфера в семье как бы потускнела».

«Неужели любая политика бессильна перед агрессивностью людей?» — задавала сама себе вечный и неразрешимый вопрос в своей книге «Я надеюсь» первая советская «первая леди» и не решалась на него ответить. Об этом же она несколько раз спрашивала меня по телефону, и я понимал, что она ищет ответа совсем

на другое: в семье президента уже думали о возможной или даже неизбежной отставке.

В кремлевских кабинетах тоже то и дело возникали разговоры об этом. Еще до Беловежской пущи после зашедшего в тупик заседания Госсовета, обсуждая с Черняевым неминуемое противостояние центра с республиканской номенклатурой, прежде всего российской, я начал уговаривать его повлиять на президента и не опоздать с отставкой. «Нельзя дожидаться, пока его «уволят» республиканские вожди. Взяв инициативу на себя, он докажет, что не цепляется за власть и тем самым сохранит достоинство и с ним — шансы для возможного возвращения».

Уже тогда я не верил в скорое или просто возможное возвращение «Горби» после отставки. Чудес в политике, тем более российской, не бывает, если не считать чудом само его появление в ней. Мне хотелось с помощью этих вполне рациональных для любой другой страны аргументов, помочь Горбачеву принять болезненное решение — подсластить горькую пилюлю. Молча выслушав меня, Черняев сказал: «Пока он считает, еще не время. Будет держаться за Союз до последнего. Но, — тут он понизил голос, — все-таки поручил мне подготовить вариант заявления. Просил, правда, никому не говорить, чтобы не началась паника. Так что вы тоже пока молчите».

Горбачев действительно бился, как мог, за сохранение единого государства. Кроме известных и много раз повторенных причин его защиты: общая история, нераздельная экономика, перемешавшееся население, угроза территориальных конфликтов и межнациональных «разборок», ядерное бремя ответственности за стратегическую стабильность — его побуждало к этому понимание того, что рухнувший Союз погребет под своими обломками его главное детище: демократическую реформу. И, конечно же, нежелание войти в российскую историю антигероем — человеком, развеявшим по ветру достояние его предшественников.

Увы, только откупорив наглухо запечатанный сосуд под названием «советское государство», Горбачев обнаружил неудержимо вырывающегося из него яростного джинна номенклатурного национализма и уже не смог

загнать его обратно, тем более что собравшиеся вокруг него за столом Госсовета республиканские «бароны» уже жадно протягивали к початой бутылке свои стаканы. Для большинства из них полученная возможность огородить свой национальный надел государственной границей, таможней, пусть потешной, но собственной армией с функциями, едва годящимися для президентской охраны, была способом защиты своих кресел, теперь превращенных в троны, права на кусок общесоюзного пирога, а главное, — сохранения прежних порядков. Ославленный как «империя зла» уже не американским президентом, а бывшими республиканскими и областными партийными секретарями, Советский Союз был расколот их дружными усилиями на мелкие осколки.

Результатом стал не прогресс демократии на 1/6 части земной суши, а появление дюжины мини-империй местной аппаратной знати и националистических кланов. Американский философ Эмитай Этциони сокрушенно писал по этому поводу зимой 1992 г.: «Можно пытаться противодействовать или наоборот способствовать замене единой имперской структуры на группу местных тираний — ведь среди новых «сукиных сыновей» наверняка найдется несколько «наших». Однако вряд ли можно называть подлинным самоопределением замену центрального демократического правительства, которое начало складываться в Советском Союзе, кучкой местных автократов».

Ради спасения Союза Горбачев творил политические чудеса: сводил вместе заклятых врагов, усаживал за один стол армян и азербайджанцев, добивался от союзного парламента решения о фактическом самороспуске в пользу будущей федеральной Ассамблеи. Больше того, получал почти на каждое свое предложение или новую инициативу согласие всех республиканских президентов, включая хмуро кивавшего Ельцина. Но увы, одерживая блистательные тактические победы, почти уверив Запад (и самого себя) в том, что он — вновь хозяин положения, прежний Горбачев, «с которым можно вести дела», он приближал свое стратегическое поражение.

Собственно говоря, многое было предрешено, когда

он, недооценив глубину конфликта в обществе, расколотом надвое его дерзким проектом демократической трансформации, и, переоценив собственные силы, решил остаться в центре между двумя сходящимися громадами, надеясь предотвратить их столкновение. Будто новый Одиссей, который, вообразив себя Гераклом, вместо того, чтобы проскользнуть между Сциллой и Харибдой, попробовал их развести. Своими же руками он ускорил распад уже символического Союза, когда, то ли запаниковав, то ли попав в ловушку, расставленную ельцинским окружением, решил форсировать воссоздание жесткой центральной структуры и, поднажав на идею единого государства, окончательно сломал ее.

Запад и впрямь с недоверчивым изумлением наблюдал за поразительным чудом воскрешения прежнего Горбачева и на всякий случай вновь слал к нему гонцов с комплиментами и обещаниями не только политической, но и материальной поддержки. Моя пресс-служба в Кремле сбивалась с ног, вводя и выводя от президента журналистов, фотографировавших зарубежных премьеров, министров иностранных дел и экономики, директоров банков и управляющих международными фондами. Следуя примеру капитана, мы продолжали играть, как оркестр на палубе «Титаника», поддерживая имидж несуществующей супердержавы. Эту часть президентской работы и сам Горбачев, и вся его «королевская рать» исполняли вполне профессионально и доблестно «держали фронт». Но не могли и не смогли удержать тыл.

Тылом же, а на деле истинным политическим фронтом Горбачева в последние три месяца его кремлевской жизни был неизбывный и безнадежный конфликт с Ельциным. Конечно, можно дать этому российскому варианту японской борьбы «сумо» вполне марксистское объяснение как столкновения социальных и даже классовых интересов, старой и новой элит, союзной и республиканской номенклатур или даже просто давно назревшей смены политических поколений. И все же, я уверен, без острого личного конфликта сильных натур и противоположных характеров этих исторических

персонажей закономерная политическая драма России не переросла бы в национальную трагедию.

Трудно было бы более выразительно написать и режиссерски поставить эту политическую интригу. Горбачев своими руками вылепил своего победоносного противника — сначала, призвав его в Москву из Свердловска, сделав секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро в первые же месяцы своего правления. Заботливо прикрывал Ельцина от атак Лигачева, рассчитывая подольше уравновешивать и нейтрализовать одного другим. Потом, когда этот персонаж его политического театра вдруг решился на собственную роль, «наказал» его: уволил из Политбюро, подарив статус партийного мученика и чуть ли не потомственного диссидента. Завершил Горбачев возведение статуи своего Командора, уступив Ельцину по собственной воле место первого демократа страны, когда, испугавшись набранной скорости перемен, решил притормозить и повернул руль вправо. Из перевернувшейся машины перестройки Ельцин выбрался уже народным героем и великодушным спасителем контуженного путчем Горбачева. Остальное он сделал уже сам.

Беда этих двух выходцев из прежней номенклатуры, и тем более оказавшейся под их правлением страны, — в том, что каждый на свой лад воплощал лишь одну из сторон традиционно раздвоенного, мятущегося русского характера. Сочетание контрастных черт в русском человеке, как свидетельствовала русская литература и российская история, делает эту нацию великой и несчастной. Разделение их в форме двух типов национальных руководителей и противоположных государственных курсов влечет за собой политическую катастрофу.

В то время как Горбачев, следуя достаточно редкой среди российских политиков либеральной традиции, делал ставку на эволюционные перемены, постепенное изменение сознания, привычек, мотивов и поступков людей, рассчитывая таким образом изменить в конечном счете их поведение, Ельцин в соответствии с более привычной для российско-советской истории царистско-большевистской манерой «пошел другим путем». Не желая «ждать милостей» от человеческой природы,

подобно столь любезным Сталину натуралистам-преобразователям Мичурину и Лысенко, Ельцин решил навязать людям крутой вираж в их поведении путем резкого изменения условий их существования. Решительная власть и ни в чем не сомневающиеся руководители взялись подчинить народ очередному, на этот раз «демократическому» масштабному социальному проекту, сравнимому лишь с так и не реализованным поворотом сибирских рек в сторону Средней Азии. Человек в рамках такого замысла вновь, как, увы, столько раз в российской истории, обращается в объект произвола властей, преисполненных, разумеется, самых благих намерений и заботы о своем народе.

Воплощая разные ипостаси одновременно мечтательного и анархического, романтического и авторитарного сознания, Горбачев и Ельцин уже как бы не принадлежали самим себе, и во всяком случае почти не контролировали своего поведения по отношению друг к другу. Натура брала верх над разумом и даже расчетом. Обычно предельно сдержанный и способный быть при необходимости иезуитски обходительным и неотразимым, Горбачев срывался и допускал грубейшие просчеты, имея дело с Ельциным. В свое время он не захотел предложить ему союз против консерваторов и националистов внутри партии, выставил против него кандидатом в спикеры российского парламента Полозкова. После же выигранных Ельциным выборов не смог заставить себя поздравить его с победой. Когда же после августовского путча униженный отравленным великодушием противника, вернувшего ему президентскую мантию и шпагу, попробовал наладить корректные и лояльные отношения с Борисом Николаевичем, было поздно.

Так же вел себя и Ельцин, угрюмо и ревниво ждавший своего часа, не столько для того, чтобы предложить России альтернативный путь реформ, сколько для сведения, наконец, счетов с обидчиками — сначала с Лигачевым, потом с Горбачевым, заявившим, что «больше не пустит его в политику». Даже он, попадая под горбачевское обаяние и напор, время от времени делал над собой усилие, публично признавал «заслуги» Горбачева перед российской демократией. Заявлял

после августа-91, что «почти полностью доверяет» президенту и называл «оскорблением» подозрения в том, что хочет его сменить. Однако внутренняя антипатия и, разумеется, ревность к более яркому и одаренному антиподу неизменно брали верх. И, когда обвинив только что избранного Президента СССР в «диктаторских устремлениях», требовал вместе с правыми его отставки зимой 1991 года, и в августе, когда сладострастно унижал его в российском парламенте, и в декабре, когда, наконец, уже взяв Кремль, неспособный быть великодушным к окончательно поверженному сопернику, требовал, чтобы тот «пока не поздно покаялся в грехах и совершенных преступлениях», за которые может еще придется отвечать. «Люди, которые ползут к ступенькам престола, — писал в свое время о другом Борисе — Годунове — российский историк Василий Ключевский, — не любят и не умеют быть великодушными».

Конечно же, слабость того и другого хорошо изучила и использовала окружавшая челядь. Особенно преуспели в игре на струнах личной неприязни и подозрительности ельцинские фавориты — Бурбулис, Полторанин и Козырев. Во-первых, потому, что таких струн у Ельцина было не в пример больше. Во-вторых, играя на них, они обеспечивали собственное продвижение на его «броне», как пехоты, укрывающейся за танком, к новым плацдармам власти.

В первые дни сентября 1991 года, когда в Кремле заседал чрезвычайный Съезд народных депутатов, Ельцин и Горбачев всюду появлялись вместе. Они сидели рядом в зале, когда казахский лидер Назарбаев зачитывал текст совместного заявления союзного и республиканских президентов, выработанного по формуле «10+1». Вместе давали интервью СНН. Подобно двум русским царям Ивану и Петру, сидя на двуглавом троне, отвечали из Георгиевского зала Кремля, превращенного в телестудию ABC, на вопросы Питера Дженнингса и звонивших в Кремль американцев. Однако уже с октября пути Советского Союза и России начали окончательно расходиться.

Почему же Запад, столь щедрый на комплименты политике Горбачева и столь скупой на реальную эконо-

мическую помощь и тем более на встречные уступки в политической и военной областях, оказался столь великодушным и безоговорочно солидарным с Ельциным после его монопольного утверждения на российском престоле? Почему то, в чем «Большая семерка» отказывала советскому Президенту — от полного членства в МВФ до ощутимых валютных кредитов — она поспешила дать российскому? Почему, наконец, постоянно подозревая Горбачева в неверности и намерениях при первом удобном случае изменить демократии, Запад без всяких сомнений присвоил пожизненный титул демократа № 1 российскому президенту, закрыв глаза на танковый штурм законно избранного парламента, десятки погибших и оправдываясь тем, что «демократию в России не следует мерить на миллиграммы»? Можно найти этому разные объяснения. Одно очевидное: столь необычен и неожиданен, даже неправдоподобен был Генеральный секретарь КПСС в роли подлинно демократического реформатора и объединителя послевоенной Европы, что Западу понадобилось неоднократно щипать себя за руку и пробовать перестройку на язык, чтобы убедиться — перед ним не мираж. Этот этап, однако, остался в далеком прошлом. Дальше же западная политика, не услышав мольбы Горбачева «синхронизировать западную помощь с советской реформой» и упустив шанс адекватно ответить на вызов с Востока, не поднялась выше уровня конъюнктуры.

Так и не доверившись до конца Горбачеву только из-за того, что в отличие от Ельцина тот не стал демонстративно отрекаться от коммунизма, хотя почти полностью демонтировал коммунистическую систему, ныне Запад суетливо и безоглядно поддерживает ельцинский курс «реформ». И движет им не забота о российской демократии (многие из ее завоеваний последних лет уже растоптаны новой номенклатурой), а лишь страх перед тем, что отчаявшаяся Россия начнет искать выход из нынешнего исторического кризиса в традиционном военном самоутверждении и агрессивном мессианстве. (Что лишний раз доказывает, что в политике — увы, не только внутренней и не только российской, но и мировой — не благие намерения и

моральные принципы правят бал, а страх и сиюминутный расчет.)

С другой стороны, разве можно требовать от переживающей не лучшие времена западной демократии большего по отношению к России, чем от самого российского населения, которое своим обращением с обретенной свободой лишний раз подтвердило, что подаренная «сверху» демократия, не укрепленная на фундаменте гражданского общества, легко становится орудием популистов и демагогов, открывая двери национальному фашизму.

Два флага — российский и советский — над московским Кремлем не могли долго соседствовать. Пространство, еще недавно занимаемое самой большой мировой державой, с каждой неделей, с каждым новым решением российского правительства съеживалось, как шагреневая кожа. К декабрю 1991 года Президент СССР уже не контролировал полностью даже обнесенную кремлевскими стенами вершину Боровицкого холма.

В его кабинете не отключали воду, электричество и отопление, как это сделали демократы в октябре 1993 года с Белым Домом, в котором заседал российский парламент. Однако каждое утро я приносил ему сообщения о том, что очередное министерство, а то и целая отрасль переведены решением Ельцина «под юрисдикцию российского правительства». Шаг за шагом оно, не заботясь о законах, приватизировало союзную энергетику, транспорт, связь, финансы. Дошла очередь до МИДа, и Шеварднадзе, пробывшего во второй раз на посту союзного министра иностранных дел чуть больше двух месяцев, попросили освободить здание на Смоленской площади для Козырева. Армия не могла понять, в какую сторону поворачивать голову при равнении: с промежутком в одни сутки перед ее высшим командным составом выступили порознь оба президента. Если вход на 3-й этаж, где помещался кабинет Горбачева, продолжала прикрывать оставшаяся ему верной в Крыму прежняя союзная охрана, то въезд на территорию Кремля уже контролировала служба безопасности Ельцина. Форос повторялся.

Перед отъездом в Белоруссию на встречу с Шушкевичем, куда должен был подъехать и только что избран-

ный украинским президентом Кравчук, Ельцин пришел к Горбачеву, чтобы обсудить, как «уговорить» Украину присоединиться к Союзу. «Я не мыслю себе нового Союза без Украины», — сказал он, выйдя от Горбачева, в кремлевском коридоре ждавшим его журналистам. Проводив его до лифта, я зашел к президенту и пересказал ответы Ельцина на этой импровизированной пресс-конференции: «Если не будет получаться, — добавил он напоследок, — подумаем о других вариантах. Что он имел в виду, Михаил Сергеевич?» Горбачев казался удовлетворенным беседой: «Мы договорились, что он постарается повлиять на Кравчука, — ведь из-за украинского референдума мы отложили подписание союзного договора. А в понедельник (имелось в виду 9 декабря) Ельцин, Кравчук и Назарбаев (одновременно с Кравчуком избранный казахским президентом) соберутся у меня для окончательного разговора». Однако «окончательный разговор» прошел в Беловежской пуще в отсутствие Горбачева.

В воскресенье 8 декабря у меня на даче раздался звонок «вертушки» (линии правительственной связи). Телефонистка переспросила мою фамилию. Сказала: «С вами хочет поговорить Борис Николаевич». Я был заинтригован. Через полминуты в трубке раздался мужской голос, по-видимому, помощника Ельцина: «Кто у телефона?» — «Грачев», — ответил я. Помолчав, он с сомнением переспросил: «Павел Сергеевич?» — «Нет, Андрей Серафимович». В трубке поспешно сказали: «Нет, нет, нам нужен другой».

Павел Сергеевич Грачев, мой однофамилец, в недавнем прошлом командующий воздушно-десантными войсками СССР, был в это время заместителем союзного министра обороны Евгения Шапошникова. Предназначенный ему звонок, как я понял потом, раздался из Беловежской пущи. Бдительный помощник Ельцина не дал мне поговорить в тот день с российским Президентом и узнать, для чего ему понадобился Павел Грачев, вскоре ставший министром обороны России. На следующий же день все и без того стало ясно.

Славянский союз руководителей трех республик, заключенный в белорусском лесу, положил конец не только 69-летней истории Советского Союза, но и про-

должавшемуся шесть с половиной лет эксперименту Горбачева по трансформации административного социализма в демократический и гуманный. Его надеждам на изменение российского общества без его дестабилизации и хаоса. Его иллюзиям относительно того, что за годы социалистической истории в СССР сложилось современное гражданское общество и появился «советский человек», которого достаточно освободить от гнета архаичной системы, чтобы он с достоинством вступил в современный мир. Иначе говоря, его намерению повторить и довести до успешного завершения в России конца 80-х годов то, что из-за СССР не удалось сделать модернизаторам чехословацкого социализма в 1968 году.

Этот замысел — построить ненасильственным способом ненасильственный социализм — оказался утопией и, как любая утопия, разбился при попытке его реализации. Утопическим же первоначальный горбачевский проект оказался вдвойне: во-первых, ненасильственного социализма, в очередной раз, в природе и реальном мире обнаружить не удалось, и, стало быть, речь шла о химере. Во-вторых, предпринятая им попытка ненасильственной социальной революции разбилась об угрюмую российскую традицию и об инстинкты этого несчастного общества. По своей психологии оно оказалось почти в такой же степени пропитанным авторитаризмом, как и подавлявший его режим. В который раз опровергая научные истины, теперь уже марксистские, советское общество вместо того, чтобы на основе социалистического базиса создать соответствующую ему надстройку, продемонстрировало миру, как эффективно тоталитарный строй может сформировать и подвести под себя тоталитарную социальную базу. Еще одна утопическая мечта Ленина (помимо мировой революции) о том, что даже «преждевременно» взявший власть в отсталой стране пролетариат сможет усилием воли и партийной организации «поднять» и цивилизовать ее до уровня социализма, оказалась иронически опровергнутой российской историей и... самой ленинской партией.

И все же нет оснований относить Горбачева к числу исторических неудачников. Не только из-за его выдаю-

щейся роли в освобождении Восточной Европы и прекращении «холодной войны», но и его вклада в преображение России. Да и разве можно отделить одно от другого?

Пусть даже его попытка российской либеральной реформы пополнила список предшествовавших ей неудач. Либералам, как известно, вообще до сих пор не везло в этой стране. Известный русский философ Константин Леонтьев сделал даже из плачевного опыта российских реформаторов-либералов — от Бориса Годунова до двух Александров I и II — вывод «о вреде либерализма» для России: «После либералов с их розовой водой рассуждений о всеобщем равенстве и правах приходят диктаторы без комплексов».

На первый взгляд, похожая судьба уготована и архитектору перестройки. В то же время многое говорит о том, что, несмотря на вынужденный уход автора реформы, сама она на этот раз не была отторгнута российским обществом. Да, «Великий Горби» потерпел поражение в достижении тех целей, которые ставил или по крайней мере о которых заявлял. Важнейшие из них: выработка новой современной модели социализма и трансформация прежнего «Союза поневоле» в добровольную ассоциацию народов и государств, объединенных общей историей и взаимными интересами. Но, может быть, вместо этого, он сам того не ведая и поначалу не желая, добился более значительных и масштабных результатов.

Начатая им в 1985 году политическая реформа оказалась матрешкой наоборот: открывая их одну за другой, он обнаруживал внутри новую, еще большую, чем предыдущая. Прав оказался гоголевский Поприщин, утверждавший, что внутри земного шара есть другой, только большего размера. Недаром в России «Записки сумасшедшего» до сих пор считаются самым поучительным чтением. Масштаб новых проблем, возникавших перед российскими реформаторами с каждым их успехом, оказывался на порядок больше тех, что им удавалось решить. «По наитию дуешь к берегу. Ищешь Индию — найдешь Америку!» — воскликнул Владимир Маяковский, восхищаясь Колумбом. Отправившись на поиски жизнеспособного социализма, Горбачев при-

шел сам и привел страну к берегу свободного человеческого общества, отторгающего все схемы и авторитеты, включая, как выяснилось, и его самого.

Его план постепенного настраивания российской демократии на медленном огне перестройки не удалось довести до конца. Избыточное внутреннее давление сорвало с котла крышку, и содержимое выплеснулось наружу. Что ж, следующим поварам придется быть осторожнее. Что касается самого Горбачева, важным итогом его карьеры можно считать оставленный им пример. Политическое житие последнего партийного Генсека и первого законно избранного Президента — это тоже обнадеживающий признак перемен в российской политике и, значит, жизни страны. Он дает надежду на то, что после того, как на ее сцену выйдут «дети Горбачева», эта страна, быть может, вопреки собственным традициям, окажется все-таки способной разомкнуть заколдованный круг, по которому, казалось, обречена ходить: от анархии к диктатуре и обратно...

...Вечером в воскресенье 8 декабря мы с женой возвращались из загорода. Предыдущая неделя (как и все два с половиной месяца, которые я провел в должности помощника и пресс-секретаря Горбачева) была перенасыщена политическими событиями и чисто эмоционально, поэтому я с удовольствием предвкушал возможность провести остаток вечера в Пушкинском музее, на концерте Святослава Рихтера.

В машине раздался телефонный звонок. Я понял, что это звонит президент, и попросил водителя свернуть к обочине, чтобы спокойно поговорить. Горбачев был явно возбужден — его интересовало, когда Центральное телевидение намеревалось передать его интервью для украинцев.

Я знал, что это планировалось вскоре после информационной программы «Время». Ответ его явно не удовлетворил — он хотел знать, гарантирован ли показ, будет ли интервью передано полностью, когда точно начнется передача. В его голосе звучало нетерпение.

Связавшись из машины с информационной редакцией телевидения, я убедился, что все в порядке — ин-

тервью будет передано после 23 часов, и еще раз перезвонил Горбачеву.

— Это слишком поздно, — раздраженно отреагировал он, — завтра рабочий день, люди рано лягут спать, а ведь важно, чтобы они успели увидеть интервью до того, как узнают про результаты встречи в Минске.

Было очевидно, что он уже знал эти результаты, и чувствовалось, что в этот морозный воскресный вечер, отлученный у себя на даче от рабочего кабинета, батареи телефонов и помощников, с которыми можно было бы обсудить ситуацию и выработать линию поведения, Горбачев не находил себе места. Вот почему он хотел бы с помощью интервью немедленно ответить своим соперникам и верил, что, если передать его на час раньше, будет еще не поздно.

Как он рассказал потом, ему позвонил на дачу белорусский лидер Шушкевич и сообщил, что собравшиеся в Беловежской пуще три руководителя «вышли на соглашение», которое он ему зачитал. Он же проинформировал Горбачева о том, что главком Вооруженных Сил Е. Шапошников поставлен в известность об их договоренности и уже состоялся разговор Ельцина с Бушем.

Горбачев взорвался:

— Вы разговариваете с Президентом Соединенных Штатов Америки, а Президент СССР ничего не знает. Это позор!

Он попросил к телефону Ельцина, потребовал собраться у него в Кремле на следующий день, как договаривались, для того чтобы объясниться. Ельцин ответил, что от имени всей «тройки» на разговор с Горбачевым прибудет он один.

Впоследствии упоминалось о том, что два других «пущиста» не поехали в Москву, опасаясь за свою безопасность. На самом деле, очевидно по выработанной схеме, Ельцина решили снарядить к Горбачеву с «запечатанным» мандатом, который он уже не смог бы сам изменить, с тем чтобы в очередной раз авторитет, опыт и напор Президента СССР не разрушил выработанные в Белоруссии схемы, не позволил бы на этот раз надежно спеленутому Гулливеру порвать те нити, с помощью которых его за ночь привязали к земле.

Похоже, что и в чисто личном плане Кравчук и Шушкевич предпочитали не встречаться лицом к лицу с поверженным ими лидером, которому они в конечном счете были обязаны своим собственным вознесением. Разговаривая на следующее утро по телефону с руководителем аппарата президента Г. Ревенко, Шушкевич взволнованно и путанно объяснял, что приехать не может, потому что «он должен все осмыслить и отоспаться... все так неожиданно произошло», и что, если на своей встрече Горбачев и Ельцин договорятся о расширении ее состава, он, разумеется, приедет. (Насколько мне известно, больше со времени декабрьского переворота белорусский и украинский лидеры с Горбачевым не виделись...)

На следующее утро сразу после приезда президента в Кремль я вошел к нему в кабинет. Он полностью владел собой, был мобилизован и бодр и даже постарался загладить инцидент, связанный с украинским телеинтервью, сказав, что, по его мнению, все получилось хорошо.

Горбачев ждал намеченную на 12 часов встречу с Ельциным и уже прилетевшим в Москву Назарбаевым. Мы обменялись мнениями по поводу происшедшего в Беловежской пуще. Горбачев наступательно сказал:

— Пусть объяснят всей стране, миру и мне.

Он уже говорил с Назарбаевым — тот возмущен и тоже ждет объяснений от Ельцина. Должен прибыть к 12 часам, как и было условлено.

— А как Ельцин? — поинтересовался я.

— Обещал прийти, но потом перезвонил и сказал, что опасается за свою безопасность. Боится, что его здесь арестуют. Я ему сказал: «Ты что, с ума сошел?» Он говорит: «Может, не я, а кто-то еще». В общем, кажется, я его убедил, и он сейчас будет.

Позднее по Москве распространились слухи о том, что пресловутая группа «Альфа» готовилась арестовать всю «беловежскую тройку», но получила в последний момент отбой, что в Кремль, чуть ли не готовясь к осаде, нагнали грузовики с бетонными блоками.

Когда я вышел из кабинета Горбачева, в приемной уже ждал Назарбаев, он сразу прошел к президенту.

Через минуту после него в приемную вошел Ельцин с охранником.

Встреча троих продолжалась полтора часа. После ее окончания хмурый Назарбаев, выйдя от Горбачева, сразу отправился на аэродром. В его позиции, которую он, не приглаживая, сообщил прессе, прозвучала открытая политическая и личная уязвленность не только тем, что три «славянских брата» совершили за спиной союзного президента, односторонне разорвав коллективные ново-огаревские договоренности, но и тем, что они поставили азиатские республики перед свершившимся фактом и тем самым бросили вызов их национальному достоинству.

Ельцин встречу не комментировал, дав только понять, что он рассчитывал на разговор с Горбачевым один на один, а не в присутствии «третьего лишнего». Позднее он жаловался, что ему Горбачевым и Назарбаевым был учинен подлинный допрос.

Зайдя к Горбачеву сразу после выхода Ельцина из кабинета, я застал его в задумчивости.

— Что можно сказать прессе, Михаил Сергеевич? — этот ставший привычным для нас обоих вопрос действовал безотказно. Он открывал мне двери в кабинет президента практически на любое совещание и в любое время (разумеется, при соблюдении рамок приличия и такта). Он же служил постоянным напоминанием президенту о важнейшей и высшей, даже по отношению к нему, инстанции — общественном мнении и просто мнении людей этой страны, имеющих право ждать от него не только информации, но и постоянного отчета о действиях и намерениях власти, от которых зависела их судьба. И не было случая, чтобы он от этой ответственности уклонился. Скорее обратное — президент несколько раз критиковал меня за то, что я «слишком застенчиво» ждал приглашения на какие-то совещания и встречи, в которых участвовал он сам («Пресс-секретарь должен знать обо мне и от меня все»), за то, что либо по нерасторопности пресс-службы, либо из-за вялости наших журналистов их не оказывалось вовремя там, где происходили события и где рождались новости.

Его живо интересовали рассказы о еженедельных

брифингах и главные вопросы, которые на них задавались. Несмотря на любые, самые важные дела, которые могли занимать его в дни, когда они проводились, я знал, что он будет ждать информации о них и не ляжет спать (соответственно не дав этого и мне), пока ее не получит, хотя бы позвонив по телефону из машины или поздно вечером с дачи ко мне домой.

— Что мне сказать прессе, Михаил Сергеевич? Там уже целая толпа журналистов.

Горбачев, как правило, четко отделял официальную информацию для печати от рассказа о том, что и как происходило. И сейчас он, тщательно подбирая слова, начал, по существу, диктовать мое будущее сообщение для печати:

— Скажи, что на встрече Президента СССР с Ельциным и Назарбаевым была выслушана и подробно обсуждена информация Президента России о встрече в Бресте. Были заданы многочисленные вопросы с целью прояснения различных аспектов достигнутых там договоренностей. Условились, что инициатива лидеров трех республик (он сделал ударение на слове «инициатива») будет разослана Президентом СССР в парламенты остальных республик для рассмотрения одновременно с начавшимся изучением разосланного ранее проекта Союзного договора.

На этих трех фразах он остановился. Из них предстояло приготовить для прессы во время импровизированной пресс-конференции вводное сообщение, ответы на бесчисленные вопросы и два или три интервью для российских «Вестей» и американской Си-Эн-Эн, а также для ритуального брифинга в пресс-центре МИДа на следующий день.

Поняв, что дальше официальной версии мне не продвинуться, я переключился на впечатления президента от встречи триумвирата и возможные шаги с его стороны, которые потребуются в сложившейся ситуации. Выплеснув на меня, думаю, лишь малую часть своих эмоций по поводу встречи в белорусской глуши и ее участников, благосклонно улыбнувшись родившейся шутке, перефразировавшей название известных конфет — «Без Мишки в лесу», Горбачев сказал, что, видимо, в течение дня сделает свое официальное заявление.

Оно было опубликовано на следующий день — 10 декабря.

Начав с констатации теперь уже необратимой новой реальности, Горбачев завершил его словами:

«Для меня очевидно следующее. Соглашение прямо объявляет о прекращении существования Союза ССР. Безусловно, каждая республика имеет право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств и учетом воли их народов.

Неправомерно и опасно также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе.

Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых подписан. Тем более это произошло в тот момент, когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным советом СССР.

В создавшейся ситуации, по моему глубокому убеждению, необходимо, чтобы все Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР обсудили как проект Договора о Союзе Суверенных Государств, так и соглашение, заключенное в Минске. Поскольку в соглашении предлагается иная формула государственности, что является компетенцией Съезда народных депутатов СССР, необходимо созвать такой съезд. Кроме того, я бы не исключал и проведение всенародного референдума (плебисцита) по этому вопросу».

Именно последняя фраза вызвала наибольшее число вопросов во время пресс-брифинга на следующий день. Корреспондентов интересовало, намерен ли президент использовать союзный парламент, чтобы дезавуировать решения, принятые в Беловежской пуще; когда и на какой территории может быть проведен референдум, одним словом — как, с помощью каких политических или, быть может, властных или даже силовых приемов собирается он защищать распущенный в Бресте Союз, ново-огаревский процесс и самого себя.

Излагая в ответ на вопросы позицию Горбачева, я имел все основания сказать:

— Он не будет защищать свое положение, свою власть ценой риска нового раскола общества, провоцирования в нем дополнительных политических и тем более вооруженных конфликтов.

В то же время для меня было очевидно, что он надеялся, рассчитывал, ждал от страны, в жизнь которой он вдохнул так много нового, какого-то сигнала, реакции на то, что произошло в Белоруссии. Горбачев полагал, что пусть не в такой форме, как в минувшем августе в Москве, но все же пробужденное к самостоятельной жизни общество поднимется на защиту своего права участвовать в решении своей дальнейшей судьбы.

Он ждал этого от парламентов, которые не были посвящены в проекты решений, подписанных от их имени президентами трех республик; от прессы, которая, вдохнув воздух гласности, не должна была так послушно, с облегчением начать славословить новую, более решительную власть; от интеллигенции и политиков, которых он позвал за собой в перестройку, дав им обещание, что впредь власть будет подотчетна народу и подконтрольна ему.

Вот почему и в своем Заявлении, и в комментариях к нему он не сообщал о собственных решениях, а, верный своему до сих пор оправдывавшему себя методу, приглашал общество подтолкнуть его, потребовать от него каких-то действий, дать ему мандат. Однако изверившееся в его проекте и в нем самом общество, которое уже столько раз верило ему на слово, на этот раз молчало. Народ в очередной раз безмолвствовал.

Характеризуя решения лидеров трех республик, Горбачев в своем Заявлении сказал о том, что его беспокоило: о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что могло лишь усилить хаос и анархию в обществе, а также о форме, способе подготовки и появлении минского документа, родившегося, как утверждали подписавшие его лидеры, «прямо на месте».

Он считал, что подобные решения, безусловно, выходят за рамки компетенции руководителей исполнительной власти и тем более того мандата, который был дан прошлым Съездом народных депутатов, в силу

чего, если следовать нормам законности и конституции, требовалось их обсуждение на Съезде народных депутатов. Такой съезд мог быть созван либо по предложению не менее чем одной пятой части депутатов, либо по требованию или предложению одной из палат, либо по решению президента. Однако Горбачев не хотел брать на себя инициативу по его созыву, не убедившись заранее, что не будет действовать в одиночку.

К сожалению, он не учитывал, что именно его собственное, пусть единоличное, решение, его выбор, его поступки, пусть даже связанные с политическим риском, могли обеспечить ему ту самую общественную поддержку, которой он так безуспешно ждал в течение всей недели, последовавшей за брестской встречей.

Были подняты на брифинге и другие вопросы. В их числе — вопрос о ядерной кнопке, которая, по словам Кравчука, уже была «поделена на три части». И о том, насколько декабрьские решения тройки республиканских вождей можно уподобить августовской попытке государственного переворота.

Разумеется, если бы Горбачев стал на такую точку зрения, он должен был бы действительно послать в Минск группу «Альфа» или устроить засаду у себя в кабинете. Однако, не совершив переворота внутри себя, Горбачев не мог пойти на это. Вот почему его оценка происшедшего сводилась к тому, что при всех внешних параллелях, которые могли возникнуть, речь шла о принципиальном отличии того, что случилось в декабре, от того, что происходило в августе. Тогда имело место прямое столкновение сторонников и противников демократических преобразований реформы в Советском государстве. В нынешней же ситуации речь, как представлялось, шла о различиях, пусть даже принципиального характера, в путях, методах и темпах проведения этих преобразований.

Был поднят и естественный в такой ситуации вопрос о возможной отставке президента. Со своими рассуждениями на эту тему уже выступили новые российские вельможи, ощущавшие аромат близкой власти и норовившие побольнее пнуть еще не поверженного, но уже безвластного и поэтому безопасного Президента СССР.

Так, российский министр иностранных дел Андрей Козырев в своем интервью западногерманской газете «Бильд», отвечая на вопрос о будущей судьбе союзного президента, заявил:

— Горбачев не прокаженный — и мы найдем для него работу.

Его коллега министр информации Михаил Полторанин начал изобретать для того, кого он считал уже бывшим президентом, представительские функции типа почетного председателя или руководителя координационного совета Содружества по вопросам внешней политики.

— Ему не надо опасаться участи Хонекера, — успокаивающе отозвался он о еще не смещенном президенте.

Пытались подыскать какую-то символическую роль для Горбачева на переходный период и другие члены окружения Ельцина, в частности Сергей Станкевич и Галина Старовойтова, — то ли в силу того, что, «вылупившись» в годы горбачевской перестройки, ощущали некоторую неловкость из-за бесцеремонности, с которой его выпроваживали в отставку, то ли считая, что их рассуждения на эту тему смогут выполнить роль наркоза при проведении болезненной, но неизбежной операции, насильственно учиняемой над строптивым пациентом.

Горбачев, мобилизовавший к этому времени всю свою выдержку, услышав об этих вариантах, ограничился лаконичным:

— Неплохо бы сначала спросить меня, согласен ли я в этом участвовать.

«ВЫ СЧАСТЛИВЫ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ?»

Главным делом, которому посвятил себя президент в эту вторую декаду декабря, стала его попытка объясниться с собственной страной накануне того необратимого и рокового, как он считал, поворота, предпринятого беловежской «тройкой». В этих целях он постарался использовать все, увы, неуклонно сокращавшиеся возможности, и прежде всего прессу и телевидение.

Различные органы печати и журналисты, пытавшиеся в течение многих недель и месяцев привлечь к себе внимание Президента СССР и терпеливо стоящие в очереди на интервью с ним, неожиданно обнаружили, что он стал для них доступен. Может быть, даже не отдавая себе отчета и повинуясь лишь политическому инстинкту, Горбачев, по мере того как расставался с официальной властью и президентскими полномочиями, вновь, как на заре перестройки, демонстрировал качества выдающегося политика. Он пытался нейтрализовать противников, искал и находил союзников, в том числе среди тех, кто был его естественной и самой надежной опорой и кем он считал возможным поэтому раньше пренебрегать.

В течение этой декабрьской декады он провел продолжительную, на несколько часов, беседу с главным редактором «Московских новостей» Леном Карпинским — его давним знакомым по университету, дал интервью колючей «Комсомольской правде» и представлявшему новое поколение журналистов постгласности Виталию Третьякову из «Независимой газеты».

Похоже было, что Горбачев с изумлением открывал для себя малоизвестный ему мир компетентных и проницательных молодых журналистов, выросших и сформировавшихся за годы перестройки. При этом он обнаруживал, с одной стороны, что далеко не так одинок, как ему казалось (что было приятно), а с другой — что он уже давно не является для нового демократического подлеска, поднявшегося в стране, тем непререкаемым авторитетом и незаменимым лидером, которым он продолжал ощущать себя (что было не столь приятно).

Кроме закономерного политического интереса президента, очевидный встречный интерес проявляли журналисты — именно им предстояло с его помощью дать ответы на те многочисленные вопросы, которые хотели бы задать ему и задавали самим себе миллионы людей в этой агонизирующей державе. Журналисты допрашивали Горбачева, и иногда их вопросы были интереснее его ответов. Но иногда и он сам, говоря с ними, задавал себе вопросы, ответить на которые могли только время и история.

— Не кажется ли вам сегодня, — спрашивал его

журналист, — что ваша политика, нацеленная на подписание Союзного договора, и включенный в нее ново-огаревский процесс оказались ошибочными?

— Нет, я убежден, что Союзный договор как база для реформирования унитарного многонационального государства просто необходим... Меня интересуют реальности, мир, каким он предстает вокруг, его переплетенность — человеческая, экономическая, стратегическая. Это затрагивает всех, все республики, даже Прибалтику. Всем придется договариваться, ибо, если разрушается часть структуры, может рухнуть она вся.

Говорят, Горбачев подстрекает людей своими рассуждениями. Нет, я лишь обращаю внимание на факты и их последствия — чтобы все это было осмысленно при принятии окончательных решений.

Я буду уважать выбор, который сделают представительные органы и сам народ. Вопрос в том, чтобы этот выбор происходил конституционно. Категорически против того, чтобы сейчас при выяснении этого вопроса возникло противостояние. Пусть люди решают. Им надо дать такую возможность.

Но люди молчали. Они уже настолько привыкли к тому, что решения принимают без них, хотя и от их имени, что перестали верить любой власти. Особенно после того, как в очередной раз удостоверились, что даже избранные ими самими руководители, став властью, ведут себя как те их предшественники, которых они свергали.

Горбачев не дождался отклика на свои многочисленные призывы к парламентам, людям, стране. Они устали и больше не готовы были идти за ним, как, впрочем, и за кем-либо другим. Так кончилась перестройка.

Он сам понял это в течение той недели, которая последовала за минской встречей, и, поняв, принял решение уйти.

Горбачеву нелегко далось решение об отставке. И не потому, что он закрывал глаза на неумолимую реальность.

Все произошло настолько стремительно и, как он считал, коварно, что ему необходимо было некоторое время для того, чтобы свыкнуться с необратимостью

происшедшего и с тем, что конец президентского срока, а может быть, и финал его политической карьеры за него подвели другие. Как трезвый и рационально мыслящий политик, президент после Беловежской пущи осознавал неотвратимость отставки и даже поручил Черняеву загодя начать работу над текстом его Заявления. Однако грубо выбитый «беловежским лассо» из седла ставропольский всадник не мог сразу смириться с тем, что для него скачки закончились и что дальше ему предстоит идти пешком.

Окружавшие Горбачева помощники в эти дни не докучали ему очевидными советами, главный из которых сводился к тому, чтобы не опоздать уйти самому до того, как его политические соперники навяжут ему более унизительную форму ухода. Мы понимали, что оставшуюся часть президентского пути Горбачеву предстоит пройти в одиночестве, смягченном, может быть, лишь пониманием и поддержкой жены.

Зато после того, как окончательное внутреннее решение было принято, Горбачев предстал перед нами как освободившийся человек...

В заключение беседы Третьяков спросил его:

— Вы счастливы, Михаил Сергеевич?

Горбачев усмехнулся:

— Я не знаю счастливых реформаторов. Но я доволен своей судьбой, тем, что мне довелось не только участвовать в грандиозном процессе перемен в моей стране, но и возглавить его. Это придает мне силы.

Но ему еще предстояло пройти «четыре четверти пути», как пел Высоцкий, подняться на свою Голгофу и самому внести туда крест. И этот доставшийся ему отрезок пути надо было использовать не только для того, чтобы привести в порядок мысли, чувства и бумаги, но и успеть сказать людям то, что они, может быть, услышат позже, после его ухода. И видимо, ему было необходимо уйти для того, чтобы они смогли его услышать.

12 декабря Горбачев встретился в Кремле с большой группой редакторов, обозревателей, тележурналистов. Поначалу мы планировали ее проведение в новом пресс-центре, который специально готовили для президентского аппарата. Однако после Минска всем

стало ясно, что этим зданием будут пользоваться другие.

Войдя в зал Госсовета, где уже собрались человек сорок журналистов, Горбачев направился было к своему привычному председательскому месту, однако я перехватил его и предложил сесть в середине стола. Горбачев понимающе кивнул: он принимал правила игры.

Как бы извиняясь, он сказал журналистам:

— Я привык на этом месте: Политбюро заседало здесь, Госсовет — здесь.

Одним из первых прозвучал вопрос о возможности нового военного переворота. При этом всем было ясно, что спрашивающего интересовало, не возглавит ли его сам президент, не обратится ли он за помощью к армии в качестве верховного главнокомандующего. Тем более что, спасая Президента СССР, армия могла бы спасти Союз и, значит, саму себя от раздела, дележа, унижения.

Горбачев ответил категорично:

— Что касается армии, я вижу роль главнокомандующего прежде всего в том, чтобы позаботиться о ней, постараться сделать все, чтобы не расшатывать ее, хотя это трудно в реформируемой стране. Важно, чтобы этот важнейший государственный институт выполнял свою функцию строго по назначению. Считаю, что политик, использующий вооруженные силы для достижения своих политических целей, не только не заслуживает поддержки, а должен быть проклят. Армию надо использовать по ее прямому назначению. Политика, которая рассчитывает пустить в ход танки, не достигнет цели. Это тупик...

В последние дни у меня, как и у Ельцина, были контакты и встречи с руководством Вооруженных Сил. Армия — это особый институт государства, гарант безопасности, стабильности общества. Нельзя допустить, чтобы человека с оружием провоцировали. Если сейчас начать выяснять, где чьи границы, кому где жить, чья армия, это сорвет весь процесс реформ, похоронит его. Мы получим хаос, из которого демократическим путем уже не выбраться.

И вновь вопрос об отставке:

— Все говорят: вопрос уже решен. И вообще вам уже нашли место. Что вы можете сказать? Давайте проясним — что же происходит на самом деле?

Горбачев пожал плечами.

— Что произошло, то произошло. Не буду касаться того, что я сказал в своем Заявлении относительно правовой и политической договоренностей в Беларуси. Ведь если исходить из них, то Союза уже нет, законы уже не действуют, и это значит, что ни государства, ни границ и вообще ничего у нас нет, все вне закона.

Какова теперь моя позиция? Я должен признать случившееся реальностью. Мое отношение как президента страны: я буду уважать выбор представительных органов. Другого себе не позволю. Но это не значит, что я не имею своей оценки, своей точки зрения. Я предложил обществу варианты. Пусть люди размышляют. Никакого давления оказывать я не хочу, но свою точку зрения до общественности я доводил и буду доводить, потому что убежден, что мы совершаем сейчас большую ошибку.

Если будет поставлен крест на союзном государстве и я увижу, что этот процесс на каком-то этапе получает поддержку у республик, то я поставлю вопрос о своем уходе. Вы знаете, что Горбачев способен идти на компромиссы, но есть вещи, через которые переступать нельзя.

Еще один закономерный вопрос:

— Все лидеры суверенных республик не просто члены — они руководители КПСС, которую вы возглавляли. Одни стали ярыми националистами, другие — за раздел страны, третьи — против коммунизма. Поставим себя на место граждан. Как верить политическим верхам, если вчера все говорили одно, сегодня начали кусать друг друга, разбегаться по разным квартирам и т. д.?

— Думаю, что ответ можно получить только от них самих.

Журналисты спросили про «ядерную кнопку».

Горбачев отрезал:

— Сегодня известно, где она находится, а там пусть разбираются. Это уже без меня.

И последний диалог перед окончанием встречи:

— Как вы видите свою судьбу в будущем? Вы сказали, что уйдете.

— Да. В отставку.

— Человек такого высокого уровня, политик с таким опытом и в таком возрасте?

— Ничего, ничего, проживу.

— Позвольте не поверить, что вы пойдете на пенсию.

— Я уйду в отставку. Если так все завершится, я уйду в отставку. Тут вопроса не может быть.

— Если вы уйдете, предвидя, что произойдет, не будет ли это для вас большим укором потом на всю жизнь?

— Я сделал все, что мог. Думаю, другие на моем месте давно бы бросили все это дело. Меня испытывали и на разрыв, и на разлом. И партия мяла, и военно-промышленный комплекс, и друзья-коллеги по новому Союзу. Все. И все-таки я считаю, что главные идеи перестройки на всех направлениях, включая политическую и экономическую реформы, обновление многонационального государства, я протащил, хотя и не без ошибок, допуская несвоевременные решения, упустив какие-то моменты, что-то неправильно оценив...

На мою судьбу выпало великое дело, и оно свершилось. Придут другие, может быть, лучше сделают. Я хочу, чтобы все закончилось успехом, а не поражением.

В заключение встречи Горбачев достал из своей папки испещренный пометками текст.

— Хотите знать, что сулит миру расчленение России? Вот что писал русский мыслитель Иван Ильин в начале века: «Расчленение организма на составные части нигде и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, гниения, всеобщего заражения. И в нашу эпоху в этот процесс будет втянут весь мир. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. И это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира — европейские, азиатские — будут вкладывать свои деньги, свои торго-

вые интересы и свои стратегические расчеты в возникшие малые государства. Они будут соперничать друг с другом, добиваться преобладания в опорных пунктах. Мало того, выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое господство в неустроенных и незащищенных новообразованиях, и мы должны быть готовы к тому, что расчленители России попытаются провести свой враждебный и нелепый опыт даже в послебольшевистском хаосе, обманно выдавая его за высшее торжество свободы, демократии и федерализма. (Это не я говорю, а то вы подумаете, что это — мои слова.) Откроются две возможности: или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои руки бразды правления и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижения, возвращения, отмщения, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия».

Вот этого нельзя допустить в любых вариантах. Я уверен, что мы делаем ошибку, вот почему я так серьезно обеспокоен. Опаснейшие мины заложены в историю нашего государства.

Горбачев распрощался с журналистами, наверняка пожалев, что не проводил таких встреч раньше. Вечером в информационной программе Российского телевидения этой встрече был посвящен лаконичный, но выразительный репортаж, в котором не было обильных цитат и высказываний президента. Было его лицо, его жесты и чашка чая в его руке. Чашка, на стенке которой телекамера вместе с оператором и миллионами телезрителей долго, как будто стремясь запомнить, разглядывала нарисованный герб Советского Союза.

В вышедшей на следующий день «Комсомольской правде» отчет о встрече Горбачева с журналистами заканчивался словами: «Он сделал все, что мог. И то, что мог сделать только он». Это был прощальный салют молодой российской прессы освободившему ее рыцарю гласности.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИЧАСТИЯ

Начался обратный отсчет времени. Несмотря на то что первоначально, согласно договоренности между Ельциным и Горбачевым, на переходный период, то есть на церемонию погребения Союза, было решено отвести примерно месяц, с каждым новым публичным заявлением российского президента и его доверенных лиц этот срок неуклонно сокращался.

После того как парламенты всех трех республик единодушно, как в славные брежневские времена, проголосовали за ратификацию Беловежского соглашения, Союз де-факто перестал существовать. О том, чтобы соблюсти приличествующие положению и возрасту усопшего ритуальные процедуры, решили не заботиться. Новые жильцы торопились въехать на еще не освободившуюся площадь и поторапливали родственников покойного.

Депутатам Верховного Совета СССР, прошедшим горнило первых в советской, если не российской, истории относительно свободных выборов, было сообщено, что заседаний союзного парламента больше не будет, поскольку составлявшие его большую часть республиканские депутаты отозваны своими парламентами.

Комментируя в беседе с корреспондентами «Тайм» Строубом Талботом и Джоном Коханом 13 декабря эту ситуацию, Горбачев, уязвленный очередной, после августовского путча, безропотной капитуляцией союзного парламента, на рождение которого у него ушло столько сил, сказал:

— Я уговаривал Ельцина: не разгоняйте союзный парламент — ведь на вас останется грех, как на тех большевиках, которые в восемнадцатом году разогнали Учредительное собрание. Дайте им провести заключительное заседание — они все понимают и сами примут необходимые решения; ведь большинство там все равно принадлежит депутатам от республик. Подумайте о нашей репутации в мире — там скажут: ну вот, опять реформаторы с большой дороги.

Встреча с корреспондентами «Тайм» началась с резкого вопроса Талбота:

— Будете ли вы еще президентом в следующий по-

недельник? Ведь вы сами уже столько раз произнесли слово «отставка»?

Он, очевидно, имел в виду беседу Горбачева с советскими журналистами.

Однако в то время вопрос об отставке оставался еще чисто внутренним делом Горбачева — с ним надо было разбираться в своем «доме» и в своей «семье». Для внешнего же мира он должен, обязан был до конца оставаться Президентом СССР. И эту привычную для себя роль уверенного хозяина дома, выходящего к гостям на крыльцо, невзирая на то что дом за его спиной вовсю полыхает, Горбачев выполнил уверенно и непринужденно.

Он даже пожурил членов американской администрации (имелся в виду, очевидно, Бейкер) за то, что они излишне «суетятся», утверждая, что Союза больше нет, и выразил надежду на более взвешенное поведение США перед лицом процессов, «в серьезном исходе которых мы все заинтересованы». Он еще раз подтвердил, что примет любой вариант такого исхода, при условии, что жизненно важные для страны вопросы будут решаться конституционным и законным образом, а «не на площадях или в лесах», и сказал, что хотел бы «трижды ошибиться», когда высказывает опасение, что избранный республиканскими лидерами путь приведет к срыву всего: рынка, демократии, плюрализма и реформы. «А ведь это дело всей моей жизни».

Говоря о возможных претензиях к позиции Буша, имевшего во время беловежской встречи телефонный разговор с Ельциным, Горбачев бесстрастно сказал:

— Это мораль Ельцина, а не Буша. Я знаю, что Буш до конца хотел избежать выбора между нами. Жаль, что здесь этого не понимают. Так получилось, что на критическом этапе развития страны у власти оказались неопытные политики, которым еще предстоит выйти из стадии популизма. Ну что поделать. Что касается меня, я считаю, что главное дело моей жизни состоялось и с этой точки зрения жизнь удалась.

Талбот и его коллеги, как и многие их предшественники, вышли из кабинета Горбачева, унося с собой часть убежденности и энергии этого человека и веру в его политическое будущее.

— Вы нас успокоили, а то мы шли к вам, думая, что это будет наше последнее интервью с тем, кого «Тайм» отметил дважды: как «человека года» и совсем недавно — как «человека десятилетия».

Горбачеву же важно было, чтобы накануне имевшей особое значение для него встречи с Бейкером, прибывавшим в Москву на переговоры, с ним самим американцы обращались как с действующим, а не отставным президентом.

В Вашингтоне приняли этот сигнал. Буш сам позвонил Горбачеву. Вечером, рассказывая по телефону об их разговоре, Горбачев сказал:

— Я ему все сказал — и о неконституционности Минска, и о наших отношениях, и о Бейкере. Он внимательно слушал, сказал, что обязательно надо регулярно общаться. Вообще был «сильный разговор».

Не менее «сильный», хотя и более щадящий для самолюбия Горбачева разговор состоялся у него на следующий вечер с Ф. Миттераном. Горбачев собирался на концерт — в Москву со своим оркестром приехал Клаудио Аббадо. Должны были исполнять ту самую симфонию Малера, о которой как о подлинном эмоциональном «открытии» для себя он напишет позднее в своей книге «Декабрь-91».

К этому времени он уже прочитал посвященные ему выдержки из выступления Ф. Миттерана в программе «Семь на семь» и был тронут высказываниями французского президента в его адрес.

— Приветствую вас не только как государственного деятеля, но и как друга, — начал он разговор и, как бы продолжая их последнюю встречу в Лаче, отчитался за взятые им тогда на себя обязательства. — Я посвятил и свое окружение, да и всю страну в существо вашей позиции и наших договоренностей. К сожалению, внутренние процессы здесь перешли в другую колею. Они начали развиваться за спиной президента и даже парламентов — в результате вся страна оказалась перед сюрпризом. Вижу свою задачу в том, чтобы сейчас хотя бы вернуть процесс выработки окончательных решений о будущей судьбе страны в конституционные рамки.

Еще одна тема, беспокоившая Горбачева в эти дни,— взаимоотношения «славянских и неславянских» наро-

дов Союза, резко обострившиеся в результате бестактной по отношению к мусульманским республикам формулы Беловежского соглашения. Возмущенную реакцию лидеров этих республик, представляющих больше половины населения страны, нетрудно было предсказать. Возглавляемые Назарбаевым, они собрались в Ашхабаде и выработали в ответ на решения беловежской тройки собственную платформу, которая должна была восстановить паритет в рамках будущего Содружества.

Как сообщил по телефону Горбачеву Назарбаев, участники встречи в Ашхабаде наряду с поправками к тексту договора поставили вопрос о проведении заседания Госсовета, что автоматически означало бы возвращение Горбачева на председательское место. Очевидно, что уже в силу этого такое предложение будет неприемлемо для тех, кто видел основной смысл создания Содружества в форме бублика, то есть с дыркой вместо центра.

Горбачев рассказал Миттерану о разговоре с Назарбаевым, как и о состоявшемся накануне телефонном «совещании» с Ельциным и Кравчуком, вызванном форсированными шагами Украины по переводу под свое начало размещенных на ее территории частей Советской Армии. (Горбачев сам позвонил Кравчуку и принялся его урезонивать, объясняя, что скоропалительные односторонние решения перепугают всех на свете. Ведь у Украины сразу появится третья по величине армия в Европе. Кравчук дал задний ход, и Горбачев, неумело ругаясь, очевидно, для того, чтобы нагляднее донести до собеседника степень своего возмущения, рассказал об этом Ельцину и договорился с ним о необходимости выпуска успокаивающего заявления для печати о том, что все будет делаться поэтапно.)

Зная о повышенной чувствительности французов к вопросам ядерной обороны, Горбачев заверил Миттерана, что будет «до конца» обеспечивать жесткий контроль за стратегическим оружием.

Миттеран поинтересовался его взглядом на перспективы Содружества. Горбачев повторил свою оцен-

ку белорусских соглашений, объяснил, что не намерен участвовать в разрезании на куски единой страны.

— Вы спросите, что это за партнеры, которые не видят этих очевидных опасностей и отбрасывают достигнутые договоренности. Я вижу тут две причины: одна — это подтверждение того, насколько трудно выходить из тоталитарного состояния. Другая связана с тем, что мы имеем дело с сепаратизмом, всю пагубность которого мы с вами обсуждаем.

Отвечая на вопрос о его собственной судьбе, сказал:

— Не знаю, каковы будут инстанции этого Содружества и, соответственно, смогу ли в них участвовать. Буду решать потом, не это главное. Огорчает, что сейчас, когда наша страна оказалась в таком тяжелом положении, на Западе развернулось соревнование в том, кто раньше скажет, что Союза больше нет (фраза Бейкера, по-видимому, не давала ему покоя). Грустно, когда видишь, что серьезные политики суетятся, торопятся вспрыгнуть на поезд, но, как говорят французы, — «сэ ля ви», — он произнес эти слова по-французски.

В ответ на свой рассказ Горбачев услышал от Миттерана то, в чем он в эти дни особенно нуждался. Не советы, которыми он не смог бы воспользоваться, и не выражение сочувствия, чего он бы не принял, а подтвержденную Миттераном позицию Франции в отношении судьбы его страны и ее народов и оценку его личных усилий, которые французский президент охарактеризовал как важный и плодотворный фактор, обеспечивающий стабильное развитие демократических процессов в Советском Союзе и в его взаимоотношениях с окружающим миром.

— Как и прежде, я считаю, что вы были и остаетесь гарантом стабильности и постоянства в вашей стране. Хочу, чтобы вы знали, что сейчас, когда возникли столь серьезные трудности, Франция пристально и с чувством понимания и симпатии следит за каждым вашим действием, за каждым вашим шагом.

Атеист Горбачев не привык исповедоваться, а уходящий в отставку президент не ждет причастия, но, если бы у него возникла такая потребность, он обратился бы к Миттерану...

* * *

Промелькнувшее воскресенье позволило лишь чуть-чуть перевести дух. В понедельник вновь, как на боксерском ринге, прозвучал гонг — начался второй раунд, вторая послеминская неделя.

Открылась она встречей Горбачева с приехавшим в Москву накануне Бейкером. Воскресный вечер госсекретарь провел за товарищеским ужином со своим теперь уже бывшим коллегой Эдуардом Шеварднадзе.

Я зашел к президенту перед встречей с госсекретарем для того, чтобы узнать, с каким настроением он начинает неделю. Повод для того, чтобы увидеться с ним, предоставил Б. Н. Ельцин, который уже встретился с Бейкером в первой половине дня и на состоявшейся после этого пресс-конференции сказал, что будущую «судьбу Горбачева» тот «должен определить сам».

Президент выслушал эту информацию бесстрастно. Потом, видимо обратив внимание на мою постную мину, с неожиданным подъемом сказал — то ли чтобы подбодрить меня, то ли чтобы мобилизовать самого себя на предстоящую встречу: «Все это чепуха, Андрей, все равно главные события еще впереди!»

На беседу с Бейкером в Екатерининском зале Кремля он пригласил только «своих» — Александра Яковлева, Черняева и Шеварднадзе. Хочу верить, что в этом кругу мы с Павлом Палажченко (бессменным переводчиком Горбачева) оказались не только в силу своих служебных обязанностей.

Начал беседу президент с видимым трудом. Казалось, он внутренне превозмогал какой-то недуг, его лицо горело необычным румянцем, который мог свидетельствовать либо о повышенной температуре, либо о высоком давлении.

Горбачев сказал, что доволен тем, что Президент США направил госсекретаря в Союз с этой деликатной миссией (кроме Москвы, Бейкер направлялся в Киев и Алма-Ату), «ведь мы заинтересованы, чтобы все, что было в наших отношениях до сих пор, имело продолжение». Он кратко представил ситуацию, которая предшествовала Минску, сказал, что не считает, что новоогаревский процесс зашел в тупик.

— Я лично говорил с лидерами шести республик — они были готовы подписать договор.

Тупик, по его словам, сводился к одному — позиции Украины.

— Надо ли всем влезать в тупик из-за нее или, наоборот, вытягивать из него Украину...

Несмотря на то что минская встреча «все поломала», он подтвердил, что воспринимает ее как реальность. Правда, пока речь идет лишь о схеме, «жить по которой будет очень трудно».

— Я хочу, чтобы у них получилось. Не верю, что получится, но хочу ошибиться. Ибо если они провалятся, то под угрозой окажется все, что мы сделали до сих пор.

Бейкер, осторожно нащупывая тропинку для разговора, сказал, обращаясь к сидевшим напротив него:

— Все это время вы были нашими партнерами и даже друзьями, и вы останетесь друзьями. Мы очень хотели бы, чтобы вы остались и нашими партнерами, но понимаем, что это связано с вашими внутренними проблемами. Больше того, — сказал госсекретарь, — мы чувствуем себя неудобно, когда возникает подозрение, что с вами обращаются недостойно.

Двусмысленность этой фразы позволяет воспринять ее и как извинение за собственную недавнюю небрежность в рассуждениях о «бывшем Союзе» и за осуждение той бесцеремонности, с которой законного президента выпроваживали в отставку.

Бейкер откровенно поделился рядом сомнений насчет продуманности формулы СНГ, которая пока что остается «оболочкой», еще не заполненной содержанием. Важнейшая из «загадок» для него — как собираются десять разных государств иметь самостоятельные внешние политики и общую оборонную: «Кто будет отдавать команды верховному главнокомандующему?»

Президент сказал, что сам не рад тому, что оказывается слишком хорошим пророком. Уже на следующий день после подписания минских соглашений Украина начинает их изменять. Дальше может получиться так, что она вообще от них отойдет. Уже сегодня Кравчук не хочет ехать в Алма-Ату. (Накануне украинский президент заявил, что не видит смысла что-либо обсуждать

с другими — азиатскими — республиками: «Пусть присоединяются к тому, что мы подписали в Минске».)

Если в ответ на это возмутится Россия — формы управления быстро перестанут быть демократическими. Уже сейчас подают голос сторонники авторитаризма (чтобы смягчить прозрачный намек на отсутствующих, Горбачев повернулся к Яковлеву: «Признайся, Александр Николаевич, ведь ты в душе диктатор»).

Тут запротестовал Бейкер:

— Нет, только не он.

— Главная же беда, — продолжал Горбачев, — в том, что замордованное общество может покорно принять диктатуру. Вот почему как президент я должен создать условия, чтобы все перемены приобрели характер процесса. Я говорил об этом Ельцину: это необходимо, если вы хотите выглядеть демократами и реформаторами.

То, что при роспуске Союза не подумали о его международных обязательствах, о месте в ООН, об управлении армией, охране границ, по мнению Горбачева, представляло собой «импровизацию и дилетантство, перед которыми пасует культура». И все же единственная разумная позиция для него — придание трансформации конституционных форм. Для Запада же — помощь, особенно срочная, продовольственная. «Иначе недовольство людей превысит критическую массу и сметет весь режим».

Он объяснил Бейкеру, почему настаивает на созыве заключительного заседания Верховного Совета:

— Это важно для будущего, — и подытожил: — Идет реальный процесс, в него надо включиться, чтобы быстрее преодолеть состояние неопределенности. Ведь оно — самое опасное.

Бейкер с удовольствием показал ему свой блокнот:

— Я записал себе ваш совет — использовать вопрос о признании со стороны Запада, чтобы продвинуть образование жизнеспособного Содружества.

— Да, — кивком подтвердил Горбачев, — иначе будет беда.

Собеседники распрощались и вышли из Екатерининского зала через разные двери. Вопрос о традици-

онной совместной пресс-конференции на этот раз не возникал.

На следующий день — новые встречи. Первая — с участниками конференции «Анатомия ненависти». Среди ее участников Нобелевский лауреат Эли Визель, Джек Мэтлок — бывший посол США в Москве, Бронислав Геремек и Адам Михник из Польши, Франсуа Леотар из Франции.

В послании, направленном этой конференции, Горбачев затронул важную для него тему соотношения нравственности и политики:

«Я отвергаю аморальные средства в политике. Не приемлю «силовых приемов» для достижения цели, даже если вижу, что кто-то по ошибке или преднамеренно не приближает нас к ней, а отдаляет. Всякое насилие порождает ненависть, а ненависть всегда разрушительна. И самую благую идею она может превратить в зло для человека и общества. Я горд, что новое мышление, наша новая политическая мораль помогли потеснить ненависть из международных отношений, сделать доверие и соблюдение прав человека важнейшими в мировой политике».

Разумеется, оказавшись в Москве в исторические дни заката советской империи, участники конференции не могли удовлетвориться «письменным» Горбачевым и добились приема в Кремле. Президент был на подъеме и вел себя как человек, принявший какие-то важные внутренние решения.

На этот раз он был даже великодушен к своим преемникам, правда, может быть, не имел в виду тех, кто уже отобрал у него рычаги власти:

— Хорошо, что идут новые поколения политиков. Может быть, они оценят то, что мы нашли в себе мужество начать, значит, мы чего-то стоим.

В его лексиконе начали проскакивать религиозные термины — вероятно, оттого, что он все чаще задумывался не о суетном, а о вечном:

— Нам всем надо научиться избавляться от ненависти, и лучший способ этого — не забывать, что все мы Божьи творения. Хотя, как атеист, я вкладываю в эту формулу свое понимание.

Э. Визель спросил Горбачева, верит ли он в обрати-

мость истории, в то, что в его стране она может пойти вспять и в какой-нибудь из республик вновь появится Гулаг. Президент был категоричен:

— Я не верю, чтобы наше общество вернулось в прошлое — оно слишком много узнало о себе за последнее время.

В то время он не исключал реальной опасности того, что, ощутив на себе всю тяжесть экономических перемен, люди выйдут на улицу.

— Это будет демократическая форма социального протеста, даже если она и будет чревата тем, что сметет существующие демократические структуры.

Упомянув о намеченной на конец недели встрече глав республик в Алма-Ате, созываемой для подписания договора о Содружестве, Горбачев впервые упомянул, что намеревается направить его участникам свое послание, в котором представит на их рассмотрение «ряд серьезных идей». Об этом же он сказал и пришедшему к нему позднее на прием руководителю первой западногерманской телевизионной программы АРД Фридриху Новотны. Это было не интервью — немецкая делегация привезла в Союз крупную партию гуманитарной помощи и передала ее в руки специальной комиссии под руководством известного врача-окулиста профессора С. Федорова.

Новотны воспользовался встречей, чтобы задать Горбачеву три четко сформулированных вопроса, которые даже в переводе на русский язык звучали по-немецки:

— До какого времени вы будете хозяином в этом доме? Распоряжаетесь ли вы ядерной кнопкой? Как оценить то, что предпринимает Ельцин по отношению к вам?

Отвечая на последний вопрос, Горбачев предпочел не заострять проблему:

— Если разделить страницу на вопросы, в которых мы согласны и где расходимся, увидите, что на 80 % наши позиции совпадают. Основные различия в тактике, сроках, методах.

На прощанье процитировал выходившим из кабинета немцам Блока: «Покой нам только снится» и тут же поправился: «Правда, сейчас и во сне нет покоя».

Далеким от спокойствия был и мой очередной брифинг, несмотря на то, что я попросил журналистов хотя бы на день ввести мораторий на вопросы о возможной отставке Горбачева. Поскольку российское руководство не следовало этому мораторию, у журналистов был повод задавать вопросы о названном Б. Ельциным «месячном сроке для отставки» союзного президента. Возник вопрос и о том, поедет ли Горбачев в Алма-Ату и, наконец, считает ли он себя переходной фигурой в условиях, когда в истории его страны происходит смена эпох и эра Горбачева уходит в прошлое?

...Как раз в эти дни исполнялся год со дня присуждения Горбачеву Нобелевской премии мира. Немного было в истории политиков, которые получили бы эту премию, находясь у власти, ибо она больше походит на терновый венец, чем на корону. Вот и Горбачеву пришло время менять одно на другое.

Так или иначе, вопрос об эпохе Горбачева был адресован пресс-секретарю, а не президенту, и это дало мне возможность высказать свое, а не его мнение по этому поводу.

— У меня нет ощущения, что эпоха Горбачева заканчивается, — сказал я, — хотя можно представить, что в течение какого-то периода мир больше не будет иметь дело с президентом М. С. Горбачевым как государственным деятелем, облеченным соответствующими властными и политическими полномочиями. В то же время, поскольку речь идет о человеке, связавшем себя не с конкретной должностью и функцией, а с тем, что положил начало определенным историческим процессам, которые, безусловно, будут продолжаться, думаю, мы еще долго будем говорить о начатой им эпохе.

Вы спрашиваете, позитивно или негативно надо оценивать нынешнюю ситуацию. Я бы сказал о ней, как говорят о погоде. Думаю, что именно так политики должны относиться к реальности: ее можно считать более или менее благоприятной, но на нее нет смысла жаловаться. Ее можно и нужно анализировать, делать из нее выводы, ну и, естественно, приспосабливать к ней свою позицию. Вздыхать же, сожалеть или давать реальной жизни какие-то эмоциональные оценки —

дело тех, кто будет писать мемуары. Мне не кажется, что М. С. Горбачев уже находится на этой стадии.

Этими словами я закончил последний из десяти брифингов для печати, проведенных мной в пресс-центре в качестве руководителя пресс-службы Президента СССР.

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

Каждый из дней той недели, когда вспоминаешь их по одному, растягивается в бесконечность. А ведь мне, как и другим наблюдателям (и участникам) развязки этой драматической политической драмы, была доступна только возвышавшаяся над поверхностью вершина — не айсберга — подводного вулкана политических и человеческих эмоций и страстей, извержение которого происходило в эти дни.

Думаю, в среду 18 декабря Горбачев еще не принял окончательного решения об отставке; он ждал сводок с последнего рубежа — из Алма-Аты, и поэтому, естественно, не знал о том, что это было начало последней недели, проведенной им в Кремле в кабинете Президента СССР.

Утром 18 декабря у него состоялась беседа с журналистами «Комсомолки». Журналистам повезло — Горбачеву явно хотелось выговориться, а они оказались превосходными собеседниками, не только в силу своих профессиональных качеств, но главным образом из-за того, что олицетворяли собой в его глазах новое поколение, к которому ему хотелось обратиться. Разговор с ними стал для него как бы закладкой капсулы в будущее.

Он начал с объяснения своей позиции по поводу союзного парламента — Горбачев считал важным провести хотя бы символическое финальное заседание, чтобы обеспечить по возможности плавный переход от одной государственной структуры к другой. Ельцин, по его словам, колебался. Его аргумент: «Неизвестно, как проголосуют». (Невольно вспоминалось все обилие труднопредсказуемых дебатов и заседаний съездов, парламентских сессий и партийных пленумов, на трибуну которых приходилось выходить Горбачеву в ситуа-

ции, когда он не мог быть заранее уверен в том, каков будет их результат и итоги голосования.)

Журналисты поинтересовались, планирует ли он поездку в Алма-Ату и видит ли для себя возможность играть какую-то роль в институтах, которые будут там созданы. Было видно, что Горбачеву неприятно в очередной раз повторять, что он не получил приглашения от республиканских руководителей.

— Вижу свою роль до Алма-Аты, а там посмотрим,— ответил он, не развивая этой темы.

Зато когда его попросили вспомнить случаи «предательства», с которыми ему пришлось столкнуться на разных этапах своей долгой политической биографии, он воспользовался этим вопросом, чтобы, едва ли не впервые, рассказать о «полосе препятствий», которую ему пришлось преодолевать по пути к начатой им реформе:

— То, что мы задумали, означало выход из системного кризиса. Правда, понимание этого пришло не сразу. Мы отдавали себе отчет в том, что осуществление реформы заденет коренные интересы могущественных центров власти, однако поначалу не могли понять, почему, продвигаясь вперед под громкими лозунгами, не достигли существенных перемен в течение первых двух лет перестройки.

Все дело в том, что монолитные политические структуры не поддавались внешнему воздействию. Больше того, как только дело доходило до угрозы реальным интересам правящих слоев, реформа сразу же начинала буксовать и останавливалась.

Стало ясно, что без включения давления «снизу», без развертывания альтернативного политического процесса практических преобразований осуществить не удастся. XIX партийная конференция, узаконившая разнообразие мнений в партии, стала первым шагом на пути к политическому плюрализму.

Одновременно с реальным продвижением вперед нарастало сопротивление консерваторов, а начиная с образования Российской компартии борьба против реформы и возглавившего ее генсека пошла уже не на жизнь, а на смерть.

— Казалось бы, — продолжал свою исповедь Горба-

чев, — было естественно, заключив союз с демократическими силами внутри партии и вне ее, дать решительный бой реакционерам. Разумно стратегически, однако тактически было бы слишком рано. Не то было соотношение сил — в Политбюро, Центральном Комитете. Слишком силен был еще ВПК...

Слушая изложение опрокинутой в прошлое логической схемы, можно было поддаться иллюзии того, что на самом деле вся стратегия перестройки, подобно Минерве, созрела и в совершенном виде вышла из головы ставропольского Юпитера. И все же главное достоинство его аргументации состояло в том, что ее невозможно было опровергнуть. Сам же он к этому времени уже искренне верил в нее.

— Консерваторы поначалу не торопились — ведь они могли спокойно ждать, пока созреет недовольство народа. Фактором, который подтолкнул их на более активные действия, стал проект Союзного договора — они не могли допустить его подписания.

— А вы не опоздали в выборе момента для заключения союза с демократами? — Главный редактор «Комсомолки» Владислав Фронин попробовал посягнуть на стройность доказательства президентской теоремы.

Горбачев не стал возражать:

— Да, моментом такого соединения стал ново-огаревский процесс. Я пошел на него после драматического противостояния московских демонстрантов с силами порядка. Но вы правы. Это нужно было делать раньше — осенью предыдущего года. Это потерянное время дорого всем обошлось.

Безупречная логика схемы уступила место противоречивой реальности жизни. Говоря об отношении к Содружеству Независимых Государств, Горбачев откровенно признался, что в эту концепцию не верит, однако не считает возможным раскалывать общество по этому вопросу.

— Вы скажете, здесь не хватает логики, — пожалуй. Это как раз пример той «сшибки», которая описана Александром Беком в романе «Назначение».

Не уклонился Горбачев и от ответа на вопрос из области сугубо личной жизни. Журналисты попросили

рассказать подробнее, почему Раиса Максимовна решила сжечь после Фороса их переписку.

— Это произошло 27 августа, — начал вспоминать президент. — Писем у нее за прошлые, особенно молодые наши годы, скопилось много. Я ей писал из разных поездок и командировок регулярно, откровенно и яростно, как радикал. Таким, собственно, и остался. Письма были очень личные и открытые.

Знаете, у Раисы Максимовны очень глубокое отношение к тому миру, который нас связывает столько десятилетий. Она, кстати, принципиальный противник того, чтобы моя семья — она и дети — без нужды выходила на внешний мир. Дом для нее — это наш остров.

27 августа, когда я вернулся домой, застал ее в слезах. Она сказала: «Я только что сожгла все письма. Не могу представить, что их кто-то будет читать, если с нами повторится то, что было в Форосе».

— А кому вы говорите «ты», Михаил Сергеевич?

— Многим, но только тем, кому доверяю. Это у меня от комсомольских времен. Хотя, может быть, и не самый высокий пример культуры.

Последний вопрос перед прощанием:

— У вас сейчас много внешних контактов. Как видят будущее нашей страны в мире?

— На нас смотрят с сочувствием. Ведь это наше завоевание, что на труднейшем рубеже нашей истории мир к нам относится не так, как раньше, — симпатизирует, помогает. Это значит, что нам есть на кого опереться.

Закончил президент фразой, адресованной будущему.

— Моя главная надежда на новых молодых политиков.

Так текст его послания был вложен в капсулу времени и отправлен потомкам...

* * *

Из будущего, однако, пришлось вернуться в мир жестких реалий повседневности — Горбачеву предстояло закончить работу над его обращением к участникам встречи в Алма-Ате.

Для президента это остался теперь уже единственный способ быть там представленным. Обращение было направлено на следующий день — 19 декабря. Горбачев писал в нем, что, как полагает, имеет и моральное, и политическое право поделиться с «товарищами» своими соображениями. Он предупреждал, что начинающийся процесс разъединения, расчленения единой страны, который приходит на смену длительному историческому процессу ее формирования, не будет легким. Речь идет о «повороте колоссального масштаба», затрагивающем основы жизни народов. Положение осложняется тем, что этот период будет происходить в обстановке глубочайшего экономического, политического и межнационального кризиса, значительного снижения жизненного уровня.

Смысл своего послания президент видел в том, чтобы очертить минимум положений, без учета которых будущее Содружество представлялось ему нежизнеспособным. Он даже предложил свое название для этого будущего сообщества наций: Содружество Европейских и Азиатских Государств. (Примечательно, что это название перекликалось с двумя похожими предложениями, которые уже высказывались столь различными фигурами в российской истории: Андреем Дмитриевичем Сахаровым и... Владимиром Ильичем Лениным.)

Экономической основой будущего межгосударственного союза должна была стать, по его мнению, «социально ориентированная рыночная» экономика, для функционирования которой потребуются соответствующие «структуры экономического взаимодействия». (За этим нейтральным термином могли укрываться любые варианты — от простого валютно-таможенного союза до четко структурированного центрального правительства.)

Следующая жизненно важная область — безопасность. Малейшие попытки дезинтегрировать целостную систему военно-стратегической безопасности, предупреждал «с полной ответственностью и со знанием дела» президент, чреваты бедой международного масштаба. «Коллективное командование — это абсурд». Необходимо безотлагательно определить струк-

туры единого контроля и главнокомандования стратегическими силами, включая все основные военно-технические и оборонные компоненты. Настолько же актуальной является совместное политическое представительство в мировом сообществе. Самое разумное, с его точки зрения, — иметь общую структуру по делам внешних сношений, приспособив ее к нуждам и принципам Содружества, включая и вопрос о членстве в Совете Безопасности ООН.

И наконец, процедура правопреемства:

— Начинать новую эпоху в истории страны надо с достоинством, с соблюдением норм легитимности (речь, разумеется, шла о Верховном Совете).

Одну из главных причин исторических несчастий народов теперь уже бывшего Союза его президент видел в «грубых разрывах, разрушительных переворотах, захватных методах в ходе общественного развития».

Заканчивал Горбачев свое политическое завещание, адресованное не столько республиканским лидерам, сколько своим будущим политическим и духовным наследникам, без пафоса:

— Таковы мои самые общие соображения. Они продиктованы ответственностью за конечный успех великого дела, начатого в 1985 году.

УХОД

Так назвала свою программу американская компания Эй-Би-Си. Ее представители появились в Москве еще 17 декабря с намерением уговорить Горбачева снять для истории последние дни Советского Союза.

Замысел поначалу казался несбыточным — Горбачеву еще предстояло убедить самого себя, что дороги назад, в союзное прошлое, даже если назвать его будущим, уже нет. Кроме того, сам по себе жанр передачи, «взгляд из Кремля», нескромность камеры, разглядывающей сокровенные уголки традиционно «запретного» даже для советских людей Кремлевского дворца, — все это было настолько непривычно, что вызывало у президента инстинктивное сопротивление. И все-таки, вооружившись терпением, тактом и поддержкой теле-

видения, возглавляемого Егором Яковлевым, и президентской пресс-службы, американцы добились своего. Даже охрана махнула на них рукой.

«Энкормэн» (ведущий) компании Тэд Коппол, в сущности, повторил журналистский подвиг своего соотечественника Джона Рида, сняв в Кремле последние дни той состарившейся революции, которая на заре века «потрясла мир». Коппол появился в моем кабинете в Кремле в пятницу 20 декабря, проделав 8 тыс. км по воздуху для того, чтобы услышать, что никто не может обещать ему эксклюзивного интервью с президентом, что у того масса других дел, что никому в стране нельзя будет объяснить, почему репортаж о последних днях Советского государства делают американцы и, наконец, главное:

— Вы должны понять, что завтра в Алма-Ате начнется встреча республиканских лидеров, и мы пока не знаем, чем она кончится.

Коппол был в замешательстве. Он прилетел в Москву на два дня, чтобы в непринужденной обстановке, желательно на даче у камина, побеседовать с выдающимся Президентом Великого Государства накануне его ухода из мира политики в историю, и рассчитывал быть дома к рождественскому ужину. И поначалу был даже уязвлен тем, что к его приезду ничего не было готово.

— Вы можете мне гарантировать, что если я проведу Рождество здесь, а не со своей семьей, то по крайней мере получу то, на что я рассчитываю? — спросил он у меня.

— Нет, — честно ответил я ему. — Единственное, что я могу вам обещать, — это то, что вы сможете приходить в Кремль каждый день, пока будете в Москве, и наблюдать, что здесь происходит. А может быть, и снять кое-что из того, что увидите.

Тэд решил остаться.

При прощании с Горбачевым после последней из целой серии бесед, состоявшихся у них в эти дни, он поблагодарил президента за время, которое тот ему уделил. Горбачев не благодарил Коппола, но, мне кажется, он был признателен ему за то, что тот оказался среди людей, не оставивших его наедине с его отстав-

кой. Своим интересом и даже сопереживанием он подтверждал президенту: мир отдает себе отчет в том, что уйдет из политики и из облика его страны вместе с уходом из Кремля Горбачева.

Образовав вместе с советским телевидением единую команду, американцы снимали все, что им позволяли: посетителей, которые приходили к Горбачеву, его последние телефонные переговоры с зарубежными лидерами, последнюю прогулку по Кремлю и его уход из опустевшего дворца. Они знали, что снимают эпилог советской истории.

20 декабря. Канун Алма-Атинской встречи. В Москве затишье — Ельцин и его приближенные вылетели в Казахстан. Накануне отъезда среди еще не уволенных в отставку союзных министров развернулось состязание за право быть приглашенным в его самолет.

Горбачев остается в Кремле в непривычной для себя роли — впервые за шесть лет перестройки он не только не лидер и даже не участник главных политических событий, а их объект и вынужден ждать от одиннадцати присяжных, удалившихся в Казахстан, приговора своей стране, своему политическому проекту и себе самому. Он сделал все, что считал необходимым и что смог, и сегодня ему остается лишь имитировать привычную занятость союзного президента, хотя бы для того, чтобы отвлечься.

Он пытается реагировать на тревожное письмо заместителя мэра Москвы Ю. Лужкова — в 350 магазинах города нет мяса. Посылает телеграммы с просьбой ускорить поставки в Москву руководителям теперь уже независимых от центра республик и областей. Намеревается попросить об экстренной помощи Коля и Гавела, с надеждой хватается за обещания гуманитарной помощи, о которой сообщает пришедший на прием американец.

И все-таки отвлечься от Алма-Аты невозможно.

— Будем надеяться, что завтра «они» договорятся о координации, — говорит Горбачев американцу.

Об Алма-Ате разговор и с позвонившим ему Колем. По-видимому, сложившиеся за последние годы дружеские отношения, да и сам стиль общения, предлагаемый Колем, вызывали его к предельной открытости.

— Нахожусь сейчас в самом трудном положении, — признается он Гельмуту. И поправляется: — Собственно, не я, а страна. Вчера направил письмо в Алма-Ату.

Далее излагает свою двойственную позицию в отношении Содружества:

— Не верю в успех, но хочу, чтобы у них получилось.

И, отвечая на вопрос канцлера, понимая, что делает официальное заявление, впервые сообщает:

— Если в Алма-Ате процесс формирования Содружества конституируется и его участники выйдут на ратификацию этого соглашения, я уйду в отставку и не буду надолго откладывать это решение.

Я посмотрел на часы — о своей предстоящей в ближайшие дни отставке президент впервые официально заявил 20 декабря в 10 час. 45 мин. по московскому времени.

— Я уже говорил, что не буду дальше участвовать в процессе дезинтеграции государства. Уйду в отставку и займусь общественной деятельностью. Ельцин беспокоится, не возглавлю ли я оппозиционные силы. Я сказал ему: «До тех пор, пока ты будешь двигать вперед демократические реформы, я буду тебя поддерживать».

Ему явно хочется объяснить Колю нюансы своей позиции:

— Ты можешь спросить, почему я не ухожу уже сейчас. Понимаешь, это ведь мое дело, которое я начал. Поэтому я не хочу, чтобы процесс вышел из конституционных рамок, а само Содружество стало выкидышем. Слишком много для меня значит то, что все мы, в том числе ты и я, сделали за эти годы и в мире, и в Европе.

Коль желает ему выдержки, обещает позвонить еще раз. Горбачев в ответ благодарит за присланный накануне рождественский подарок и обещает:

— Поднимая бокал в новогоднюю ночь, а мы обязательно это сделаем, мы вспомним о твоем привете.

Наступила суббота 21 декабря. Из-за разницы во времени с Алма-Атой к моменту, когда я приехал на работу, встреча лидеров 11 республик приближалась к своей кульминации. В полдень она наступила. Информационное агентство Интерфакс первым распространило историческое сообщение:

«СССР прекратил существование.

...21 декабря в полдень по московскому времени за закрытыми дверями руководители 11 суверенных государств на встрече в Алма-Ате достигли договоренности о прекращении существования СССР.

Сообщено также, что к соглашению об образовании Содружества Независимых Государств, которое подписали Россия, Украина и Беларусь, присоединились на правах учредителей еще 8 республик бывшего Союза, в том числе и Молдова. Таким образом, в Содружество вошли все республики, кроме Грузии и государств Балтии.

Корреспондентам Интерфакса стало известно, что вопрос о присоединении Грузии остался пока открытым, так как находящиеся в Алма-Ате представители не обладают достаточно высокими полномочиями.

Ожидается, что в течение ближайших двух часов будут подписаны протокол о согласии глав независимых государств, а также алма-атинская Декларация глав одиннадцати государств.

Предполагается введение временного командования Вооруженными Силами СНГ, которое будет действовать до 30 декабря. Затем оно будет поставлено на долгосрочную постоянную основу».

Следом пришла экспресс-информация № 5:

«М. С. Горбачева уведомляют о прекращении института президентства СССР.

...Лидеры 11 суверенных республик, образовавших Содружество Независимых Государств, приняли обращение к Президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором уведомляют его о прекращении существования Советского Союза и института президентства СССР. В обращении главы независимых государств благодарят М. Горбачева за его большой положительный вклад».

В это время в Москве был уже час дня. Узнав, что Горбачеву звонит из Парижа Франсуа Миттеран, я зашел в его кабинет. Там были трое его ближайших друзей — Яковлев, Шеварднадзе, Черняев. Было видно, что они только что закончили обсуждение очередного варианта будущего Заявления президента об отставке.

Горбачев снял телефонную трубку. Яковлев и Ше-

варднадзе, взяв текст с пометками президента, вышли из кабинета, а мы с Черняевым заняли привычные места напротив президента у его стола.

Связь почему-то работала плохо, и голос Миттерана поначалу пропадал. Потом все наладилось.

Президент Франции стал первым, кто позвонил Горбачеву после принятого в Алма-Ате решения о прекращении существования СССР. (По-видимому, он не хотел повторения ситуации с несостоявшимся телефонным звонком в Форос.) Горбачеву в эти минуты, разумеется, был крайне необходим такой понимающий и участливый собеседник. Он сказал Миттерану, что ждет официальных сообщений из Алма-Аты, надеется, что разногласия между участниками будут преодолены, а заключительный документ подписан всеми. Повторил, что опасается, как бы новые оговорки украинского парламента в отношении текста договора не привели к его ослаблению, и следующему, после Коля, сообщил Миттерану, что в ближайшие дни примет решение насчет себя.

— Благодарю вас за дружбу, господин президент. Хочу вас заверить, что и у себя в стране, и во внешних делах буду продолжать действовать в интересах того громадного, благородного дела, которое мы вместе начали. И буду это делать в любом качестве.

И как бы для того, чтобы успокоить непривычно взволнованного Миттерана, добавил:

— Я спокоен, действую так, чтобы происходящее было как можно менее болезненным.

Их разговор продолжался двадцать минут.

А через час президент, еще не сложивший свои полномочия, но уже лишенный их, вошел в свой «телевизионный» кабинет, где ему предстояла запись интервью с американской телекомпанией Си-Би-Эс. Один из первых вопросов — об отношении к Ельцину. Ответ:

— Мы знаем и оценили его в роли оппозиционера, в том числе защитника демократии. В роли же государственного деятеля ему еще предстоит пройти проверку властью и ответственностью.

На вопрос о его пожеланиях Ельцину Горбачев, секунду подумав, отвечает:

— Думаю, побольше демократизма не помешает.

— Каковы шансы на выживание Содружества?

— Важно, чтобы оно не оказалось мыльным пузырем.

Неизбежный и не очень приятный для Горбачева вопрос:

— Вы не считаете, что Ельцин и другие лидеры республик вас унижают?

В ответ — демонстративная отрешенность, явно используемая для защиты раненого самолюбия:

— Я оставляю все это на совести этих людей. Мне приходится быть выше эмоций.

Сразу после съемок Си-Би-Эс — интервью «Московской правде». Было впечатление, что Горбачев либо торопится до минуты использовать оставшееся у него время, в течение которого он еще имеет формальное право говорить как руководитель стремительно погружающейся в историческую пучину страны, либо просто боится остаться один.

Читатели «Московской правды», бывшего издания Московского горкома партии, — это люди с другого берега, колеблющиеся либо просто не верящие в реформу. Горбачев уточняет для них свою позицию:

— Рынок — это не самоцель. Он должен работать на благо человека. Для этого нужна целая система мер, и главная среди них — стимулирование производителя. Не будет производитель заинтересован в своем деле, не появится и товар. Представьте, что произойдет при отпускаемых ценах в условиях падающего производства! Цены подпрыгнут до самого неба...

Зная о грядущем росте цен, правительство должно четко продумать систему защитных механизмов. Если речь идет, скажем, о работающем в сфере производства, дайте ему возможность зарабатывать столько, сколько необходимо для жизни в новых условиях. Для тех, кто зависит от бюджета государства, — учителей, врачей, студентов, пенсионеров, других категорий граждан — необходимы такие заблаговременные меры, чтобы они могли спокойно воспринять меняющийся уровень цен. Иначе люди могут оказаться просто беззащитны перед ростом дороговизны.

На очередной вопрос об отставке последовал уже более определенный ответ:

— После Алма-Аты отставка станет реальностью.

В конце рабочего дня еще одна беседа для телевидения, на этот раз с Тэдом Копполом и Егором Яковлевым. Это уже не эксклюзивное интервью с президентом, ради которого стремился в Москву «энкормэн» Эй-Би-Си, а вечерний разговор с загадочным для многих, явно усталым и все же отнюдь не сломленным человеком.

Коппол спросил его: смог бы он удержать власть, если бы захотел?

Горбачев кивнул, как бы одобряя вопрос, как хорошую тему для размышлений:

— Видите ли, есть такая порода людей, которая меняет свои взгляды, позиции для того, чтобы остаться на плаву. И уж тем более, чтобы удержать власть. Для меня это неприемлемо.

Если бы мне было безразлично, что происходит, и главным было находиться «в структурах», то, наверное, обеспечить это не представляло бы большой сложности. Но для меня речь шла о гораздо большем. Дело ведь не во власти, а в существе того, что происходит здесь, в стране.

Коппол явно не был удовлетворен слишком округлым политическим ответом и предпринял еще одну попытку пробиться к своему собеседнику:

— Вы помните судьбу Уинстона Черчилля, которому нация была стольким обязана, особенно во время войны с фашизмом, однако на первых же парламентских выборах в 1945 году ему пришлось уйти. Тогда ему мы не могли посмотреть в глаза. Сейчас я смотрю вам в глаза. Что происходит у вас в душе?

Горбачев усмехнулся, он наконец понял, чего ждет от него американец.

— Хорошо, я расскажу притчу о царе, который хотел узнать главную мудрость жизни и поручил написать ее своим мудрецам. Они долго работали, сначала написали сорок томов, потом, когда царь уже умирал, свели все к одной фразе: «Человек рождается, страдает и умирает».

Коппол с чувством сказал:

— Это именно то, что я рассчитывал от вас услышать, господин президент.

Перед отъездом домой Коппол зашел ко мне в пресс-службу поблагодарить за сотрудничество.

— Уход президента стал для меня примером поразительного достоинства, — сказал он, прощаясь...

Встреча Горбачева с Ельциным «для передачи дел» была назначена на 12 часов дня в понедельник. Первоначально, в соответствии с коллективным политическим решением республиканских лидеров, собравшихся в Алма-Ате, практические вопросы, вытекающие из их решения о прекращении существования института президентства СССР: уровень пенсии президента, условия его содержания, охраны и т. д. — планировалось обсудить и одобрить там же. Затем решено было отдать эти вопросы российскому президенту, по существу в качестве его «трофея».

Горбачев с Г. Ревенко и Г. Шахназаровым подготовили к обсуждению с Ельциным несколько проектов совместных указов: о прекращении деятельности и о трудоустройстве работников аппарата Президента СССР и Межгосударственного экономического комитета, о создании «Горбачев-фонда» и, разумеется, об условиях отставки Президента СССР. Отдельно должны были обсуждаться вопрос о государственных и частично смешанных с ними партийных архивах, находившихся в Кремле, а также о процедуре передачи секретных шифров ядерной кнопки.

С одиннадцати часов (обычное время приезда Горбачева на работу) советско-американская телегруппа толкалась в отведенном для прессы помещении. Я зашел к Горбачеву, когда он перелистывал перепечатанный текст своего будущего заявления.

— Думаю выступить завтра вечером. Тянуть нечего, — сказал он.

— Михаил Сергеевич, — отреагировал я, — может быть, лучше в среду? Ведь завтра 24 декабря, канун Рождества. Во многих странах это главный праздник, а тут такая драматическая новость. Дайте им спокойно отпраздновать.

Горбачев согласился:

— Хорошо, но не позже среды.

Я попросил у него разрешения на то, чтобы телеви-

зионная группа сняла хотя бы приход Ельцина на последнюю «встречу двух президентов»:

— Ведь это история.

Горбачев махнул рукой:

— Давай.

Выйдя в приемную, я утвердительно кивнул нетерпеливо ждавшему около двери оператору. Тот бросился за остальной группой.

Однако я не был до конца спокоен. Мне представлялось, что в условиях и без того натянутых отношений между двумя президентами Ельцин может заподозрить пропагандистский подвох со стороны Горбачева, если неожиданно для себя обнаружит у него в приемной телевизионные камеры. Поэтому, заручившись «добром» одного президента, я решил поинтересоваться мнением другого, и как в воду глядел.

Когда я встретил Ельцина, выходившего из лифта, и поинтересовался у него, не будет ли он возражать против съемки телевидением его прихода к Горбачеву, он резко отрубил:

— Ни в коем случае, никаких съемок, иначе встречи не будет.

Я, разумеется, заверил, что это его пожелание будет выполнено, и, к понятному разочарованию как американских, так и советских тележурналистов, выпроводил их из приемной. Только убедившись, что «телезасада» снята, Ельцин вошел в кабинет к Горбачеву.

Их встреча продолжалась почти десять часов. Во время обеда, который им подали в соседнюю с кабинетом Ореховую гостиную, к двум президентам присоединился Александр Яковлев. Остальное окружение президента, как и томившаяся этажом ниже пресса, с напряжением ожидало результатов этого, пожалуй, первого в истории взаимоотношений двух столь своеобычных российских лидеров откровенного личного разговора.

Единственным источником косвенной информации о ее ходе мог служить лишь кремлевский официант Женя, сновавший между Ореховой гостиной и кухней и сообщавший в ответ на жадные вопросы перехватывавших его представителей различных служб, что «вроде настроение неплохое».

На шесть часов вечера у Горбачева был заказан телефонный разговор с Мейджором. Стало ясно, что к этому времени встреча двух президентов еще не завершится. Вместе с Анатолием Черняевым и подъехавшим к этому времени в Кремль Егором Яковлевым мы ждали начала разговора в приемной президента, уже не будучи уверенными в том, что он состоится.

Однако ровно в 18.00 разрумянившийся Горбачев вышел из Ореховой гостиной, и мы вместе с ним вошли в его кабинет. Ельцин и Яковлев остались вдвоем.

Мейджора дали быстро. Видно было, что Горбачев не сразу переключился на обычную интонацию общения со своими «закадычными» зарубежными партнерами. Однако через пару минут он мобилизовался.

— Сегодня, дорогой Джон, я думаю о главном — как избежать того, чтобы все, что здесь происходит, не обернулось потерями. Ты знаешь, я продолжаю считать, что лучшим вариантом было бы союзное государство, но есть реальный процесс, есть позиции республик. Пока я не вижу опасностей, сравнимых с ситуацией в Югославии. Для меня это самое главное. Для вас, я думаю, тоже.

Вот уже шесть часов, как мы беседуем с Ельциным. Могу тебе сказать, что у нас есть общее понимание ответственности перед страной и перед миром. Я хочу ему помочь — у него непростая роль. Я только что сказал: пока будет продолжаться демократическая реформа, я намерен поддерживать и даже защищать его. Что касается ядерного оружия, никаких опасений у вас не должно быть — все надежно защищено и существует самый твердый контроль. Моя просьба к вам — помочь Содружеству и особенно России. Именно ей. Надеюсь, вы меня поняли.

Может быть, вынужденный ограничивать себя двойными рамками — дипломатии и, в сущности, открытого телефонного разговора — и не надеясь в обозримом будущем на более доверительную форму общения, Горбачев хотел выделить Россию и развертывающиеся в ней уже помимо ее собственных лидеров демократические процессы как свою основную ставку и надежду на будущее. Будущее, в котором могла бы найтись роль и для него.

— В ближайшие два дня, — он взглянул в мою сторону, как бы подтверждая уговор относительно среды, — я оглашу свое решение, но я не хочу прощаться — ведь повороты еще возможны, даже самые крутые.

На другом конце линии Мейджор взволнованно поблагодарил за «ясность и всесторонний анализ». Он подтвердил, что на Западе есть воля и желание помочь и Горбачеву и лидерам Содружества. Одна из причин — «благодарность за то, что вы сделали за последние несколько лет. Какое бы решение вы ни приняли в ближайшие два дня, вы, несомненно, займете особое место в истории страны и мира...»

Горбачев был явно растроган:

— Спасибо за все. Мы оба полюбили вас с Нормой (супруга Мейджора). Я позволяю себе слабость сказать это, так как через два дня буду уже в другой ситуации. Это дает мне право на откровенность.

Он положил трубку, сказал, что с Ельциным вроде обо всем договорились. — «Пойду заканчивать». — И отправился в Ореховую гостиную, а мы с Егором Яковлевым попросили Женю, с новой энергией засновавшего по коридору, дать что-нибудь перекусить и нам, поскольку ни один из нас не обедал.

Женя принес на кухню бутерброды и кофе, и мы уселись за кухонным столом около включенного телевизора, по которому в очередной раз передавали танец маленьких лебедей из «Лебединого озера». Через стенку от нас в «телевизионном кабинете» Горбачева на всякий случай дежурили неутомимые американцы. Они выставили из кремлевского окна в небо свою тарелку для спутниковой связи, по которой одна из американок оживленно болтала с Нью-Йорком, — как я, прислушавшись, понял, совсем не на деловые темы.

В рабочем кабинете президента было пусто. Красный флаг в углу, футляр от очков и загадочный портфель, как всегда стоявший на самом краю стола, подтверждали, что Горбачев остается его хозяином. В примыкающей к кабинету Ореховой гостиной продолжался, надо думать, совсем уже неофициальный разговор трех так давно знакомых и так плохо до сих пор знавших друг друга мужчин. Дальше по коридору на этом же этаже находился закрытый и запечатанный в

связи с поздним часом исторический кабинет-квартира В. И. Ленина.

Такова была по-своему сюрреалистическая картина, которая открылась бы тому, кто смог бы, сделав срез на здании, заглянуть в этот поздний вечер сверху в помещения третьего этажа того увенчанного куполом кремлевского здания, над которым еще развевался красный стяг Советского Союза...

* * *

24 декабря Горбачев попрощался со своим аппаратом. В зале Госсовета собралось около пятидесяти сотрудников аппарата Президента СССР — помощники, советники, руководители различных служб.

Горбачев начал с рассказа об уже известных результатах встречи в Алма-Ате, сказал, что эпоха Союза завершается.

— Завтра я намерен выступить с заявлением об отставке.

Результаты десятичасовой встречи с Ельциным, состоявшейся накануне, дали ему возможность хотя бы несколько успокоить своих сотрудников, опасавшихся (не без оснований), что ретивые подручные российского президента бросятся немедленно занимать отвоеванный Кремль, освобождаясь от всех напоминаний об истории союзного государства и в первую очередь — от них самих.

Горбачев сказал, что все будет происходить «цивилизованно», на передачу дел и ликвидацию союзного аппарата отведен необходимый срок, договорились также и о том, что двусторонняя комиссия под руководством представителей двух президентов займется трудоустройством людей. «То есть нас с вами», — невесело пошутил он. О себе он коротко сказал, что намерен заняться общественной деятельностью в создаваемом «Горбачев-фонде».

Более подробно о встрече с Ельциным он рассказал после того, как распрощался с аппаратом и собрал у себя в кабинете небольшую группу ближайших соратников для того, чтобы обсудить основные организационные аспекты, связанные с началом деятельности

фонда. По словам Горбачева, Ельцин вел себя корректно, внимательно слушал то, «насчет чего мы с Александром Николаевичем хотели его предостеречь», просил поддержать его в трудный период, в который он вступает, или «не критиковать хотя бы в течение ближайшего полугода».

В то же время Ельцин отказался удовлетворить просьбы Горбачева в отношении его рабочего офиса и аппарата, «срезал» пенсию и охрану.

— Ну да это неважно. Главное, мы условились насчет фонда. Ельцин, правда, боится, что я превращу его в гнездо оппозиции, но я заверил его, что у меня нет таких намерений.

Остаток дня прошел в интенсивных консультациях по поводу юридических аспектов регистрации фонда, мобилизации его учредителей — в этом качестве согласились выступить Э. Шеварднадзе и С. Шаталин (каждый из них в свое время шумно порывал с Горбачевым, с тем чтобы вернуться к нему в трудную пору).

Побывал в этот день у президента и итальянский посол Фердинандо Салео с посланием от президента Коссиги и эмоциональным дружеским письмом от Джулио Андреотти. Передавая через посла благодарность за поддержку и приглашение приехать в Италию, Горбачев еще раз подтвердил, что его намерение создать фонд отражает не желание возглавить оппозицию, а «стремление помочь делу».

— Главная моя забота — чтобы состоялись реформы. И если мы не передеремся, решить эту задачу можно. Штурм тоталитаризма, как видите, оказался очень непростым, потому что сидит он во всех нас. Это не просто какой-то четко очерченный объект, его бациллы рассеяны по всему организму общества, глубоко укоренились в общественном сознании. Вот почему так трудно даются перемены и преобразования.

Последним из собеседников этого дня был канадский премьер-министр Брайан Малруни, позвонивший Горбачеву по телефону.

— Я не ухожу из политики и общественной жизни,— сказал ему, прощаясь, Горбачев, — у меня большие планы...

Перед завтрашним днем ему еще оставалось разо-

брать личные бумаги и еще раз перечитать текст своего прощального Заявления. К работе над его проектом приглашались разные люди из числа его близкого окружения. Больше всего над ним трудился его верный и самый надежный помощник Анатолий Черняев, которого Горбачев как-то представил Фелипе Гонсалесу как свое *alter ego*. Но последнее (во всех отношениях) слово было за президентом.

...25 декабря президент приехал на работу позже обыкновенного и закрылся в своем кабинете. В приемной было необычно пусто — ни одного посетителя. Дежурные по приемной, пришедшие на этот раз все одновременно (обычно они дежурили сутками по очереди), сортировали увозимые Горбачевым книги, избавлялись от теперь уже ненужных бумаг.

Мне и Черняеву необходимо было согласовать с президентом ряд остававшихся вопросов. Черняеву — получить подписи Горбачева на прощальных письмах, которые он решил отправить своим зарубежным коллегам. Мне — уточнить детали телевизионной съемки его Заявления и последующего интервью для Си-Эн-Эн.

Когда мы около 3 часов заглянули в кабинет президента, за столом его не было. Выждав некоторое время, Черняев, который торопился отправить письма адресатам, постучал в комнату отдыха. Президент отозвался не сразу, потом из-за двери переспросил у Черняева, в чем дело.

— Подождите, я сейчас выйду.

Через пять минут он появился, выглядел свежим, хотя с покрасневшими то ли со сна, то ли от напряжения предыдущих дней глазами. Начал подписывать письма — Андреотти, Бейкеру, внимательно, видимо, уже в силу привыч и, прочитывая каждое из них. Я показал ему вышедший в этот день номер «Московского комсомольца» с пушкинской строкой в заголовке: «Нет, весь я не умру!» Горбачев, усмехнувшись, с чувством продолжил: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...»

Забрав подписанные письма, Черняев ушел. Мы остались вдвоем, и Горбачев, достав последний вариант Заявления и вооружившись ручкой, начал читать его вслух, переспрашивая там, где сомневался. Задержав-

шись на фразе: «Выступая в последний раз в качестве Президента СССР», Горбачев сказал:

— Черняев предлагает снять СССР.

Я решительно возразил:

— Нет, именно СССР. Во-первых, пока вы не сделали заявления, вы им остаетесь. Во-вторых, даже перестав быть Президентом СССР, для всего мира вы остаетесь Президентом Горбачевым, а там будет видно.

Он сделал еще несколько исправлений, самым существенным из которых стала фраза, добавленная в параграф о демократических завоеваниях последних лет. Горбачев дописал: «От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом».

Во время этой работы над текстом зазвонил телефон с дачи. Взволнованная Раиса Максимовна сообщила, что к ней явились люди из новой охраны и велели «освободить от личных вещей представительское помещение» (так на языке спецслужб называлась государственная резиденция президента). Отложив текст, Горбачев позвонил начальнику охраны Редкобородому, отвечавшему до недавних дней за его собственную безопасность.

— Прекратите хамить, — возбужденно сказал он в трубку, — ведь это же квартира, там люди живут. Что, мне в прессу сообщить об этом?

Редкобородый, оправдываясь, сослался на указания сверху и на излишнюю ретивость снизу, но пообещал отозвать своих людей с дачи.

Не сразу успокоившись, президент энергично выразился по поводу наглецов.

— Ты знаешь, Андрей, то, что они так себя ведут, убеждает меня, что я прав, — неожиданно сказал он, и эта мысль сразу позволила ему восстановить внутреннее равновесие. Оно так нужно было ему в этот вечер.

В пять часов ему предстоял телефонный разговор с Бушем. Перед этим, около четырех, выступивший по Си-Эн-Эн Ельцин сообщил, что в 7 час. 20 мин. придет к Горбачеву за ядерной кнопкой. (О том, что Горбачев выступит в 7 часов вечера с заявлением об отставке, было уже объявлено.) Пресс-службе предстояла непростая задача: «развести» выступление по Центральному телевидению с последующим интервью Горбачева для

Си-Эн-Эн и записью последних часов его пребывания на посту президента «для истории».

Разговор с Бушем, безусловно, вписывался в категорию «исторических», и бригада Коппола и Егора Яковлева была приглашена в кабинет. Буша нашли не сразу — на Рождество он уехал в Кемп-Дэвид. Наконец линию соединили. Горбачев пожелал Джорджу и Барбаре хорошего Рождества, сказал, что примерно через два часа сделает заявление об уходе. Затем перешел к проблемам, которые его беспокоили. Особенно настойчиво он просил Буша, наряду с признанием отдельных государств СНГ, поддержать это межгосударственное образование в целом: «Не дезинтеграцию, не разрушительные процессы надо стимулировать, а сотрудничество».

Вторая просьба — это поддержка России, на которой лежит главное бремя реформ.

Предваряя вопрос Буша, сказал, что собирается, перед тем как уйти в отставку, подписать Указ о передаче права на использование ядерного оружия Президенту РСФСР: «Перерыва не будет, так что вы можете спокойно праздновать Рождество».

Он сообщил Бушу, что, уйдя в отставку, не собирается «прятаться в тайге» и намерен активно действовать как в политической, так и в общественной жизни, помогая перестройке внутри страны и утверждению нового политического мышления в мировой политике. Прощаясь, сказал Бушу:

— Наши роли могут меняться, но то, что возникло между нами, останется навсегда. Гуд бай.

Буш в ответ говорил дольше, чем Горбачев, и американцы из Эй-Би-Си, окружившие стол Горбачева, пытались с помощью своих удлиненных микрофонов уловить доносившуюся из трубки английскую речь.

— Сделанное тобой войдет в историю, — заключил Буш свой ответный монолог. — Надеюсь, наши дороги вскоре снова сойдутся, и, когда все уляжется, мы будем рады тебя принять. Может быть, здесь, в Кемп-Дэвиде. Я салютую тебе и благодарю за все, что ты сделал ради мира, благодарю за дружбу.

Последним до ухода Горбачева в отставку к нему дозвонился Г.–Д. Геншер, и Горбачев был явно рад тому,

что их товарищеский разговор устранил тот ледок натянутости в отношениях, который, явно вопреки желаниям того и другого, начал было образовываться в последнее время.

Закончив разговор с Геншером, президент выпроводил из кабинета телевизионную бригаду и, оставив нас с Егором Яковлевым, предложил выпить кофе. В этот последний час до отставки ему явно не хотелось оставаться наедине со своим многократно перечитанным Заявлением, с чертовой кнопкой, с неизвестным будущим, с самим собой. Нам тоже не хотелось оставлять его одного. Мы пересели за овальный стол, за которым Горбачев обычно принимал гостей, и начался разговор о разном. Один из естественных вопросов — не опасается ли он, что ему начнут мстить, попробуют покопаться в его ставропольском прошлом. Горбачев сказал:

— Вы знаете, я спокоен. Я защищен совестью. Да и подумайте сами, какие такие могли быть в Ставрополье особые привилегии. Особых квартир не было, спецмагазина не было. Отоваривались в обкомовской столовой. До недавнего времени Раиса Максимовна хранила оплаченные счета за заказы.

Я подал голос:

— А Краснодар? Ведь это ваши соседи, а там такое творилось у Медунова...

Горбачев воодушевился:

— Вот Медунов — это да. Мы ведь еще с Андроповым пробовали за него взяться. (Речь, видимо, шла о периоде, когда Горбачев, переехавший в Москву, вошел в состав Политбюро.) Юрий Владимирович мне говорил: «Надо им заняться, идут нехорошие сигналы». Вымогательства, взятки. А как гулял на казенных дачах — ничего не боялся, а уж меня-то и подавно. Еще бы — ведь прямой выход к Брежневу.

Так вот, когда я начал «копать», против меня поднялся Щелоков (бывший при Брежневе всемогущим министром внутренних дел). Когда умирал один из его заместителей, он специально попросил меня приехать и рассказал, что Щелоков велел меня «уничтожить».

За разговором час прошел незаметно. Без десяти семь Горбачев спохватился:

— А где будет телесъемка? Почему не в кабинете?

Он, видимо, почувствовал неуместность того, что его заключительное Заявление прозвучит не на его рабочем месте, у его «станка», а в искусственной декорации кремлевской телестудии. Однако менять что-либо было уже поздно. Через десять минут его ждал прямой эфир его страны и всего мира.

— Си-Эн-Эн будет показывать на 153 страны, — сказал Яковлев.

— Да плюс одиннадцать стран СНГ, — добавил не утративший даже в эти драматические минуты хорошую реакцию Горбачев. — Ладно, давайте не будем рисковать с переносом камер, — решил он и, как бы отряхнув с себя расслабленное настроение часа, проведенного в воспоминаниях, резко поднялся и, открыв дверь в комнату отдыха, вышел из кабинета. Президентом он больше в него не возвращался.

...В студии, которую на внутреннем кремлевском языке называли «четвертой комнатой», буйствовала толпа осветителей, фотографов и по меньшей мере три телекомпании. Горбачев вошел в комнату за пять минут до семи часов и не без труда, здороваясь по пути со знакомыми ему комментаторами, прошел к ярко освещенному столу с микрофоном. В руке у него была папка с текстом его речи и Указ о сложении с себя функций Верховного Главнокомандующего.

Президент положил текст указа перед собой и, обратившись к нам с Яковлевым, игравшим роли дирижеров среди окружавшего его хаоса, неожиданно спросил:

— А когда мне его подписывать — до или после Заявления?

Наши мнения разошлись — у каждого были свои аргументы. Пока мы спорили, Горбачев попросил у меня ручку и попробовал ее на чистом листе бумаги.

— Лучше бы помягче, — сказал он.

Из-за моего плеча протянул свою ручку президент Си-Эн-Эн, присутствовавший на телесъемке. Его ручка удовлетворила президента, и он, не вслушиваясь больше в наши аргументы, положил перед собой текст указа, размашисто подписал его и — отложил в сторону. Так незаметно для посторонних глаз состоялось его ядерное отречение.

Подарив оставшиеся до семи три минуты фотографам, ровно в семь Горбачев придвинул в себе текст Заявления и сказал:

— Дорогие соотечественники! Сограждане!

Его голос поначалу звучал глухо и неестественно. Было ощущение, что он вот-вот может дрогнуть, как и его подбородок. Но по мере чтения было видно, что безусловно взволнованный президент успокаивается, чувствуя, что произносимые им слова звучат убедительно и достойно.

— ...Я покидаю свой пост с тревогой, — заключал свое Заявление президент. — Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни.

Он поблагодарил всех, кто в эти годы вместе с ним стоял за правое и доброе дело, и признал ошибки, которых можно было избежать, «сделав многое лучше».

Думаю, что это была одна из лучших его речей, и уверен, что, когда Горбачев, произнеся: «Желаю всем всего самого доброго», отодвинул от себя текст, у многих возникло ощущение, что на глазах у страны и у всего мира совершается непростительная и непоправимая ошибка.

После пятиминутной паузы места перед президентом заняли корреспонденты Си-Эн-Эн, и на весь мир (кроме бывшего Советского Союза) были переданы ответы Горбачева о причинах его отставки, о реакции его самого и его семьи на происшедшие перемены, о взаимоотношениях с Ельциным. (Интервью Си-Эн-Эн было передано в записи по Центральному телевидению двумя часами позже.)

В ходе этого интервью Горбачев показал телезрителям подписанный им Указ о передаче права на применение ядерного оружия Ельцину. Теперь ему оставалось самому выполнить последний Указ Президента СССР.

Пожав на прощанье руки десятку журналистов, Горбачев вышел из «четвертой комнаты» и направился к себе в кабинет, где его уже ждал маршал Шапошников и куда должен был, как обещал, прибыть за ядерными

шифрами Президент России. Однако Горбачева ждала неожиданная новость. Как оказалось, недовольный содержанием речи Ельцин посчитал ее политической атакой на российское руководство и заявил, что отказывается прибыть в кабинет к теперь уже бывшему союзному президенту. Его предложение: встретиться на нейтральной территории — в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Меня не оставляет мысль, что эта неожиданная идея была подсказана Ельцину кем-то из его близкого окружения в момент произнесения Горбачевым его прощального обращения, когда стало ясно, что он уходит со своего поста с достоинством и с поднятой головой, не как проигравший или побежденный политик, а как человек, вынужденный уступить силе, которой не может или не хочет противостоять.

На этот раз резко реагирует Горбачев: он отказывается от предложения Ельцина и заявляет, что передаст ему все необходимое через Шапошникова. В его приемной сидят два неприметных человека в штатском с аппаратом, похожим на переносной телефон космической связи. Эти два полковника, постоянно сопровождающие президента во всех его передвижениях, и есть «кнопка», а точнее сказать — один из ее сложных и страхующих друг друга элементов. Они скрываются за дверью президентского кабинета и в течение двадцати минут, которые они там находятся вместе с Шапошниковым, пресс-служба в ответ на многочисленные возбужденные и даже панические вопросы журналистов вынуждена отвечать, что происходит «техническая операция по передаче ядерных кодов от бывшего Президента СССР Президенту Российской Федерации».

Когда через полчаса после произнесения Горбачевым своего Заявления об отставке я выхожу из Спасских ворот, чтобы ехать в московскую студию «Антенн-2», над куполом Кремля вместо красного флага уже развевается трехцветное полотнище. Опоздавшие зафиксировать исторический момент спуска советского флага зарубежные журналисты вынуждены обращаться к предприимчивым московским кооператорам, снявшим эту сцену на свое видео.

Выступая в тот вечер в программе новостей фран-

цузского телевидения, я имел все основания в ответ на вопрос: что все-таки произошло с Горбачевым — сам ли он ушел в отставку, отправлен в нее или низложен? — сказать, что он низвергнут теми процессами, которым сознательно дал дорогу, и что сегодня он может одновременно и чувствовать удовлетворение от того, что ему удалось осуществить в своей стране грандиозную реформу, и опасаться за свою дальнейшую судьбу.

В машине раздался телефонный звонок — мне передали, что президент — теперь уже не СССР — хочет меня видеть. Я вернулся в Кремль. В Ореховой гостиной по обе стороны от Горбачева за накрытым столом сидели Александр и Егор Яковлевы и Анатолий Черняев. На этой последней кремлевской трапезе действительно не было предавшего его апостола, да если он и был в окружении Горбачева, то уже успел сделать свое дело.

Наверное, президенту хотелось, чтобы в этот исторический вечер прощальный ужин в Кремле выглядел по-другому, не принял форму неофициальной встречи в пустом и неосвещенном кремлевском дворце с оставшимися верными ему товарищами. Но если за этим столом кого-то могло и не хватать, то по крайней мере не было никого лишнего.

Нас было всего шестеро за столом, накрытым в одной из еще освещенных комнат бывшего здания Совнаркома. Мы знали, что этой встречей теперь уже бывший президент СССР ставит точку в истории нашего общего государства и, быть может, в собственной политической биографии, и потому не торопились расходиться. И старались, как могли, смягчить и разделить одиночество человека, вынужденного отдать главное дело своей жизни в чужие руки. И не готового с этим смириться. Даже, если это руки Истории.

В своей книге «Декабрь-91» Горбачев так расскажет о своих чувствах, связанных с тем вечером: «Никаких процедур проводов Президента СССР, как это принято в цивилизованных государствах, не было. Ни один из президентов суверенных государств — бывших республик СССР, хотя с большинством из них меня связывали многолетние близкие, товарищеские отношения, —

не счел возможным не только приехать в эти дни в Москву, но и не позвонил мне.

Б. Н. Ельцин же очень торопился... Некорректно, неточно по фактической стороне и в довольно грубой форме информировал он журналистов о нашей с ним встрече 23 декабря. Затем последовали и другие шаги, оставившие не только у меня, но и у общественности неприятное ощущение.

В эти последние дни в Кремле и в тот вечер рядом были самые близкие мне сотрудники и друзья, которые разделяли со мной все огромное напряжение и драматизм последних месяцев президентства. А также журналисты — наши и иностранные. Они проявили подлинное понимание значимости происходящего. Многие «дежурили» в Кремле чуть ли не сутками. И ими двигал не только профессиональный интерес, но и искренние чувства. Я это очень сильно ощутил, тем более что с некоторыми из них бывали у меня в прошлом и «конфликты».

Разъехались около 11 часов вечера. Егор Яковлев отправился на телевидение монтировать последние кадры последнего советско-американского фильма об «уходе» Президента СССР — на следующий день его показали по телевидению. Мы с Горбачевым условились о встрече на завтра: он обещал дать интервью итальянским журналистам из «Репубблики» и «Стампы» — первое интервью бывшего Президента СССР.

На следующее утро Горбачев приехал в Кремль хмурый — за прошедшую ночь настроение у него явно испортилось. Утро началось с неприятностей, вызванных тем, что охрана и остальные службы, подчинявшиеся уже другой власти, начали в нарочитой и грубой форме демонстрировать Горбачеву изменение его статуса. «С дачи выбрасывают, машину не дают», — пожаловался он в сердцах.

Беседа с итальянцами позволила ему отключиться от тягостных ощущений. На первый же вопрос — как себя чувствуете в новом качестве — он бодро ответил:

— Настроение нормальное. Вообще, после того как решение, даже трудное, принято, как правило, бывает легче. Изменение условий жизни меня не пугает — я и

моя семья не избалованы. Может быть, это даже тот этап жизни, который мне нужен.

Впервые, насколько я помню, он постарался систематизировать допущенные за семь лет ошибки. Прежде всего надо было, используя прежнюю стабильность экономики, быстрее и раньше двинуться к рынку. Раньше следовало начать ново-огаревский процесс и развернуть усилия по объединению демократов. В феврале 1991 года необходимость этого стала очевидной.

— Я же сделал шаги в этом направлении только после мартовского противостояния с демократами в Москве.

Наконец, следовало не только демонтировать старые управленческие структуры, но и быстрее создавать новые.

Все это не может отменить главного — моей убежденности в правильности выбора, сделанного в 1985 году. Считаю, что в целом исторически я оказался прав.

Вообще за прошедшие семь лет я прожил как бы несколько жизней. Сам менялся вместе со страной. Но и менял эту страну. Это все-таки редкая судьба — получить возможность влиять на возвращение твоей страны в мир, к общечеловеческим ценностям. Вот почему я считаю, что в любом случае моя судьба состоялась.

Итальянцы подняли тему одиночества реформатора, тем более такого, как Горбачев, — ориентированного на европейские политические и моральные ценности, — в специфической реальности его страны. Верит ли он, что возможна вообще модернизация России в рамках демократического процесса?

Горбачев сказал, что убежден в универсальной ценности принципов демократии и прав человека, одинаково важных повсюду, в том числе, разумеется, и в России. Необходимо лишь не навязывать конкретной действительности чужие модели.

— У нас — своя реальность, связанная с традицией, историей. Единая естественно сложившаяся страна.

Да, я связан духовно с Европой, как и очень многие из моих соотечественников, но не в меньшей степени и с Востоком. Главное же, я — почвенник, стою на земле. Не верю тем, кто рассчитывает, что в России наступит

такая жизнь, как в Швеции или Италии. Как и тем, кто утверждает, что у России особая миссия.

Эти различные крылья духовной и политической культуры всегда боролись в России. Ей же необходимо осознать себя местом двух культур — Европы и Азии — и одновременно частью общей цивилизации. Да и себя я ощущаю частью общего процесса поисков людьми свободы и справедливости. Каждый человек имеет право на этот поиск, и, может быть, наш опыт станет еще одним импульсом к глобализации мира.

— А как чувствовали вы себя вчера вечером, когда над Кремлем спустился красный флаг?

Горбачев ответил без колебаний:

— Советский флаг для меня — это наша история и жизнь. Не стоило так обострять смену символов. Надо проявлять деликатность по отношению к людям — ведь это целые поколения.

— Что означает ваш уход с поста президента для вашей семьи, не восприняла ли она его с облегчением?

Показалось, что Горбачев был благодарен за этот вопрос, без него его исповедь перед журналистами была бы неполной. Но ответил он коротко:

— Я благодарен своей семье за то, что она все это выдержала...

Подлинную церемонию прощания для Президента СССР устроили журналисты. Мы назвали организованный для них прием последним брифингом пресс-службы Президента СССР. Встреча с прессой состоялась в этот же вечер в бывшей партийной гостинице «Октябрьская», которая с приходом новых хозяев начала называться «Президент-отель».

Когда усталый и задумчивый Горбачев в сопровождении своего окружения вошел в холл гостиницы и начал подниматься по лестнице, неожиданно для него собравшиеся журналисты встретили его овацией. В этих аплодисментах отразились и человеческие симпатии, и естественное для подобной ситуации сочувствие к поверженному лидеру. И все-таки главное, что в них прозвучало, было уважение к мужеству, настойчивости и ежедневному труду человека, который как смог исполнил данный самому себе зарок.

Прием, оказанный журналистами, высказанные

ими слова и заданные вопросы буквально на глазах возродили прежнего президента. Кто-то из приглашенных сказал мне: «Вы спасли его от инфаркта».

После двух с лишним часов непрерывных ответов на вопросы, мини-интервью, раздачи автографов и выслушивания добрых пожеланий Горбачев, распрощавшись со своими теперь уже бывшими сотрудниками и коллегами, уехал домой.

Когда на следующий день он приехал в Кремль, чтобы встретиться с японскими журналистами, ему было сказано, что его кабинет занят. Встречу пришлось перенести в кабинет Г. Ревенко. Как выяснилось, руководителю его секретариата позвонили рано утром, чтобы сказать, что в половине девятого утра Борис Николаевич Ельцин намерен прибыть в свой кабинет в Кремле. Табличка на стене в коридоре с надписью «Президент СССР М. С. Горбачев» была снята ночью...

* * *

... После декабря я больше не был ни в этом коридоре, ни, разумеется, в приемной и бывшем кабинете Горбачева. В последний раз, когда я зашел к президенту, я попросил надписать для меня на память его книжку «Августовский путч». Он повертел ее в руках, размышляя, потом быстро что-то написал. Я поблагодарил и, выйдя из кабинета, открыл титульный лист. На нем, среди прочего, было написано: «Главные события еще впереди. Часы истории показывают полдень».

Я машинально поднял глаза — меня поразило, что на висевших в приемной часах действительно было двенадцать. И только потом я понял, что они уже не идут...

НОВОЕ КРУШЕНИЕ АТЛАНТИДЫ
(вместо послесловия)

После драматических событий конца 1991 года, завершившихся распадом Советского Союза, и наступления еще более драматического — прежде всего из-за неопределенности его перспектив — этапа, в который вступили народы и государства, входившие раньше в

эту гигантскую империю, возникает естественный соблазн подвести, как это делают многие, окончательную черту под «эрой Горбачева». Тем более, что во многих отношениях главный элемент почти утопического проекта, связанного с его именем, — попытка обеспечить революционные изменения через реформистские компромиссы, — похоже, безвозвратно ушел в прошлое.

И все же говорить так, на мой взгляд, было бы не просто несправедливо, но более того — неточно. Во-первых, хотя мы действительно являемся свидетелями конца определенной эпохи в истории этой страны, нельзя сводить ее только к имени Михаила Горбачева. Речь идет о крушении целой цивилизации или по крайней мере попытки построить ее, о погружении в историческую пучину очередной Атлантиды или материализованной утопии.

С этой точки зрения спуск красного флага с кремлевского флагштока означал не только расставание с первым и последним Президентом СССР, но и уход в прошлое целого этапа советской и мировой истории, связанного с именем Ленина и начавшегося в 1917 году.

Больше того, можно сказать, что в известном смысле речь идет о завершении политической истории XX века, важнейшей характеристикой которого были предпринимавшиеся как фашизмом, так и социализмом попытки построить и при возможности распространить на весь мир тоталитарную модель общества и мирового порядка, опирающуюся на государственное господство над личностью и на нетерпимую к альтернативам монополию одной идеологии и социальной системы.

Сегодня, через 47 лет после краха западноевропейского фашизма, мы наблюдаем крушение восточноевропейского социализма, не имея, правда, гарантий относительно невозможности возрождения как того, так и другого в будущем в новых формах и, быть может, на новых территориях.

Однако это лишь первое из необходимых уточнений. Второе в известном смысле опровергает первое, ибо требует говорить не о «конце эпохи», а о ее продолжении в будущем, о том, что мы, в сущности, являемся свидетелями лишь начального политического этапа

глубочайшего **исторического** процесса, темпы развития которого должны соответственно измеряться не политическим, а историческим временем.

С именем Михаила Горбачева, независимо от его дальнейшей политической судьбы, будет навсегда связано начало этого процесса воссоединения мировой истории, которая была насильственным образом разделена на разные рукава. И все же при всех самых лестных и вполне оправданных оценках исторической миссии Горбачева речь — по крайней мере на сегодня — идет о финале его президентской карьеры и о фиаско практического проекта государственного деятеля, который разучился творить политические чудеса и находить, как это ему удавалось до сих пор, выход из самых немыслимых перипетий перестройки.

Образованное за его спиной Содружество Независимых Государств, единственной объединительной платформой которого явилось лишь общее стремление поскорее избавиться от центра в лице Горбачева, подтверждает, что его план осуществить демократическое реформирование советской империи в рамках единого государства остался романтической мечтой. Она дважды разбилась от столкновения с реальностью, сначала принявшей форму восстания реакционных бюрократических структур, а затем «демократического путча» республиканских «баронов».

Сегодня, на переломе эпох, при переходе от истории СССР и эры Горбачева к еще неясному будущему, — пока нет оснований считать, что оно будет называться историей СНГ, — есть смысл оглянуться на прошлое. Не для того, чтобы попробовать переписать его наново: поучать историю или давать ей задним числом советы — занятие хотя и увлекательное, но малопродуктивное.

Сейчас, когда страница перестройки перевернута и настало время подводить ее итоги, закономерно задаться вопросом, мог ли быть у нее и у ее инициатора более благополучный финал. Ведь прежде, чем окончательно уйти в историю, ему еще предстоит дать отчет перед текущей политикой и перед собственными современниками.

Очевиден тот факт, что, начавшись как эпоха вели-

кой надежды, обещавшей новую эру процветания народам СССР и невиданной до того безопасности и стабильности для всего мира, горбачевская перестройка привела его страну к едва ли не более глубокому кризису, чем тот, который она призвана была разрешить. Кто несет за это ответственность? Только ли предшественники Горбачева, как утверждают его сторонники? Или главным образом он сам — безответственно и бездумно посягнувший на то, к чему нельзя было прикасаться (как считают одни), или наоборот — проявивший малодушие, нерешительность и непростительную медлительность, как утверждают другие.

Думаю, ответов на эти вопросы будет почти столько же, сколько и задающих их. Уверен, выскажется на этот счет и сам Горбачев — ведь ему, как никому другому, держать ответ не только перед историей и потомками, но и перед собственной совестью и, главное, перед своим историческим замыслом.

Попробую дать и свой вариант ответа. Начать его следовало бы с того, чтобы отделить человеческое от сверхчеловеческого — то есть то, что могла и чего не могла избежать политика и, соответственно, даже такой выдающийся политик, как Горбачев.

Очевидно, что нельзя было избежать глубочайшего кризиса при переходе от одной социальной системы к другой, рассчитывать, что за этот переход не придется платить высокую политическую и социальную цену. После первых двух лет перестроечной эйфории это стало ясно и самому Горбачеву — он неоднократно говорил, что безболезненно трансформировать такую сложную, многонациональную и к тому же настолько изуродованную собственной историей страну невозможно.

И в то же время, думаю, он не мог представить себе, насколько семь десятилетий тоталитарного строя разрушили все внутренние структуры, все естественные экономические, социальные и нравственные связи внутри этого общества. До такой степени, что когда Горбачев великодушным жестом освободителя сбросил сковывающий его панцирь политического насилия и идеологической лжи, предложив взамен этих искусственных подпорок естественные опоры в виде закона,

плюралистической демократии и рынка, внешне могущественное государство рухнуло под бременем собственного веса.

Выяснилось, что сверкающие и грозные латы сверхдержавы заключали в себе не истомившийся по свободе живой организм, а железобетонную массу, которая оказалась неспособной принять форму современного общества.

«Где рабы — там диктатор», — гласит известная истина. Главное преступление Сталина — это то, что в дополнение к миллионам уничтоженных и искалеченных жизней его режим породил людей с рабской психологией, людей, боящихся свободы. Это и есть тот неожиданно мощный потенциал, на который мечтали бы опереться и консерваторы, и псевдолевые радикалы, которые, поднимаясь на гребне растерянности и смятения людей, предлагают превращенным в толпу людям иллюзию простых и быстрых решений.

Положение усугубляется реальными трудностями и драмами нынешнего этапа политической и экономической реформы, когда в один узел завязываются проблемы прошлого и еще неясного будущего. Общество, созревшее для того, чтобы решительно отторгнуть неприемлемое авторитарное прошлое, страшится еще не пришедшего рынка и свободного предпринимательства, видя в них угрозу капиталистического порабощения с его неравенством, социальной несправедливостью, эгоизмом и безразличием к судьбе человека. Это превращает нынешний узел проблем в замкнутый круг, выйти из которого можно, только решительно разорвав его новым демократическим импульсом.

Решение начать перестройку требовало от Горбачева главным образом личного, и притом немалого, мужества объявить, что «король гол». Массы охотно и с энтузиазмом последовали за ним не только потому, что они разделяли его анализ прошлого, но и еще поскольку в это время он не был безымянным мальчиком в толпе или очередным диссидентом, а сам был «королем».

Сегодня же совершить новый прорыв к более высокому уровню свободы и ответственности предстоит обществу, утратившему веру в непогрешимость королей, но еще не поверившему в себя и, главное, не научив-

шемуся примирять путем терпимости и политики компромиссов собственные противоречия и использовать в конструктивных целях плюрализм, который многими до сих пор воспринимается не как общественное богатство, а как аномалия.

Один из парадоксов ушедшей в историю перестройки состоит в том, что получившее благодаря М. С. Горбачеву демократические средства для самовыражения общество выявляет через них в бурной и подчас агрессивной форме и собственный консерватизм, и тоталитарную психологию, проникшую в общественное сознание.

Очевидно, что для освобождения от нее потребуется значительно больше времени, чем те «500 дней», за которые в свое время проголосовал российский парламент. Ибо за это время можно принять соответствующие законы, но результаты от них придут лишь тогда, когда люди на собственном опыте убедятся в том, что действующий рынок — это не только свод законов, а в первую очередь соблюдение прав человека и уважение его неприкосновенности, следование закону и охрана личной собственности, что благополучие людей — это не результат идеальной системы государственного распределения, а плод собственного труда и что равенство — это не итог, а исходный принцип демократии.

Очевидно, что на это потребуются годы, а может быть, поколения. И все же нет другого пути, чем тот, на который уже вступило общество. Больше того, оно, может быть, еще само не осознало, что в своем движении уже прошло пункт невозвращения. Ибо нельзя вернуться туда, где уже никого нет.

Еще одним, пожалуй, неожиданным фактором взлома монолита, который представлял собой, казалось, неприступный и несокрушимый Советский Союз, стала не только внутренняя, но и внешняя политика Горбачева.

Многие стратеги прошлого, включая Бисмарка, предупреждали, что Россию невозможно победить, угрожая ей или нападая на нее извне. И Наполеон, и Гитлер имели возможность в этом убедиться на собственном опыте. Не сокрушила Советскую Россию ни совместная интервенция западных держав и Японии в

первые годы Октября, ни послевоенная блокада, принявшая форму «холодной войны».

Более того, как российские, так и советские правители, и прежде всего Сталин, научились эффективно использовать, а то и провоцировать фактор внешней угрозы для внутренней консолидации страны, укрепления тоталитарного контроля государства над гражданами и власти центра над национальными республиками, поддерживая и культивируя в ней атмосферу «осажденной крепости».

То, что не произошло под воздействием давления извне, как и предрекал Бисмарк, случилось в результате взрыва внутри. Для того чтобы его спровоцировать, оказалось достаточным снять с советского суперсоюза стискивавший и одновременно соединявший его обруч внешней угрозы. Это и стало результатом внешней политики Горбачева, предложенного им нового политического мышления, его устремленного в будущее проекта строительства открытого, глобального и взаимосвязанного мира, основывающего собственную стабильность не на насилии и ядерном страхе, а исключительно на праве, цивилизованном выяснении баланса интересов и совместном отражении глобальных вызовов, с которыми столкнулось человечество на пороге XXI века.

Утратив страх перед внешним врагом, традиционно объединявший их вокруг России, республики, а точнее, их амбициозные лидеры получили свободу рук для выяснения веками копившихся претензий к России и друг к другу. Держава, соединенная в единое целое насилием и враждебным внешним окружением, взорвалась от напора внутренних проблем, как воздушный шар, стремительно взмывший в разреженные слои атмосферы. Факторы естественного притяжения республик и народов, соединенных общей историей, экономикой и культурой, на которые делал ставку Горбачев, оказались недостаточно сильны, чтобы противостоять совместному напору предубеждений против имперско-бюрократического властвования центра и вожделений республиканских вождей, не поколебавшихся разбудить пламя национальных страстей.

Разумеется, все эти выводы превращаются в очевид-

ные истины лишь задним числом. Думаю, ни Горбачев, ни кто бы то ни было другой на его месте не мог бы заранее просчитать потенциальный взрывной эффект от того, что советскому обществу, застрявшему в своем внутреннем развитии из-за десятилетий сталинизма на рубеже XIX и XX веков или даже на еще более ранней стадии, будет предложена цивилизованная, современная и демократическая политика, опережающая реалии конца XX века.

Еще труднее было пытаться демократическим путем, то есть не изменяя в методах главной цели этого дерзкого проекта, контролировать и сдерживать его лавинообразное развитие. С этим не справился бы и Энрико Ферми, взорвавший первую ядерную бомбу, в сущности, в собственных руках.

И наконец, практически невозможно было удержать развитие политического процесса в рамках рациональности и здравого смысла, то есть разумной политики, в условиях, когда инструментами борьбы против реформистского проекта Горбачева стали как произвол и обращение к вооруженной силе (во время августовского путча), так и заигрывание с националистическими инстинктами и сепаратистскими настроениями и прямое пренебрежение еще не утвердившимся правом и конституционными нормами, как это проявилось в поведении республиканских вождей, собравшихся в Беловежской пуще.

Однако, восклицают критики Горбачева, не виновен ли он сам почти в том же, не грешил ли чем-то подобным на разных отрезках своего извилистого, заполненного узлами разноречивых компромиссов пути? Не ответственен ли сам за то, что в чем-то спровоцировал, а в чем-то вовремя не предупредил развитие всей суммы этих злокачественных процессов?

Вопрос обоснованный и неизбежный для любого честного аналитика, от которого не дано уклониться и самому Горбачеву. Разумеется, будучи главным, если не единоличным инициатором того рискованного процесса, который был начат в апреле 1985 года, а затем его бессменным и, в сущности, бесконтрольным руководителем, он не может не нести ответственности и за то, что происходило с его страной в эти годы, и за те

итоги, которыми, по крайней мере на сегодня, ознаменовался финал его деятельности на посту руководителя прежде мощного и единого государства.

Кроме того, очевидно, что наряду с неподвластными ему, хотя и освобожденными им силами и разбуженными процессами свою негативную роль сыграли и политические просчеты и ошибки, которые были им допущены и которых, наверное, можно было избежать.

Сегодня, например, для всех очевидно, что вильнюсская драма в январе 1991 года явилась генеральной репетицией августовского путча. Можно с уверенностью предположить, что ее замыслили и организовали те же силы, а может быть, и люди, которые полгода спустя интернировали Горбачева в Форосе. В январе же, если не он сам, то, во всяком случае, его политика, его позиция, его демократический облик и выбор стали мишенью путчистов. Однако разве его почти недельное молчание перед лицом антиконституционного вызова и со стороны армии, и самозваных комитетов общественного спасения не стало ударом по перспективам его собственной политики? За эту роковую неделю Горбачев поколебал доверие республиканских лидеров, примеривших на себя вильнюсский сценарий, потерял, пусть на время, поддержку своего самого бескорыстного союзника — демократической интеллигенции и де-факто уступил, при этом тогда совершенно необоснованно (задолго до баррикад у Белого дома), титул первого демократа страны Борису Ельцину.

Да и сам Ельцин, со всей его непоследовательностью и непредсказуемостью, с теми опасениями, которые связывают с его «умеренно авторитарным» курсом демократы в России и за ее пределами, Ельцин, ставший почти неизбежной альтернативой Горбачеву, — не есть ли суммарное воплощение упущенных им возможностей и одновременно продукт его собственных ошибок и, может быть, самой непростительной из них: нежелания или неумения привлечь к осуществлению и защите своего проекта все демократически настроенные слои общества, включая и живые силы самой КПСС.

Наконец, как не отнести к ошибкам, а может быть, и роковой ошибке Горбачева его отказ от всенародного

избрания на должность первого Президента СССР, из-за чего, в сущности, он и стал последним президентом распавшегося Союза. Компромисс по отношению к Конституции, к бескомпромиссному Закону, уважать который многих впервые научил сам Горбачев, обернулся подозрениями относительно того, что власть является его амбицией и целью, а не средством для реализации амбициозного демократического проекта. Для того чтобы развеять эти подозрения, ему пришлось уйти в отставку, однако это уже не помогло спасти Союз, хотя и спасло честь и достоинство его Президента.

Сказанное представляет собой перечень лишь наиболее очевидных просчетов Президента СССР. Уверен, более полный и безжалостный список он составит для себя сам. Мы вряд ли о нем когда-либо узнаем. Как не сможем составить без него и другой список — тех ошибок, которые он не совершил, уступок, которых не сделал, и компромиссов, на которые не пошел, несмотря на все давление его окружения, сопротивление реальности и трагическое одиночество человека, который вынужден делать то, что может, а не то, что хочет. По-видимому, именно это и скрывается за загадочной фразой Горбачева: «Я вам все равно не смогу рассказать всего».

Парадокс Горбачева состоял в том, что он совершал ошибки не тогда, когда шел на компромиссы с реальностью — это естественно для любого политика, — а когда изменял самому себе, когда предпочитал аппаратные ходы демократическим процедурам, закрытость — гласности, целесообразность — принципиальности. Но никто и не платил дороже, чем он, за эти ошибки, ибо что может быть тяжелее для реформатора, чем ощущение цели, удаляющейся как горизонт. Выводы из эпохи Горбачева — это уроки для всех нынешних и будущих политиков этой страны, а стало быть, и для самого Горбачева.

Сегодня не он у руля нашего попавшего в шторм и терпящего крушение корабля, и многие, в том числе и те, кто упрекал его в том, что он оторвался от реальности и отстал от ушедшей вперед страны, чувствуют себя из-за этого менее уверенно и спокойно, чем прежде.

Проблемы и угрозы, которые возникают в наши дни не только для народов бывшего Советского Союза, но и для Европы и остального мира, очевидны. Как выясняется, демонтаж тоталитарного прошлого не удается остановить на уровне составных элементов и конструкций, из которых можно затем по западным чертежам быстро собрать гражданское общество и рыночную экономику. Он превращается в стихийный процесс общественного распада, чреватый разрушением большинства социальных структур до уровня атомов, остановить который способен, может быть, лишь авторитарный режим или открытая диктатура.

Очевидно, что обращение в подобной ситуации к дремлющим демонам национализма со стороны местных политиков, как правило, лишь вопрос времени, что, к сожалению, подтверждает драматическое развитие событий не только в отдельных республиках бывшего Советского Союза, включая Россию, но и в, казалось бы, «озападненных» странах Восточной Европы. Похоже, что постижение демократических истин для народов, уходящих от тоталитарных режимов, возможно лишь через повторение на собственном опыте чужих заблуждений.

Остается лишь надеяться, что усиление авторитарных и консервативных черт в облике посткоммунистических режимов не помешает консервации достигнутых в первые годы горбачевской перестройки демократических завоеваний и сыграет роль своего рода «передышки», необходимой для запыхавшегося на слишком быстром и крутом подъеме общества. Это позволит следующим поколениям политиков двинуть дальше начатое в 1985 году дело, не возвращаясь к той исходной точке, с которой начинал Горбачев.

Пока же, вероятнее всего, для демократической политики и политиков наступило время «привала» и вынужденной «паузы для размышлений». В течение того времени, пока будет молчать муза демократической политики, важно, чтобы продолжили свою работу менее эффектные и заметные, зато более надежные факторы структурных перемен, проявляющиеся не в краткосрочных программах и конъюктурных поступках сегод-

няшних политиков, а в долговременных последствиях социальных процессов.

Важнейшие из них — привыкание к рынку, обучение праву, а также возрождение и защита культуры. Воздействие этих факторов на общество не может не дать через какое-то время (хотелось бы, конечно, до него дожить) эффекта накопления предпосылок для нового качественного прорыва, сравнимого с тем, который имел исторический рывок Горбачева в будущее. Ведь именно благодаря ему были впервые необратимо разорваны путы, казалось навсегда привязывавшие его страну к прошлому.

Январь — май 1992 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА

I

Дорогие соотечественники! Сограждане!

В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям.

Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны.

События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться.

И после алма-атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась.

Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления.

Тем не менее я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ.

II

Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений.

Судьба распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них.

Причина была уже видна — общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно — на пределе возможного.

Все попытки частичных реформ — а их было немало — терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять.

Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью Генерального секретаря только для того, чтобы «поцарствовать» несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным.

Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, — труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 85-го года.

III

Процесс обновления страны и коренных внутренних перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству.

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой.

Тем не менее проделана работа исторической значимости:

— Ликвидирована тоталитарная система, лишавшая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.

— Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность. Права человека признаны как высший принцип.

— Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узако-

нена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация.

— Поворачивая экономику к рынку, важно помнить — делается это ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается стариков и детей.

Мы живем в новом мире:

— Покончено с «холодной войной», остановлены гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием.

— Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением.

— Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, демократических началах.

— Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу заключения нового Союзного договора.

IV

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил старого, отжившего, реакционного — и прежних партийно-государственных структур, и хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков, уравнительной и иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, низкий уровень политической культуры, боязнь перемен.

Вот почему мы потеряли много времени. Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился.

Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике властей на всех уровнях и

лично моей деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть: кардинальные перемены в такой огромной стране, да еще с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без трудностей и потрясений.

Августовский путч довел общий кризис до предельной черты. Самое губительное в этом кризисе — распад государственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны — последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех.

Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее были бы похоронены.

Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг.

V

Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны, включились в осуществление демократических реформ.

Я благодарен государственным, политическим и общественным деятелям, миллионам людей за рубежом — тем, кто понял наши замыслы, поддержал их, пошел нам навстречу, за искреннее сотрудничество с нами.

Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни.

Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок можно было избежать, многое сделать лучше. Но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды, наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе.

Желаю всем всего самого доброго.

25 декабря 1991 года

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. СУМЕРКИ «ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА»

Без указания направления ветра 7
Осень Генсека 13
Ирреальный социализм 23
Аутодафе во 2-м подъезде 30
В соответствии с существующим порядком 38
Двуглавая внешняя политика 48
Братья-«друзья» 55
Выйти из Ялты — через какую дверь? 59
Скрытая душа номенклатуры 68
Смерть динозавра 78

Часть II. ВОСХОД И ЗАКАТ ПЕРЕСТРОЙКИ

Танцы с волками 94
Разрешено все, что не запрещено 105
Кремль без хозяина 115
Пиковая дама 122
Между Генсеком и Президентом 129
Кремль. Москва. Август 91-го 142
Русская рулетка 153

Часть III. «ДАЛЬШЕ БЕЗ МЕНЯ»

Склеенная чашка 164
Помощь со «второго фронта» 176
Яма с песчаными краями 197
Президент Лир 213
Последний зарубежный полет «Союза» 226
Поздравляю вас с праздником 260
Мираж конфедерации 276
«Я был свободным» 294
«Облако в штанах» 300
До последнего мяча 310
Глазами пресс-секретаря 329
«Вы счастливы, Михаил Сергеевич?» 350
Последние причастия 358
Капсула времени 369
Уход 374
Новое крушение Атлантиды *(вместо послесловия)* . . . 399

Приложение 411

Литературно-художественное издание

Андрей Серафимович Грачев

КРЕМЛЕВСКАЯ ХРОНИКА

Редактор *И. В. Сопиков*
Художник *А. Г. Сауков*
Художественный редактор *А. Г. Сауков*
Технические редакторы
Н. Д. Теплякова, В. В. Шибаев
Корректоры *И. А. Даченкова, Н. В. Ганнус*

ЛР № 061309 от 17.06.92.

Сдано в набор 08.09.94. Подписано в печать 29.09.94.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84 + 1,68 вкл.. Уч.-изд. л. 24,08.
Тираж 10 000 экз. Зак. 277

МП «ЭКСМО», 109017, Москва, Старомонетный пер., 9.

Отпечатано с оригинал-макета в Тульской типографии
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.


АНДРОПОВ
U.R.S.S.



Автор книги – последний пресс-секретарь Михаила Горбачева, известный публицист и политолог, человек, бывший свидетелем многих значительных событий нашей недавней истории. Среди действующих лиц книги – Брежнев, Андропов, Суслов, Черненко, Горбачев, Ельцин, лидеры стран «ближнего» зарубежья. Неожиданные детали, чуть уловимые нюансы, малоизвестные подробности при описании привычек и нравов кремлевских властителей и рассказе о последних днях супердержавы – Союзе Советских Социалистических Республик, придают книге свое неповторимое лицо, тот «эффект присутствия», который заставляет читать ее, не отрываясь.


АНДРЕЙ ГРАЧЕВ
КРЕМЛЕВСКАЯ ХРОНИКА